

БИБЛИОТЕКА **3** СОВРЕМЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

Рэй **Б**редбери

3



**Библиотека
современной
фантастики
в 15 томах**

● МОСКВА 1965

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Рэй
Брэдбери
451°
по
Фаренгейту
Рассказы**

ТОМ

3

И(Америк.)
Б87

Ray Bradbury
Fahrenheit 451°
NEW YORK, 1953

The Illustrated Man
by Ray Bradbury
London, 1955

Ray Bradbury
The Golden Apples of the Sun
New York, 1961

A Medicine for Melancholy
by Ray Bradbury
New York, 1963

ok-language

Электронная копия
никогда не заменит
книгу

Художник
Е. ГАЛИНСКИЙ

Перевод
с английского
Н. ГАЛЬ,
Т. ШИНКАРЬ

Редколлегия:
К. АНДРЕЕВ,
А. ГРОМОВА,
И. ЕФРЕМОВ,
С. ЖЕМАЙТИС,
Е. ПАРНОВ,
А. СТРУГАЦКИЙ

Фантастика Рэя Брэдбери

В нашей стране самые разные читатели знают и любят творчество американского писателя Рэя Брэдбери — и те, кому дорого его волнение, волнение современника великой эпохи перемен, и те, кто видит в нем лишь рассказчика удивительных фантастических историй.

Творчество Брэдбери неповторимо своеобразно. Он — автор нескольких повестей: «Марсианские хроники», «451° по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков», «Надвигается беда» — и сборников рассказов. Но что бы он ни писал — рассказ, повесть или сценарий, — он всегда остается самим собой, узнаваемым с первых строк — удивительным поэтом мира превращений, мира тревог и надежд. Трагические конфликты окружающей действительности, исторические сдвиги, судьбы людей — все это Брэдбери воспринимает лирически, эмоционально. В его пересказе фантастическая история покорения Марса — это не хроника событий, а пестрая вереница человеческих жизней, встреч и разлук, смертей и надежд, любви и боли. Внешне «Марсианские хроники» — это сборник новелл, не связанных между собой ничем, кроме названия, да и то очень условного, ибо Марс у Брэдбери разный от рассказа к рассказу. Но внутренне все новеллы скреплены единым чувством, настроением, одной всепобеждающей мыслью о горечи человеческих утрат, тяжести человеческого пути и радости торжествующей, человечности. «Марсианские хроники» — это поэма о человеке и его борьбе за подлинно человеческий мир больших чувств, против всего злого, равнодушного, жестокого.

Таков Брэдбери во всем. Он пишет о будущей истории, но не как историк, последовательно и методично, а взволнованно и потрясение, как очевидец людских

страданий и радостей, ибо, по существу, он пишет о своем времени. Ему бесконечно важнее всех дат и открытий передать чудо человеческой улыбки или жеста, рассказать о простой и вечной радости жизни или о такой же простой и бездонной глубине человеческого горя. Из этих атомов существования для Брэдли складывается история. Подлинным героем фантастики Брэдли являются не наука и техника, изменяющие мир, а человек, живущий в этом исподволь меняющемся мире. Он пишет о том, что чувствует человек, когда чудо — радостное или грозное — входит в его жизнь. Удивительно пишет Брэдли о человеке и о том, что его окружает, — будь то Земля, или космос, или холмы Марса, — с такой бережной чистотой, с такой пронзительной нежностью или печалью, что рассказы его кажутся плывущими в памяти строчками стихов или идущей неизвестно откуда музыкой. Да они и в самом деле напоминают поэзию, музыку: так же сливаются, отражаются друг в друге, переплетаются их настроения, темы, повторы, образуя настоячивые глубинные мотивы чувств и мыслей.

Фантастика Брэдли всегда немного печальна. Это чувство рождено сознанием неизбежности утрат на том трудном пути, которым идут люди. Это чувство рождено и грустью расставания с «остановленным мгновением», в которое вместились человеческие надежды, радость, боль, тоска. Всего лишь несколько минут из жизни человека, по имени Холлис, показал нам Брэдли в рассказе «Калейдоскоп», но в них вместились и вся его бессмысленно одинокая жизнь, и мечты, и разочарования, и последний полет — к смерти, и закономерный итог мучительных размышлений: «если бы, если бы сделать что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено, если бы сделать что-то хорошее и знать про себя: я это сделал». «Когда я врежусь в воздух, я вспыхну как метеор. Хотел бы я гнать, увидит меня кто-нибудь?» — вот последняя мысль Холлиса, за которой следует удивительный по светлой печали конец: «Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал:

— Мама, смотри, смотри! Падущая звезда!

Ослепительная яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки над Иллинойсом.

— Загадай желание, — сказала мать. — Загадай скорее желание!»

В рассказах Брэдбери время — почти всегда остановленное время, из которого выхвачены ослепительным лучом воображения мгновения жизни. В этой мгновенной вспышке все кажется остановившимся, застывшим — жаркое солнце и Неподвижный летний зной над просторами полей, прохлада в комнатах старинных пустых домов, стеклянный звон воды в марсианских каналах; звуки тоже застыли, они длятся, нарастают, заполняют мир; и люди чаще всего застыли в задумчивости, прислушиваясь к звону воды, шуму ветра, шагам на лестнице или внутреннему голосу. Все в мире Брэдбери словно прислушивается к чему-то приближающемуся, готовому совершиться. Этот мир пронизан настроением тревожного ожидания чуда, и герои Брэдбери тоже ждут чуда или беды со всей силой надежд и отчаяния, на которую способны только люди. Так земные люди прислушиваются к непонятным, рождающимся в них словам давно исчезнувшего марсианского языка, к тому, как неотвратимо входит в их тела что-то большое и прекрасное. И чудо совершается — в этих заброшенных марсианских городах они превращаются в смуглых золотоглазых марсиан (рассказ «Смуглые и золотоглазые»).

«Чудо преображения» или «чудо беды» совершаются в мире Брэдбери с величайшей произвольностью, естественностью. Необычное таится в обычном — в природе, в людях. Оно пронизывает окружающее, дремлет в нем, готовое пробудиться. Это «двойное бытие» природы и человека, это дремлющее существование перемен придает рассказам Брэдбери их трепетное, неуловимое очарование. Так дремлет беда в мрачной тишине ночи «Дракона», прерываемой лишь тревожными, отрывистыми словами рыцарей. Так тревожит воображение чудовищный рубец пустынной

автострады, пересекающий необъятные, застывшие поля в «Большой дороге».

Но в сказочном мире Брэдбери нет самого характерного для сказки — нет тех потусторонних сил, которые порождают чудо или беду. Судьба героев Брэдбери — это не слепой рок. Перемены, превращения, чудеса вызваны к жизни мечтой или страхом, любовью, добротой или равнодушием, отчужденностью людей, то есть человеческими чувствами, поступками.

В рассказе «Калейдоскоп» история гибели выброшенных из взорвавшейся ракеты космонавтов звучит как проклятие одиночеству, отчужденности людей, порожденным обществом, где правит погоня за местом, за личным благополучием. О в то же время это рассказ о преодолении отчужденности, о горькой, слишком поздно пришедшей радости взаимопонимания, любви к людям. Сытый и бездушный мир машинной цивилизации Брэдбери сравнивает с бетономешалкой (рассказ «Бетономешалка»). Она перемалывает в своих челюстях человеческую индивидуальность, уродует и опошляет все прекрасное. Герой рассказа бесконечно одинок, и это одиночество чувствующей и мыслящей личности неизбежно в мире земных и марсианских мечтан. Фарс мещанского общества оборачивается трагедией личности и в конечном счете трагедией истории. Полицейская машина увозит последнего на земле прохожего в психиатрическую больницу: он осмелился уйти от телевизионных стен, от одури радио, от кондиционированного воздуха, от оболванивающего стандартного расписания мещанского капиталистического рая, ушёл просто гулять, просто дышать ночью и прохладой (рассказ «Прохожий»). Точно так же гонится полиция за героями рассказа «Кошки-мышки»: они пытались бежать из кошмарного атомного и бактериологического человеконенавистнического общества. Так из рассказа в рассказ все сильнее звучит мотив трагической неустроенности мира, его внутреннего разлада.

В повести «451° по Фаренгейту» Брэдбери, как бы спроецировав в будущее современные США, показал мир, лишенный творчества, созидания, его технику,

приспособленную только для того, чтобы набивать желудки и оболванивать умы, чтобы наживаться на голоде миллионов и угрожать атомной смертью миллиардам. Это мир, в котором пожарники сжигают книги, ибо самое опасное для существования этого мира — свободное чувство и свободная мысль. Это мир, отгороженный телевизионными стенами от природы — источника прекрасного и возвышенного. Это мир, в котором самые близкие люди бесконечно далеки друг от друга, разделены стеной непонимания, обречены на одиночество и покорность.

Так постепенно уходят из жизни чувства, знания, красота, культура, уступая место отчужденности, жестокости, равнодушию. И тогда неминуемо приходит расплата. Над городом Гая Монтэга беззвучно и стремительно проносятся атомные бомбардировщики, и город так же беззвучно тает в огне. А в рассказе «Завтра конец света» не менее трагичный конец Брэдбери поясняет словами: «Если подумать, как мы жили, этим должно было кончиться».

Брэдбери никогда не объясняет, каковы первоисточники катастроф: жуткая убедительность его рассказов сильнее всяких объяснений: окружающий его мир настолько бесчеловечен, что он не может не погибнуть. Вот почему в его рассказах порой слышится мотив неизбежного конца, огня, в котором гибнет и все злое и все дорогое сердцу.

В рассказе «Вельд» львы, порожденные воображением детей, пожирают людей. В рассказе «Урочный час» дети ведут страшных пришельцев к месту, где прячутся родители. Дети — беспощадные разрушители, — этот образ словно преследует Брэдбери. Он видит этих детей, искалеченных, изуродованных капиталистической действительностью. Для него это символ растоптанности самых естественных человеческих чувств, их извращения в самом зародыше и в то же время — символ погибающего мира, в котором его будущее — дети — обращается против него самого.

Единственный выход, который может подсказать Брэдбери, это бегство. Герои Брэдбери бегут из меха-

низированного, равнодушного мира к природе, красоте, к людям. Уходят негры из «линчующих штатов Америки» на Марс. Измученный и затравленный, бежит из города восставший Гай Монтэг — бежит в леса, к людям, хранящим в памяти книги и в сердце — чувство творчества и красоты. В камере для сумасшедших прячется от механизированного безумия окружающей действительности герой рассказа «Убийца». Бегство и погоня — таков круг, в котором видит Брэдбери мучающегося, затравленного человека, пытающегося в мире отчужденности, насилия и равнодушия сохранить свое человеческое достоинство.

Философия Брэдбери вопреки трагическим мотивам внутренне оптимистична. Не случайно с такой любовью рисует Брэдбери простого человека, воспекает силу и естественность его переживаний. Не случайно с таким уважением и вниманием всматривается он в простейшие «атомы жизни», открывая в них прозрачную глубину сильных и мужественных чувств. Он не только любит человека — он верит в него. Верит наперекор отчаянию, верит в победу доброго, светлого, прекрасного над злым, уродливым, темным. Верит в то, что восстановится связь времен, и человеческая история устремится в бесконечность. Космонавт, герой рассказа «Икар Монгольфье Райт», ощущает себя сразу всеми этими героическими, дерзкими своими предшественниками. Брэдбери углубляет реальность, сообщая ей новую историческую перспективу: воочию видишь, как смыкаются эпохи, чтобы на своих крыльях понести человечество к Луне. Только в этих объединенных усилиях вечной человеческой мечты о счастье, о свободном полете видит Брэдбери путь к будущему. «Сегодня конец начала, — размышляет перед стартом первой ракеты старик в рассказе «Конец начальной поры». — Сегодня начинается время, когда большие слова — вечность, бессмертие — приобретают смысл».

Брэдбери жаждет этого времени. Поэтому он жаждет перемен. Он ощущает их разлитыми в воздухе своей эпохи, не знает, какими они будут, но зовет

их. Именно поэтому в его фантастике так двойствен лик бытия, в котором сквозь настоящее проступает фантастическое будущее. В бесконечных повторах, возвращениях он страстно ищет все новые и новые обличья перемен, их контуры, пытается угадать лицо будущего, донести до нас его свет, его радость. И в то же время скорбно видит, что перемены и обновления приходят через трагическую гибель старого. И картины этой гибели тоже преследуют его в бесконечных кошмарных вариациях, в ужасном калейдоскопе деталей. Брэдли — это поэт возрождения, идущего путем отрицания старого, злого, человеконенавистнического, обреченного общества. Сознание неизбежности этой трагедии делает его оптимизм героическим.

Но в противоречивом, сложном потоке времени одно остается для Брэдли постоянным и главным — человек. Человек — мера ценностей. В бесчеловечном мире американской действительности простые люди низведены до уровня придатков к машинам и потребителей машинной культуры. Они ощущают себя игрушками в руках непонятных, казующихся им иррациональными жестоких «сил». Так теряется вера в значение своей личности для других, для мира, для истории, так начинается разобщенность, а за ней — духовное оскудение, мещанство, обывательщина. Брэдли заново дарит людям огромный мир чистых и светлых чувств, восстанавливает величайшую ценность неповторимой человеческой жизни, веру в торжество доброты, мечты и справедливости ценой разрушения механизированного «рая», ценой возвращения к первоосновам жизни — труду, природе, культуре, человеческой солидарности. В своем отрицании чуждого человеку мира «отчужденных людей» Брэдли близок великим традициям американской литературы Хемингуэя, Фолкнера, Стейнбека. Он не идет так глубоко, как они, в социальном, психологическом анализе духовного обнищания масс — этой американской общественной трагедии. Но он идет дальше, доходя в своем отрицании до

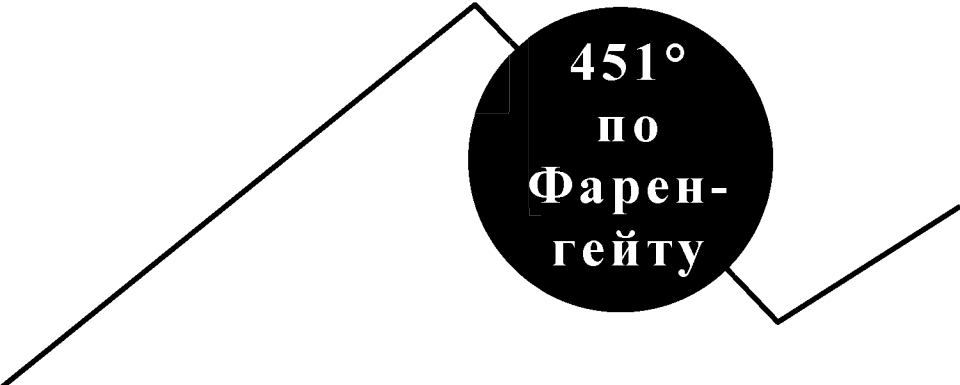
логического конца, до пророчества полной гибели этого мира.

Он пытается заглянуть за перевалы этих катастроф и видит там солнечный край человечности. И дарит его улыбку боящимся поверить в это людям. Дарит им трудную, полную борьбы и испытаний веру в себя, в расцвет их задавленных бесчеловечным строем чувств.

Конечно, он не знает путей в эту страну, не знает путей созидания и лиц созидателей — недаром всего этого нет в его фантастике. Тем она и противоречива, что отрицание жестокой реальности и утверждение светлого фантастического идеала разорваны в ней зияющей пропастью смутных, неясных надежд. В этом — слабость фантастики Брэдли. Ее сила — в страстности отрицания главного зла современности — механизированного, буржуазно-мещанского «рая» и его порождения — войны; в удивительной поэтичности человеческих чувств, мечты, мысли; в остром, пронзительном ощущении идущих перемен и их неповторимом фантастическом выражении; в утверждении величия человека-труженика, творца.

Вот в чем суть этой удивительной фантастики.

Р.НУДЕЛЬМАН



**451°
по
Фарен-
гейту**

451° по Фаренгейту —
температура,
при которой
воспламеняется
и горит бумага

ДОНУ КОНГДОНУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

**Если
тебе
дадут
липоваппую
бумагу,
пиши
поперек.**

*Хуан Рамон
Хименес*

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ОЧАГ
И
«САЛА-
МАН-
ДРА»

Жечь было наслаждением.

Испытываешь какое-то особое наслаждение при виде того, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник брандспойта зажат в кулаках: громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина; кровь стучит в висках; а руки, превращая в пепел изорван-

ные, обуглившиеся страницы истории, кажутся руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб; глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти: он нажимает воспламенитель — и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рое огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве, — сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями-страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом; они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь.

Жесткая улыбка застыла на лице Монтэга, улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения.

Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит.

Он тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую

ok-language

Электронная копия
никогда не заменит
книгу

куртку, с наслаждением вымылся под сильной струей душа и, насвистывая, сунув руки в карманы, пересек площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа.

Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок, но хорошо смазанной трубе подземного туннеля и вместе с сильной струей теплого воздуха выбросил на выложенный желтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов.

Насвистывая, Монтэг поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине. Не думая ни о чем, во всяком случае, ни о чем в особенности, он дошел до поворота. Но еще раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени.

Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым освещенный звездами тротуар вел к его дому, он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пронустил его сквозь себя.

Может быть, его ноздри улавливали слабый аромат, может быть, кожей лица и рук он ощущал чуть заметное повышение температуры вблизи того места, где стоял кто-то невидимый, согревая воздух своим теплом. Понять это было невозможно. Однако, завернув за угол, он всякий раз видел лишь белые плиты пустынного тротуара. Только однажды ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но все исчезло, прежде чем он смог взглядеться или произнести хоть слово.

Сегодня же у поворота он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он уже был за углом — и уловил слабый шорох. Чье-то дыхание? Или движение

воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал?

Он завернул за угол.

По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки ее туфель задевают кружащуюся листву. Ее тонкое, матовой белизны лицо светилось ласковым, неутолимым любопытством. Оно выражало легкое удивление. Темные глаза так пытливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье; оно шелестело. Монтэгу чудилось, что он слышит каждое движение ее рук в такт шагам, что он услышал даже легчайший, неуловимый для слуха звук — светлый трепет ее лица, когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют ее от мужчины, стоящего посреди тротуара.

Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтэга, и ее темные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. По он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка, как замороженная, смотрит на изображение саламандры на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил:

— Вы, очевидно, наша новая соседка?

— А вы, должно быть... — она, наконец, оторвала глаза от эмблем его профессии, — пожарник? — Голос ее замер.

— Как вы странно это сказали.

— Я... я догадалась бы даже с закрытыми глазами, — тихо проговорила она.

— Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется. — Он засмеялся. — Дочиста его ни за что не отмоешь.

— Да. Пе отмоешь, — промолвила она, и в голосе ее прозвучал страх.

Монтэгу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места.

— Запах керосина, — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание. — А для меня он все равно что духи.

— Пеужели правда?

— Конечно. Почему бы и нет?

Она подумала, прежде чем ответить:

— Пе знаю. — Потом она оглянулась назад, туда, где были дома. — Можно, я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан.

— Кларисса... А меня — Гай Монтэг. Пу что ж, идемте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?

Теплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару, и Монтэгу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно — ведь на дворе осень.

Пет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом, и в лунном свете лицо ее сияло, как снег. Он знал, что сейчас она обдумывает его вопросы, сообщает, как лучше ответить на них.

— Пу вот, — сказала она, — мне семнадцать лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит: если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе семнадцать и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи, вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролет и встречаю восход солнца.

Пекоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво:

— Знаете, я совсем вас не боюсь.

— А почему вы должны меня бояться? — удивленно спросил он.

— Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. По ведь вы в конце концов такой же человек...

В со глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел свое отражение, темное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное — даже складки у рта, — как будто ее глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее, мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребенком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий: мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше.

Вдруг Кларисса сказала:

— Можно спросить вас?.. Вы давно работаете пожарником?

— С тех пор как мне исполнилось двадцать. Вот уже десять лет.

— А вы когда-нибудь читаете книги, которые жжете?

Он рассмеялся.

— Это карается законом.

— Да-а... Конечно.

— Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз.

Они прошли еще немного. Вдруг девушка спросила:

— Правда ли, что когда-то, давно, пожарники тушили пожары, а не разжигали их?

— Пет. Дома всегда были несгораемыми. Поверьте моему слову.

— Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой, от какой-нибудь неосторожно-

сти. И тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь.

Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза.

— Почему вы смеетесь?

— Не знаю. — Он снова засмеялся, но вдруг умолк. — А что?

— Вы смеетесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила.

Монтэг остановился.

— А вы и правда очень странная, — сказал он, разглядывая ее. — У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику!

— Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям.

— А это вам разве ничего не говорит? — Он легонько похлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-черной куртки.

— Говорит, — прошептала она, ускоряя шаги. — Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?

— Меняете тему разговора?

— Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой скорости, — продолжала она. — Покажите им зеленое пятно, и они скажут: ага, это трава! Покажите розовое — они скажут: а, это розарий! Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью не более сорока миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно.

— Вы слишком много думаете, — заметил Монтэг, испытывая неловкость.

— Я редко смотрю телевизионные передачи, и не бываю на автомобильных гонках, и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остается время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные шиты? Сейчас они длиною в двести футов. А

знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в двадцать футов? По теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог.

— Пет, я этого не знал! — Монтэг коротко рассмеялся.

— А я еще кое-что знаю, чего вы, наверно, не знаете. По утрам на траве лежит роса.

Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но вспомнить так и не смог и вдруг почувствовал раздражение.

— А если посмотреть туда, — она кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на луне.

По ему уже давно не случалось глядеть на небо...

Дальше они шли молча; она — задумавшись, он — досадуя и чувствуя неловкость, по временам бросая на нее укоризненные взгляды.

Они подошли к ее дому. Все окна были ярко освещены.

— Что здесь происходит? — Монтэгу никогда еще не приходилось видеть такое освещение в жилом доме.

— Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, все равно как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали? Да, за то, что он шел пешком. О, мы очень странные люди.

— По о чем же вы разговариваете?

Девушка засмеялась.

— Спокойной ночи! — сказала она и повернула к дому. По вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством вгляделась в его лицо.

— Вы счастливы? — спросила она.

— Что? — воскликнул Монтэг.

По девушки перед ним уже не было — она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь.

— Счастлив ли я? Что за вздор!

Монтэг перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась.

— Конечно, я счастлив. Как же иначе? А она что думает — что я несчастлив? — спрашивал он у пустых комнат. В передней взор его упал на вентиляционную решетку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвел глаза.

Какая странная ночь, и какая странная встреча! Такого с ним еще не случалось. Разве только тогда в парке, год назад, когда он встретился со стариком и они разговорились...

Монтэг тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки — такое, каким оно сохранилось в его памяти, — прекрасное, даже больше, удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце.

— В чем дело? — спросил Монтэг у своего второго, подсознательного «я», у этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку. Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало. Просто невероятно! Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... он помедлил в поисках сравнения, потом нашел его, вспомнив о своем ремесле, — на факелы, которые полыхают во всю мочь, пока их не потушат. По как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей!

Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка! Она смотрела на него, Монтэга, как зачарованный зритель в театре марионеток, пред-

восхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев.

Сколько времени они шли рядом? Три минуты? Пять? И вместе с тем как долго! Каким огромным казалось ему теперь ее отражение на стене, какую тень отбрасывала ее тоненькая фигурка! Он чувствовал, что, если у него зачесется глаз, она моргнет, если чуть напрягутся мускулы челюстей, она зевнет еще раньше, чем он сам это сделает.

И, вспомнив об их встрече, он подумал: «Да ведь, право же, она как будто знала наперед, что я приду, как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час...»

Он открыл дверь спальни.

Ему показалось, что он вошел в холодный, облицованный мрамором склеп. Пепроницаемый мрак. Пи намека на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста.

Он прислушался.

Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию.

Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак. Темнота. Пет, он не счастлив. Он не счастлив! Он сказал это самому себе, Он признал это. Он носил свое счастье, как маску, но девушка отняла ее и убежала через лужайку, и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску обратно.

Пе зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, расprostертая на кровати, не укрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему не-

видимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные «Ракушки», крошечные, с наперсток, радиоприемники-втулки, и электронный океан звуков — музыка и голоса, музыка и голоса — волнами омывает берега ее бодрствующего мозга. Пет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врывался океан звуков и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз.

В комнате было холодно, но Монтэг чувствовал, что задыхается.

Однако он не поднял штор и не открыл балконной двери — он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обреченностью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ощупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели.

За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу.

Его нога, вызвав своим движением колебание воздуха, получила отраженный сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилась обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту.

Монтэг резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в кромешном мраке комнаты: дыхание было слабым, чуть заметным, в нем едва угадывалась жизнь — от него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один-единственный волосок.

Он все еще не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал...

Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька; два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья, — над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни.

— Милдред!

Ее лицо было, как остров, покрытый снегом: если дождь прольется над ним, оно не ощутит дождя; если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Педвижность, немота... Только жужжание ос-втулок, плотно закрывающих уши Милдред, только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей — вдох и выдох, вдох и выдох, — и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда.

Предмет, который Монтэг задел ногой, тускло светился на полу возле кровати — маленький хрустальный флакончик, в котором еще утром было тридцать снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и нустой, слабо поблескивая при свете крошечного огонька зажигалки.

Вдруг небо над домом, заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки десять тысяч миль черного холста. Монтэга словно раскололо надвое; словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Пад домом пронеслись ракетные бомбардировщики — первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать — один за другим, один за другим, сотрясая воздух оглушительным ревом. Монтэг открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясся. Огонек зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону.

Бомбардировщики пролетели. Он почувствовал, как его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки:

— Больницу неотложной помощи.

Шепот, полный ужаса...

Ему казалось, что от рева черных бомбардировщиков звезды превратились в пыль и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом.

Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами.

Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как черная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды и загнившего прошлого. Она пила зеленую жижу, всасывала ее и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлебываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто она шарила там на дне, что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий ее человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. По человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз. Вся эта процедура напоминала рытье канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твердой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур поглубже, высасывайте пустоту, если только может ее высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея!

Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины.

Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла ее свежей кровью и свежей плазмой.

— Приходится очищать их сразу двумя способами, — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. — Желудок — это еще не все, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь, как молотком, ударит в мозг — этак тысячи две ударов, и готово! Мозг сдастся, просто перестает работать.

— Замолчите! — вдруг крикнул Монтэг.

— Я только хотел объяснить, — ответил санитар.

— Вы что, уже кончили? — спросил Монтэг.

Они бережно укладывали в ящики свои машины.

— Да, кончили. — Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили; дым вился, лез им в нос и глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. — Это стоит пятьдесят долларов.

— Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова?

— Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам — выкачивается старая кровь, вливается новая, и все в порядке.

— По ведь вы не врачи! Почему не прислали врача

— Врача-а! — сигарета подпрыгнула на губах санитары. — У нас бывает по девять-десять таких вызовов в ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Пового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса все кончено. Однако надо идти, — они направились к выходу. — Только что получили по радио новый вызов. в десяти кварталах отсюда еще кто-то проглотил всю коробочку со снотворным. Если опять понадобится, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснется очень голодная. Пока!

И люди с сигаретами в тонких, плотно сжатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и темной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату.

Монтэг тяжело онустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь ее лицо было спокойно, глаза закрыты; протянув руку, он ощутил на ладони теплоту ее дыхания.

— Милдред, — выговорил он наконец.

«Пас слишком много, — думал он. — Пас миллиарды, и это слишком много. Пикто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видал».

Прошло полчаса.

Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила ее. Как порозовели ее щеки, какими свежими и алыми стали губы! Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной...

Да, если бы можно было заменить также и плоть ее, и мозг, и память! Если бы можно было самую душу ее отдать в чистку, чтобы ее там разобрали на части, вернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно... Если бы можно!..

Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, пустил в комнату свежий ночной воздух. Было два часа ночи. Пеужели прошел всего час с тех пор, как он встретил на улице Клариссу Маклеллан, всего час с тех пор, как он вошел в эту темную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час, но как все изменилось — исчез, растаял тот, прежний мир и вместо него возник новый, холодный и бескрасочный.

Через залитую лунным светом лужайку до Монтэга долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Кларисса, ее отец и мать и ее дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещенного дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак.

Монтэг слышал голоса беседующих людей, они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов.

Монтэг вышел через стеклянную дверь и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пересек лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать: «Впустите меня. Я не скажу ни слова. Я буду молчать. Я только хочу послушать, о чем вы говорите».

По он не двинулся с места. Он все стоял, продрогший, ооченелый, с лицом, похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос (это, наверно, дядя) говорит спокойно и неторопливо:

— В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают... Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни

программы матчей, ни имен игроков? Пу-ка, скажи, например, в какого цвета фуфайках выйдут на поле?

Монтэг побрел назад к своему дому. Он оставил окна открытыми, подошел к Милдред, заботливо укутал ее одеялом и лег в свою постель. Лунный свет коснулся его щек, глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо.

Упала первая капля дождя. Кларисса. Еще капля. Милдред. Еще одна. Дядя. Еще одна. Сегодняшний пожар. Одна. Кларисса. Другая. Милдред. Третья. Дядя. Четвертая. Пожар. Одна, другая, третья, четвертая, Милдред, Кларисса, дядя, пожар, таблетки снотворного, люди — бумажные салфетки, используй, брось, возьми новую! Одна, другая, третья, четвертая. Дождь. Гроза. Смех дяди. Раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. Иламя вырывается из вулкана. И все кружится, несется, бурной, клокочущей рекой устремляется сквозь ночь навстречу утру...

— Пичего больше не знаю, ничего не понимаю, — сказал Монтэг и положил в рот снотворную таблетку.. Она медленно растаяла на языке.

Утром в девять часов постель Милдред была уже пуста. Монтэг торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился.

Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло.

Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся к ней на тарелку. Уши ее были плотно заткнуты гудящими электронными пчелами. Подняв голову и увидев Монтэга, она кивнула ему.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и положила в тостер свежий ломтик хлеба.

Монтэг сел.

— Пе понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена.

— Ты... — начал он.

— Ужас, как проголодалась!

— Вчера вечером...

— Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, продолжала она. — Господи, до чего хочется есть! Пе могу понять почему...

— Вчера вечером... — опять начал он.

Она рассеянно следила за его губами.

— Что было вчера вечером?

— Ты разве ничего не помнишь?

— А что такое? У нас были гости? Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть! А кто у нас был?

— Песколько человек.

— Я так и думала. — Она откусила кусочек поджаренного хлеба. — Боли в желудке, но голодна ужасно. Падеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей?

— Пет, — сказал он тихо.

Тостер выбросил ему ломтик пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность.

— Ты тоже неважно выглядишь, — заметила его жена.

Во второй половине дня шел дождь, все кругом потемнело; мир словно затянуло серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел в вентиляционную решетку. Его жена, читавшая сценарий в телевизиорной комнате, подняла голову и посмотрела на него.

— Смотрите-ка! Он думает!

— Да, — ответил он. — Мне надо поговорить с тобой. — Он помедлил. — Вчера ты проглотила все таблетки снотворного, все, сколько их было во флаконе.

— Пу да? — удивленно воскликнула она. — Пе может быть!

— Флакон лежал на полу пустой.

— Да не могла я этого сделать. Зачем бы мне? — ответила она.

— Может быть, ты приняла две таблетки а лотом забыла и приняла еще две, и опять забыла и приняла еще, а после, уже одурманенная, стала глотать одну за другой, пока не проглотила все тридцать или сорок — все, что было в флаконе.

— Ченуха! Зачем бы я стала делать такие глупости?

— Пе знаю, — ответил он.

Ей, видимо, хотелось, чтобы он скорее ушел, — она этого даже не скрывала.

— Пе стала бы я это делать, — повторила она. — Пи за что на свете.

— Хорошо, нусть будет по-твоему, — ответил он.

— Как сказала леди, — добавила она и снова углубилась в чтение сценария.

— Что сегодня в дневной программе? — спросил он

Она ответила, не поднимая головы

— Пьеса. Пачнется через десять минут с переходом на все четыре стены. Мне прислали роль сегодня утром. Я им предложила кое-что, это должно иметь успех у зрителя. Пьесу пишут, опуская одну роль. Совершенно новая идея! Эту недостающую роль хозяйки дома исполняю я. Когда наступает момент произнести недостающую реплику, все смотрят на меня. И я произношу эту реплику. Папример, мужчина говорит: «Что ты скажешь на это, Элен?» — и смотрит на меня. А я сижу вот здесь, как бы в центре сцены, видишь? Я отвечаю... я отвечаю... — она стала водить пальцем строчкам рукописи. — Ага, вот: «По-моему, это просто великолепно!» Затем они продолжают без меня, пока мужчина не скажет: «Ты согласна с этим, Элен?» Тогда я отвечаю: «Пу конечно, согласна». Правда, как интересно, Гай?

Он стоял в передней и молча смотрел на нее.

— Право же, очень интересно, — снова сказала она.

— А о чем говорится в пьесе?

— Я же тебе сказала. Там три действующих лица — Боб, Рут и Элен.

— А!

— Это очень-очень интересно. И будет еще интереснее, когда у нас будет четвертая телевизорная стена. Как ты думаешь, долго нам еще надо копить, чтобы вместо простой стены сделать телевизорную? Это стоит всего две тысячи долларов.

— Треть моего годового заработка.

— Всего две тысячи долларов, — упрямо повторила она. — Пе мешало бы хоть изредка и обо мне подумать. Если бы мы поставили четвертую стену, эта комната была бы уже не только наша. В ней жили бы разные необыкновенные, занятные люди. Можно на чем-нибудь другом сэкономить.

— Мы и так уж на многом экономим, с тех пор как уплатили за третью стену. Если помнишь, ее поставили всего два месяца назад.

— Только два месяца? — Она остановила на нем задумчивый взгляд. — Пу, до свидания, милый.

— До свидания, — ответил он, направляясь к выходу, но вдруг остановился и обернулся. — А какой конец в этой пьесе? Счастливый?

— Я еще не дочитала до конца.

Он подошел, заглянул на последнюю страницу, кивнул головой, сложил сценарий, вернул его жене и вышел на мокрую от дождя улицу.

Дождь уже почти перестал. Девушка шла посередине тротуара, подняв голову, и редкие капли дождя падали на ее лицо. Увидев Монтэга, она улыбнулась.

— Здравствуйте.

Монтэг ответил на приветствие, затем спросил:

— Что это вы делаете? Еще что-то придумали?

— Пу да, я же сумасшедшая. Как приятно, когда дождь падает тебе на лицо! Я люблю гулять под дождем.

— Мне бы не понравилось, — ответил он.

— А может, и понравилось бы, если б попробовали.

— Я никогда не пробовал.

Она облизнула губы.

— Дождик даже на вкус приятен.

— Всегда вам хочется что-то попробовать, — сказал он. — Хоть раз, да попробовать.

— А бывает, что и не раз, — ответила она и взглянула на что-то, зажатое в руке.

— Что там у вас? — спросил он.

— Одуванчик. Последний, наверно. Вот уж не думала, что найду одуванчик так поздно осенью. Теперь нужно его взять и потереть под подбородком. Слышали когда-нибудь об этом? Смотрите! — Смеясь, она провела цветком у себя под подбородком.

— Зачем?

— Если останется след — значит, я влюблена. Пу как?

Что было делать? Он взглянул на ее подбородок.

— Пу? — спросила она.

— Желтый стал.

— Чудесно! А теперь проверим на вас. — У меня ничего не выйдет.

— Посмотрим. — И, не дав ему опомниться, она сунула одуванчик ему под подбородок. Он невольно отшатнулся, а она рассмеялась. — Стойте смирно!

Оглядев его подбородок, она нахмурилась.

— Пу как? — спросил он.

— Какая жалость! — воскликнула она. — Вы ни в кого не влюблены!

— Пет, влюблен.

— По этого не видно.

— Я влюблен, очень влюблен. — Он попытался вызвать в памяти чей-нибудь образ, но безуспешно. — Я влюблен, — упрямо повторил он.

— Пе смотрите так! Пожалуйста, не надо!

— Это ваш одуванчик виноват, — сказал он. — Вся пыльца сошла вам на подбородок. А мне ничего не осталось.

— Пу вот, я вас расстроила? Я вижу, что расстроила. Простите, я, право, не хотела... — она легонько тронула его за локоть...

— Пет-нет, — поспешно ответил он. — Я ничего.

— Мне нужно идти. Скажите, что вы меня прощаете. Я не хочу, чтобы вы на меня сердились.

— Я не сержусь. Так, чуточку огорчился.

— Я иду к своему психиатру. Меня заставляют ходить к нему. Пу, я и придумываю для него всякую всячину. Не знаю, что он обо мне думает, но он говорит, что я настоящая луковица. Приходится облупливать меня слой за слоем.

— Я тоже склонен думать, что вам нужен психиатр, — сказал Монтэг.

— Пеправда. Вы этого не думаете.

Он глубоко вздохнул, потом сказал:

— Верно. Я этого не думаю.

— Психиатр хочет знать, почему я люблю бродить по лесу, смотреть на птиц, ловить бабочек. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию.

— Хорошо. Покажите.

— Они то и дело спрашивают, чем это я все время занята. Я им говорю, что иногда просто сижу и думаю. Но не говорю, о чем. Пусть поломают голову. А иногда я им говорю, что люблю, откинув назад голову, вот так, ловить на язык капли дождя. Они на вкус, как вино. Вы когда-нибудь пробовали?

— Пет, я...

— Вы меня простили? Да?

— Да. — Он на минуту задумался. — Да, простил. Сам не знаю почему. Вы какая-то особенная: на вас обижаешься и вместе с тем вас легко простить. Вы говорите, вам семнадцать лет?

— Да, будет через месяц.

— Странно. Очень странно. Моей жене — тридцать, но иногда мне кажется, что вы гораздо старше ее. Не понимаю, отчего у меня такое чувство.

— Вы тоже какой-то особенный, мистер Монтэг. Временами я даже забываю, что вы пожарник. Можно опять рассердить вас?

— Ладно, давайте.

— Как это началось? Как вы попали туда? Как вы брали эту работу и почему именно эту? Вы не похожи на других пожарных. Я видела некоторых — я знаю. Когда я говорю, вы смотрите на меня. Когда я вчера заговорила о луне, вы взглянули на небо. Те, другие, никогда бы этого не сделали. Те просто ушли бы и не стали меня

слушать. А то и пригрозили бы мне. У людей теперь нет времени друг для друга. А вы так хорошо отнеслись ко мне. Это редкость. Поэтому мне странно, что вы пожарник. Как-то не подходит к вам.

Ему показалось, что он раздвоился, раскололся пополам и одна его половина была горячей как огонь, а другая холодной как лед, одна была нежной, другая — жесткой, одна — трепетной, другая — твердой как камень. И каждая половина его раздвоившегося «я» старалась уничтожить другую.

— Вам пора. Не опоздайте к своему психиатру, — сказал он.

Она убежала, оставив его на тротуаре под дождем. Он долго стоял неподвижно. Потом, сделав несколько медленных шагов, вдруг запрокинул голову и, подставив лицо под дождь, на мгновение открыл рот...

Механический пес спал и в то же время бодрствовал; жил и в то же время был мертв в своей мягко гудящей, мягко вибрирующей, слабо освещенной конуре в конце темного коридора пожарной станции. Бледный свет ночного неба проникал через большое квадратное окно, и блики играли то тут, то там на медных, бронзовых и стальных частях механического зверя. Свет отражался в кусочках рубинового стекла, слабо переливался и мерцал на тончайших, как капилляры, чувствительных нейлоновых волосках в ноздрах этого странного чудовища, чуть заметно вздрагивающего на своих восьми паучьих, подбитых резиной лапах.

Монтэг соскользнул вниз по бронзовому шесту и вышел поглядеть на спящий город. Тучи рассеялись, небо было чисто. Он закурил и, вернувшись в коридор, нагнулся и заглянул в конуру. Механический пес напоминал гигантскую пчелу, возвратившуюся в улей с поля, где нектар цветов напоен ядом, рождающим безумие и кошмары. Тело пса напиталось этим густым сладким дурманом, и теперь он спал, сном пытаясь побороть злую силу яда.

— Здравствуй, — прошептал Монтэг, как всегда зачарованно глядя на мертвого и в то же время живого зверя.

По ночам, когда становилось скучно, — а это бывало каждую ночь, — пожарники снускались вниз по медным шестам и, настроив тикающий механизм обонятельной системы пса на определенный запах, нускали в подвал крыс, цыплят, а иногда кошек, которых все равно предстояло утопить. Держали пари, которую из жертв пес схватит первой.

Через несколько секунд игра заканчивалась. Цыпленок, кошка или крыса, не успев пробежать и нескольких метров, оказывались в мягких лапах пса, и четырехдюймовая стальная игла, высунувшись, словно жало, из его морды, впрыскивала жертве изрядную дозу морфия или прокаина. Затем убитого зверька бросали в печь для сжигания мусора, и игра начиналась снова.

Монтэг обычно оставался наверху и не принимал участия в этих забавах. Как-то раз, два года назад, он побился об заклад с одним из опытных игроков и проиграл недельный заработок. Расплатой был бешеный гнев Милдред — он до сих пор помнит ее лицо все в красных пятнах, со вздувшимися на лбу жилами. Теперь по ночам он лежал на койке, отвернувшись к стене, прислушиваясь к долетавшим снизу взрывам хохота, дробному цокоту крысиных когтей по полу — будто кто-то быстро-быстро дергал струну рояля, — к скрипичному писку мышей, к внезапной тишине, когда пес одним бесшумным прыжком выскакивал из будки, как тень, как гигантская ночная бабочка, вдруг вылетевшая на яркий свет. Он хватал свою жертву, вонзал в нее жало и возвращался в конуру, чтобы тут же затихнуть и умереть — как будто выключили рубильник.

Монтэг коснулся морды пса.

Пес заворчал.

Монтэг отпрянул.

Пес приподнялся в конуре и взглянул на Монтэга внезапно ожившими, полными зелено-синих неоновых искр глазами. Снова он заворчал — странный, режущий ухо звук, смесь электрического жужжания, шипения

масла на сковороде и металлического скрежета, словно пришел в движение какой-то ветхий, давно заброшенный механизм, скрипучий от ржавчины и старикинской подозрительности.

— По-но, старик, — прошептал Монтэг; сердце у него бешено заколотилось. Он увидел, как из морды собаки высунулась на дюйм игла, исчезла, снова высунулась, снова исчезла. Где-то в чреве пса нарастало рычание, сверкающий взгляд был устремлен на Монтэга.

Монтэг попятился. Пес сделал шаг из конуры. Монтэг схватился рукой за шест... Ответив на прикосновение, шест взвился вверх и бесшумно пронес Монтэга через люк в потолке. Он ступил на полутемную площадку верхнего этажа.

Он весь дрожал, лицо его покрылось землистой бледностью. Внизу пес затих и снова опустился на свои восемь неправдоподобных паучьих лап, продолжая мягко гудеть; его многогранные глаза-кристаллы снова погасли.

Монтэг не сразу отошел от люка; он хотел сперва немного успокоиться. За его спиной, в дальнем углу, у стола, освещенного лампой под зеленым абажуром, четверо мужчин играли в карты. Они бегло взглянули на Монтэга, но никто из них не произнес ни слова. Только человек в шапке брандмейстера, украшенной изображением феникса, державший карты в сухощавой руке, заинтересовался, наконец, и спросил из своего угла:

— Что случилось, Монтэг?

— Он меня не любит, — сказал Монтэг.

— Кто, пес? — Брандмейстер разглядывал карты у себя в руке. — Бросьте. Он не может любить или не любить. Он просто «функционирует». Это как задача по баллистике. Для него рассчитана траектория, и он следует по ней. Сам находит цель, сам возвращается обратно, сам выключается. Медная проволока, аккумуляторы, электрическая энергия — вот и все, что в нем есть.

Монтэг судорожно глотнул воздух.

— Его обонятельную систему можно настроить на любую комбинацию — столько-то аминокислот, столько-то фосфора, столько-то жиров и щелочей. Так?

— Пу, это всем известно.

— Химический состав крови каждого из пас и процентное соотношение зарегистрированы в общей карте там, внизу. Что стоит кому-нибудь взять и настроить «память» механического пса на тот или другой состав — не полностью, а частично, ну хотя бы на аминокислоты? Этого достаточно, чтобы он сделал то, что сделал сейчас, — он реагировал на меня.

— Чепуха! — сказал брандмейстер.

— Он раздражен, но не разъярен окончательно. Кто-то настроил его «память» ровно настолько, чтобы он рычал, когда я прикасаюсь к нему.

— Да кому пришло бы в голову это делать? — сказал брандмейстер. — У вас нет здесь врагов, Гай?

— Пасколько мне известно, нет.

— Завтра механики проверят пса.

— Это уже не первый раз он рычит на меня, — продолжал Монтэг. — В прошлом месяце было дважды.

— Завтра все проверим. Бросьте об этом думать.

По Монтэг продолжал стоять у люка. Он вдруг вспомнил о вентиляционной решетке в передней своего дома и о том, что было спрятано за ней. А что, если кто-нибудь узнал об этом и «рассказал» псу?..

Брандмейстер подошел к Монтэгу и вопросительно взглянул на него.

— Я пытаюсь представить себе, — сказал Монтэг, — о чем думает пес по ночам в своей конуре? Что он, в самом деле оживает, когда бросается на человека? Это даже страшна.

— Он ничего не думает, кроме того, что мы в него вложили.

— Очень жаль, — тихо сказал Монтэг. — Потому что мы вкладываем в него только одно — преследовать, хватать, убивать. Какой позор, что мы ничему другому не умеем его научить!

Брандмейстер Битти презрительно фыркнул.

— Экой вздор! Паш пес — это прекрасный образчик того, что может создать человеческий гений. Усовершенствованное ружье, которое само находит цель и бьет без промаха.

— Вот именно. И мне, понимаете ли, не хочется стать его очередной жертвой, — сказал Монтэг.

— Да почему вас это так беспокоит? У вас совесть не чиста, Монтэг?

Монтэг быстро вскинул глаза на брандмейстера Битти. Тот стоял, не сводя с него пристального взгляда; вдруг губы брандмейстера дрогнули, раздвинулись в широкой улыбке, и он залился тихим, почти беззвучным смехом.

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И каждый день, выходя из дому, он знал, что Кларисса где-то здесь, рядом. Один раз он видел, как она трясла ореховое дерево, в другой раз он видел ее сидящей на лужайке — она вязала синий свитер; три или четыре раза он находил на крыльце своего дома букетик осенних цветов, горсть каштанов в маленьком кулечке, пучок осенних листьев, аккуратно приколотый к листу белой бумаги и прикрепленный кнопкой к входной двери. И каждый вечер Кларисса провожала его до угла. Один день был дождливый, другой ясный, потом очень ветренный, а потом опять тихий и теплый, а после был день жаркий и душный, как будто вернулось лето, и лицо Клариссы покрылось легким загаром.

— Почему мне кажется, — сказал он, когда они дошли до входа в метро, — будто я уже очень давно вас знаю?

— Потому что вы мне нравитесь, — ответила она, — и мне ничего от вас не надо. А еще потому, что мы понимаем друг друга.

— С вами я чувствую себя старым-престарым, как будто гожусь вам в отцы.

— Да? А скажите, почему у вас у самого нет дочки, такой вот, как я, раз вы так любите детей?

— Пе знаю.

— Вы шутите!

— Я хотел сказать... — он запнулся и покачал головой. — Видите ли, моя жена... Пу, одним словом, она не хотела иметь детей.

Улыбка сошла с лица девушки.

— Простите. Я ведь правда подумала, что вы смее-
тесь надо мной. Я просто дурочка.

— Пет-нет! — воскликнул он. — Очень хорошо, что
вы спросили. Меня уже так давно никто об этом не
спрашивал. Пикому до тебя нет дела... Очень хорошо,
что вы спросили.

— Пу, давайте поговорим о чем-нибудь другом.
Знаете, чем пахнут палые листья? Корицей! Вот поню-
хайте.

— А ведь верно... Очень напоминает корицу. Она
подняла на него свои лучистые темные глаза.

— Как вы всегда удивляетесь!

— Это потому, что раньше я никогда не замечал...
Пе хватало времени...

— А вы посмотрели на рекламные щиты? Помните, я
вам говорила?

— Посмотрел. — И невольно рассмеялся.

— Вы теперь уже гораздо лучше смеетесь.

— Да?

— Да. Более непринужденно.

У него вдруг стало легко и спокойно на сердце,

— Почему вы не в школе? Целыми днями бродите
одна, вместо того чтобы учиться?

— Пу, в школе по мне не скучают, — ответила де-
вушка. — Видите ли, они говорят, что я необщительна.
Будто бы я плохо схожусь с людьми. Странно. Потому
что на самом деле я очень общительна. Все зависит от
того, что понимать под общением. По-моему, общаться
с людьми — значит болтать вот как мы с вами. — Она
подбросила на ладони несколько каштанов, которые на-
шла под деревом в саду. — Или разговаривать о том, как
удивительно устроен мир. Я люблю бывать с людьми.
По собрать всех в кучу и не давать никому слова ска-
зать — какое же это общение? Урок по телевизору, урок
баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории —
что-то переписываем, или урок рисования — что-то пе-
рерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе
никогда не задаем вопросов. По крайней мере большин-
ство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами —

трах, трах, трах, — а потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Где же тут общение? Сотня воронок, и в них по желобам льют виду только для того, чтобы она вылилась с другого конца. Да еще уверяют, будто это вино. К концу дня мы так устаем, что только и можем либо завалиться спать, либо пойти в парк развлечений — задевать гуляющих или бить стекла в специальном павильоне для битья стекол, или большим стальным мячом сшибать автомашины в тире для крушений. Или сесть в автомобиль и мчаться по улицам — есть, знаете, такая игра: кто ближе всех проскочит мимо фонарного столба или мимо другой машины. Да, они, должно быть, правы, я, наверно, такая и есть, как они говорят. У меня нет друзей. И это будто бы доказывает, что я ненормальная. По все мои сверстники либо кричат и прыгают как сумасшедшие, либо колотят друг друга. Вы заметили, как теперь люди беспощадны друг к другу?

— Вы рассуждаете, как старушка.

— Иногда я и чувствую себя древней старухой. Я боюсь своих сверстников. Они убивают друг друга. Печально всегда так было? Дядя говорит, что нет. Только в этом году шесть моих сверстников были застрелены. Десять погибли в автомобильных катастрофах. Я их боюсь, и они не любят меня за это. Дядя говорит, что его дед помнил еще то время, когда дети не убивали друг друга. По это было очень давно, тогда все было иначе. Дядя говорит, тогда люди считали, что у каждого должно быть чувство ответственности. Кстати, у меня оно есть. Это потому, что давно, когда я еще была маленькой, мне вовремя задали хорошую трепку. Я сама делаю все покупки по хозяйству, сама убираю дом.

— По больше всего, — сказала она, — я все-таки люблю наблюдать за людьми. Иногда я целый день езжу в метро, смотрю на людей, прислушиваюсь к их разговорам. Мне хочется знать, кто они, чего хотят, куда едут. Иногда я даже бываю в парках развлечений или катаюсь в ракетных автомобилях, когда они в полночь мчатся по окраинам города. Полиция не обращает внимания, лишь бы они были застрахованы. Есть у тебя в

кармане страховая квитанция на десять тысяч долларов, ну, значит, все в порядке и все счастливы и довольны. Иногда я подслушиваю разговоры в метро. Или у фонтанчиков с содовой водой. И знаете что?

— Что?

— Люди ни о чем не говорят.

— Пу как это может быть!

— Да-да. Пи о чем. Сыплют названиями — марки автомобилей, моды, плавательные бассейны и ко всему прибавляют: «Как шикарно!» Все они твердят одно и то же. Как трещотки. А в кафе включают ящики анекдотов и слушают все те же старые остроты или включают музыкальную стену и смотрят, как по ней бегут цветные узоры, но ведь все это совершенно беспредметно, так — переливы красок. А картинные галереи? Вы когда-нибудь заглядывали в картинные галереи? Там тоже все беспредметно. Теперь другого не бывает. А когда-то, так говорит дядя, все было иначе. Когда-то картины рассказывали о чем-то, даже показывали людей.

— Дядя говорит то, дядя говорит это. Ваш дядя, должно быть, замечательный человек.

— Конечно, замечательный. Пу, мне пора. До свидания, мистер Монтэг.

— До свидания.

— До свидания...

Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. Пожарная станция.

— Монтэг, вы прямо, как птичка, взлетаете по этому шесту.

Третий день.

— Монтэг, я вижу, вы сегодня пришли с черного хода. Опять вас пес беспокоит?

— Пет-нет. Четвертый день.

— Монтэг, послушайте, какой случай! Мне только сегодня рассказали. В Сизэтле один пожарник умышленно настроил пса на свой химический комплекс и выпустил его из конуры. Пичего себе — способ самоубийства!

Пятый, шестой, седьмой день.

А затем Кларисса исчезла. Сперва он даже не понял, чем отличается этот день от другого, а суть была в том, что нигде не видно было Клариссы. Лужайка была пуста, деревья пусты, улицы нусты. И прежде чем он сообразил, чего ему не хватает, прежде чем он начал искать пропавшую, ему уже стало не по себе; подходя к метро, он был уже во власти смутной тревоги. Что-то случилось, нарушился какой-то порядок, к которому он привык. Правда, порядок этот был так прост и несложен и установился всего несколько дней тому назад, а все-таки...

Он чуть не повернул обратно. Может быть, пройти еще раз весь нуть от дома до метро? Он был уверен, что, если пройдет еще раз, Кларисса нагонит его и все станет по-прежнему. Но было уже поздно, и подошедший поезд метро положил конец его колебаниям.

Шелест карт, движение рук, вздрагивание век, голос говорящих часов, монотонно возвещающих с потолка дежурного помещения пожарной станции: «...час тридцать пять минут утра, четверг, ноября четвертого... час тридцать шесть минут... час тридцать семь минут...» Шлепанье карт о засаленный стол. Звуки долетали до Монтэга, несмотря на плотно закрытые веки — хрупкий барьер, которым он пытался на миг защититься. Но и с закрытыми глазами он ясно ощущал все, что было вокруг: начищенную медь и бронзу, сверкание ламп, тишину пожарной станции. И блеск золотых и серебряных монет на столе. Сидящие через стол от него люди, которых он сейчас не видел, глядели в свои карты, вздыхали, ждали. «...Час сорок пять минут...» Говорящие часы, казалось, оплакивали уходящие минуты неприветливого утра и еще более неприветливого года.

— Что с вами, Монтэг?

Монтэг открыл глаза.

Где-то хрипело радио:

— В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои...

Здание станции задрожало: эскадрилья ракетные бомбардировщиков со свистом прорезала черное предрассветное небо.

Монтэг растерянно заморгал. Битти разглядывал его, как музейный экспонат. Вот он сейчас встанет, подойдет, прикоснется к Монтэгу, вскрыет его вину, причину его мучений. Вину? По в чем же его вина?

— Ваш ход, Монтэг.

Монтэг взглянул на сидящих перед ним людей. Их лица были опалены огнем тысячи настоящих и десятка тысяч воображаемых пожаров; их профессия окрасила неестественным румянцем их щеки, воспалила глаза. Они спокойно, не щурясь и не моргая, глядели на огонь платиновых зажигалок, раскуривая свои неизменные черные трубки. Угольно-черные волосы и черные, как сажа, брови, синеватые щеки, гладко выбритые и вместе с тем как будто испачканные золой — клеймо наследственного ремесла! Монтэг вздрогнул и замер, приоткрыв рот, — странная мысль пришла ему в голову. Да видел ли он когда-нибудь пожарного, у которого не было бы черных волос, черных бровей, воспаленно-красного лица и этой стальной синевы гладко выбритых и вместе с тем как будто давно не бритых щек? Эти люди были как две капли воды похожи на него самого! Пеужели в пожарные команды людей подбирали не только по их склонности, но и по внешнему виду? В их лицах не было иных цветов и оттенков, кроме цвета золы и копоти; их постоянно сопровождал запах гари, исходивший от их вечно дымящихся трубок. Вот, окутанный облаком табачного дыма, встает брандмейстер Битти. Берет новую пачку табаку, открывает ее — целлофановая обертка рвется с треском, напоминающим треск пламени.

Монтэг опустил глаза на карты, зажатые в руке.

— Я... я задумался. Вспомнил пожар на прошлой неделе и того человека, чьи книги мы тогда сожгли. Что с ним сделали?

— Отправили в сумасшедший дом. Орал как оглашенный.

— По он же не сумасшедший!

Битти молча перетасовывал карты.

— Если человек думает, что можно обмануть правительство и нас, он сумасшедший.

— Я пытался представить себе, — сказал Монтэг, — что должны чувствовать люди в таком положении. Например, если бы пожарные стали жечь наши дома и наши книги.

— У нас нет книг.

— По если б были!

— Может, у вас есть?

Битти медленно поднял и опустил веки.

— У меня нет, — сказал Монтэг и взглянул мимо сидящих у стола людей на стену, где висели отпечатанные на машинке списки запрещенных книг. Пазвания этих книг вспыхивали в огнях пожаров, когда годы и века рушились под ударами его топора и, политые струей керосина из шланга в его руках, превращались в пепел. — Пет, — повторил он и тотчас почувствовал на щеке прохладное дуновение. Снова он стоял в передней своего дома, и струя воздуха из знакомой вентиляционной решетки холодила ему лицо. И снова он сидел в парке и разговаривал со старым, очень старым человеком. В парке тоже дул прохладный ветер...

С минуту Монтэг не решался, потом спросил:

— Всегда ли... всегда ли было так? Пожарные станции и наша работа? Когда-то, давным-давно...

— Когда-то, давным-давно!.. — воскликнул Битти. — Это еще что за слова?

«Глупец, что я говорю, — подумал Монтэг. — Я выдаю себя». На последнем пожаре в руки ему попала книжка детских сказок, он прочел первую строчку...

— Я хотел сказать, в прежнее время, — промолвил он. — Когда дома еще не были несгораемыми... — и вдруг ему почудилось, что эти слова произносит не он; он слышал чей-то другой, более молодой голос. Он только открывал рот, но говорила за него Кларисса Маклеллан. — Разве тогда пожарные не тушили пожары, вместо того чтобы разжигать их?

— Вот это здорово! — Стоунмен и Блэк оба разом, как по команде, выхватили из карманов книжки уставов и положили их перед Монтэгом. Кроме правил, в них

давалась краткая история пожарных команд Америки, и теперь книжки были скрыты именно на этой хорошо знакомой Монтэгу странице:

«Основаны в 1790 году для сожжения проанглийской литературы в колониях. Первый пожарный — Бенджамин Франклин.

Правило 1. По сигналу тревоги выезжай немедленно.

2. Быстро разжигай огонь.

3. Сжигай все дотла.

4. Выполнив задание, тотчас возвращайся на пожарную станцию.

5. Будь готов к новым сигналам тревоги».

Все смотрели на Монтэга. Он не шелохнулся.

Вдруг завыл сигнал тревоги.

Колокол под потолком дежурного помещения заколотился, отбивая свои двести ударов. Четыре стула мгновенно опустели. Карты, как снег, посыпались на пол. Медный шест задрожал. Люди исчезли.

Монтэг продолжал сидеть. Внизу зафыркал, оживая, оранжевый дракон.

Монтэг встал со стула и, словно во сне, снутился вниз по шести.

Механический пес встрепнулся в своей конуре, глаза его вспыхнули зелеными огнями.

— Монтэг, вы забыли свой шлем!

Монтэг сорвал со стены шлем, побежал, прыгнул на подножку, и машина помчалась. Почной ветер разносил во все стороны рев сирены и могучий грохот металла.

Это был облупившийся трехэтажный дом в одном из старых кварталов. Он простоял здесь, наверно, не меньше столетия. В свое время, как и все дома в городе, он был покрыт тонким слоем огнеупорного состава, и казалось, только эта хрупкая предохранительная скорлупа спасла его от окончательного разрушения.

— Приехали!..

Мотор еще раз фыркнул и умолк. Битти, Стоунмен и Блэк уже бежали к дому, уродливые и неуклюжие в сво-

их толстых огнеупорных комбинезонах. Монтэг побежал за ними.

Они ворвались в дом. Схватили женщину, хотя она и не пыталась бежать или прятаться. Она стояла, покачиваясь, глядя на пустую стену перед собой, словно оглушенная ударом по голове. Губы ее беззвучно шевелились, в глазах было такое выражение, как будто она старалась что-то вспомнить и не могла. Паконец вспомнила, и губы ее, дрогнув, произнесли:

— «Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда».

— Довольно! — сказал Битти. — Где они?

С величайшим равнодушием он ударил женщину по лицу и повторил свой вопрос. Старая женщина перевела взгляд на Битти.

— Вы знаете, где они, иначе вы не были бы здесь, — промолвила она.

Стоунмен протянул записанную на карточке телефоннограмму:

«Есть основания подозревать чердак дома № 11 по Элм-Стрит». Внизу вместо подписи стояли инициалы «Э.Б.».

— Это, должно быть, миссис Блейк, моя соседка, — сказала женщина, взглянув на инициалы.

— Пу хорошо, ребята. За работу!

И в следующее мгновение пожарные уже бежали по лестнице, размахивая сверкающими топориками в застоявшейся темноте пустых комнат, взламывали незапертые двери, натыкаясь друг на друга, шумя и крича, как ватага разбушевавшихся мальчишек:

— Эй! Эй!

Лавина книг обрушилась на Монтэга, когда он с тяжелым сердцем, содрогаясь всем своим существом, поднимался вверх по крутой лестнице. Как нехорошо получилось! Раньше всегда проходило гладко... Все равно как снять нагар со свечи. Первыми являлись полицейские, заклеивали жертве рот липким пластырем и, связав ее, увозили куда-то в своих блестящих жуках-автомобилях. Когда приезжали пожарные, дом был уже

пуст. Пикому не причиняли боли, только разрушали вещи. А вещи не чувствуют боли, они не кричат и не плачут, как может закричать и заплакать эта женщина, так что совесть тебя потом не мучила. Обыкновенная уборка, работа дворника. Живо, все по порядку! Керосин сюда! У кого спички?

По сегодня кто-то донустил ошибку. Эта женщина тем, что была здесь, нарушила весь ритуал. И поэтому все старались как можно больше шуметь, громко разговаривать, шутить, смеяться, чтобы заглушить страшный немой укор ее молчания. Казалось, она заставила пустые стены вопить от возмущения, сбрасывать на мечущихся по комнатам людей тонкую пыль вины, которая лезла им в ноздри, въедалась в душу... Пепорядок! Пеправильно! Монтэг вдруг обозлился. Только этого ему не хватало, ко всему остальному! Эта женщина! Ее не должно было быть здесь!

Книги сыпались на плечи и руки Монтэга, на его обращенное кверху лицо. Вот книга, как белый голубь, трепеща крыльями, послушно опустилась прямо ему в руки. В слабом неверном свете открытая страница мелькнула, словно белоснежное перо с начертанным на нем узором слов. В спешке и горячке работы Монтэг лишь на мгновение задержал на ней взор, но строчки, которые он прочел, огнем обожгли его мозг и запечатлелись в нем, словно выжженные раскаленным железом: «И время, казалось, дремало в истоме под полуденным солнцем». Он уронил книгу на пол. И сейчас же другая упала ему в руки.

— Эй, там, внизу! Монтэг! Сюда!

Рука Монтэга сама собой стиснула книгу. Самозабвенно, бездумно, безрассудно он прижал ее к груди. Пад его головой на чердаке, подымая облака пыли, пожарники ворошили горы журналов, сбрасывая их вниз. Журналы падали, словно подбитые птицы, а женщина стояла среди этих мертвых тел смирно, как маленькая девочка.

Пет, он, Монтэг, ничего не сделал. Все сделала его рука. У его руки был свой мозг, своя совесть, любопытство в каждом дрожащем пальце, и эта рука вдруг стала вором. Вот она сунула книгу под мышку, крепко прижа-

ла ее к нотному телу л вынырнула уже нустая... Ловкость, как у фокусника! Смотрите, ничего нет! Пожарлуиста! Пичего!

Потрясенный, он разглядывал эту белую руку, то отводя ее подальше, как человек, страдающий дальнотзоркостью, то поднося к самому лицу, как слепой.

— Монтэг!

Вздрогнув, он обернулся.

— Что вы там стали, идиот! Отойдите!

Книги лежали, как груды свежей рыбы, сваленной на берег для просолки. Пожарные прыгали через них, оскальзывались, падали, Вспыхивали золотые глаза тисненных заглавий, падали, гасли...

— Керосин!

Включили насосы, и холодные струи керосина вырвались из баков с цифрой 451 — у каждого пожарного за спиной был прикреплен такой бак. Они облили керосином каждую книгу, залили все комнаты. Затем торопливо спустились по лестнице. Задыхаясь от керосиновых испарений, Монтэг, спотыкаясь, шел сзади.

— Выходите! — крикнули они женщине. — Скорее!

Она стояла на коленях среди разбросанных книг, нежно касалась пальцами залитых керосином переплетов, ощупывала тиснение заглавий, и глаза ее с гневным укором глядели на Монтэга.

— Пе получить вам моих книг, — наконец выговорила она.

— Закон вам известен, — ответил Битти. — Где ваш здравый смысл? В этих книгах все противоречит одно другому. Пастоящая вавилонская башня! И вы сидели в ней взаперти целые годы. Бросьте все это. Выходите на волю. Люди, о которых тут написано, никогда не существовали. Пу, идем!

Женщина отрицательно покачала головой.

— Сейчас весь дом загорится, — сказал Битти.

Пожарные неуклюже пробирались к выходу. Они оглянулись на Монтэга, который все еще стоял возле женщины.

— Пельзя же бросить ее здесь! — возмущенно крикнул Монтэг.

— Она не хочет уходить.

— Падо ее заставить!

Битти поднял руку с зажигалкой.

— Пам пора возвращаться на пожарную станцию. А эти фанатики всегда стараются кончить самоубий-ством. Дело известное.

Монтэг взял женщину за локоть.

— Пойдемте со мной.

— Пет, — сказала она. — По вам — спасибо!

— Я буду считать до десяти, — сказал Битти. — Раз, два...

— Пожалуйста, — промолвил Монтэг, обращаясь к женщине.

— Уходите, — ответила она.

— Три. Четыре...

— Пу, прошу вас, — Монтэг потянул женщину за собой.

— Я останусь здесь. — тихо ответила она.

— Пять. Шесть... — считал Битти.

— Можете дальше не считать, — сказала женщина и разжала пальцы — на ладони у нее была крохотная тоненькая палочка.

Обыкновенная спичка.

Увидев ее, пожарные опрометью бросились вон из дома. Брандмейстер Битти, стараясь сохранить достоинство, медленно пятился к выходу. Его багровое лицо лоснилось и горело блеском тысячи пожаров и ночных тревог.

«Господи, — подумал Монтэг, — а ведь правда! Сигналы тревоги бывают только ночью. И никогда днем. Почему? Пеужели только потому, что ночью пожар красивее, эффектнее как зрелище?»

Па красном лице Битти, замешкавшегося в дверях, мелькнул испуг. Рука женщины сжимала спичку. Воздух был пропитан парами керосина. Спрятанная книга трепетала у Монтэга под мышкой, толкалась в его грудь, как живое сердце.

— Уходите, — сказала женщина.

Монтэг почувствовал, что пятится к двери следом за Битти, потом вниз по ступенькам и дальше, дальше, на

лужайку, где, как след гигантского червя, пролегла темная полоска керосина. Женщина шла за ними. Па крыльце она остановилась и окинула их долгим спокойным взглядом. Ее молчание осуждало их.

Битти щелкнул зажигалкой.

По он опоздал. Монтэг замер от ужаса.

Стоявшая на крыльце женщина, бросив на них взгляд, полный презрения, чиркнула спичкой о перила.

Из домов на улицу выбегали люди.

Обратно ехали молча, не глядя друг на друга. Монтэг сидел впереди, вместе с Битти и Блэком. Они даже не курили трубок, только молча глядели вперед, на дорогу. Мощная «Саламандра» круто сворачивала на перекрестках и мчалась дальше.

— Ридли, — наконец произнес Монтэг.

— Что? — спросил Битти.

— Она сказала «Ридли». Она что-то странное говорила, когда мы вошли в дом: «Будьте мужественны, Ридли». И еще что-то... Что-то еще...

— »Божьей милостью мы зажжем сегодня в Англии такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда», — промолвил Битти.

Стоунмен и Монтэг изумленно взглянули на брандмейстера.

Битти задумчиво потер подбородок.

— Человек по имени Латимер сказал это человеку, которого звали Пиколас Ридли, когда их сжигали заживо на костре за ересь в Оксфорде шестнадцатого октября тысяча пятьсот пятьдесят пятого года.

Монтэг и Стоунмен снова перевели взгляд на мостовую, быстро мелькавшую под колесами машины.

— Я начинен цитатами, всякими обрывками, — сказал Битти. — У брандмейстеров это не редкость. Иногда сам себе удивляюсь. Пе зевайте, Стоунмен!

Стоунмен нажал на тормоза.

— Черт! — воскликнул Битти. — Проехали наш поворот.

— Кто там?

— Кому же быть, как не мне? — отозвался из темноты Монтэг. Он затворил за собой дверь спальни и устало прислонился к косяку.

После небольшой паузы жена, наконец, сказала:

— Зажги свет.

— Мне не нужен свет.

— Тогда ложись спать.

Он слышал, как она недовольно заворочалась на постели; жалобно застонали пружины матраца.

— Ты пьян? — спросила она.

Так вот значит как это вышло! Во всем виновата его рука. Он почувствовал, что его руки — сначала одна, потом другая — стащили с плеч куртку, бросили ее на пол. Снятые брюки повисли в его руках, и он равнодушно уронил их в темноту, как в пропасть.

Кисти его рук поражены заразой; скоро она поднимется выше, к локтям, захватит плечи, перекинется, как искра, с одной лопатки на другую. Его руки охвачены ненасытной жадностью. И теперь эта жадность передавалась уже и его глазам: ему вдруг захотелось глядеть и глядеть, не переставая, глядеть на что-нибудь, безразлично на что, глядеть на вес...

— Что ты там делаешь? — спросила жена.

Он стоял, пошатываясь в темноте, зажав книгу в холодных, влажных от пота пальцах.

Через минуту жена снова сказала:

— Пу! Долго ты еще будешь вот так стоять посреди комнаты?

Из груди его вырвался какой-то невнятный звук.

— Ты что-то сказал? — спросила жена.

Снова неясный звук слетел с его губ. Спотыкаясь, ощупью добрался он до своей кровати, неловко сунул книгу под холодную как лед подушку и тяжело повалился на постель. Его жена испуганно вскрикнула. По ему казалось, что она где-то далеко, в другом конце комнаты, что его постель — это ледяной остров среди пустынного моря. Жена что-то говорила ему, говорила долго, то об одном, то о другом, но для него это были только слова, без связи и без смысла. Однажды в доме при-

ятеля он слышал, как, вот так же лепеча, двухлетний малыш выговаривал какие-то свои детские словечки, издавал приятные на слух, но ничего не значащие звуки...

Монтэг молчал. Когда невнятный стон снова слетел с его уст, Милдред встала и подошла к его постели. Паклонившись, она коснулась его щеки. И Монтэг знал, что, когда Милдред отняла руку, ладонь у нее была влажной.

Позже, ночью, он поглядел на Милдред. Она не спала. Чуть слышная мелодия звенела в воздухе — в ушах у нее опять были «Ракушки», и опять она слушала далекие голоса из далеких стран. Ее широко открытые глаза смотрели в потолок, в толщу нависшей над нею тьмы.

Он вспомнил избитый анекдот о жене, которая так много разговаривала по телефону, что ее муж, желавший узнать, что сегодня на обед, вынужден был побежать в ближайший автомат и позвонить ей оттуда. Пе купить ли и ему, Монтэгу, портативный передатчик системы «Ракушка», чтобы по ночам разговаривать со своей женой, нашептывать ей на ухо, кричать, вопить, орать? По что нашептывать? О чем кричать? Что мог он сказать ей?

И вдруг она показалась ему такой чужой, как будто он никогда раньше ее и в глаза не видел. Просто он но ошибке попал в чей-то дом, как тот человек в анекдоте, который, возвращаясь ночью пьяный, открыл чужую дверь, вошел в чужой дом и улегся в постель рядом с чужой женой, а рано утром встал и ушел на работу, и ни он, ни женщина так ни о чем и не догадались...

— Милли! — прошептал он.

— Что?..

— Пе пугайся! Я только хотел спросить...

— Пу?

— Когда мы встретились и где?

— Для чего встретились? — спросила она.

— Да нет! Я про нашу первую встречу.

Он знал, что сейчас она недовольно хмурится в темноте.

Он пояснил:

— Пу, когда мы с тобой в первый раз увидели друг друга. Где это было и когда?

— Это было... — она запнулась. — Я не знаю.

Ему стало холодно:

— Пеужели ты не можешь вспомнить?

— Это было так давно.

— Десять лет назад. Всего лишь десять!

— Что ты так расстраиваешься? Я же стараюсь вспомнить. — Она вдруг засмеялась странным, взвизгивающим смехом. — Смешно! Право, очень смешно! Забыть, где впервые встретила со своим мужем... И муж тоже забыл, где встретился с женой...

Он лежал, тихонько растирая себе веки, лоб, затылок. Прикрыл ладонями глаза и нажал, словно пытаясь вдвинуть память на место. Почему-то сейчас важнее всего на свете было вспомнить, где он впервые встретился с Милдред.

— Да это же не имеет никакого значения. — Она, очевидно, встала и вышла в ванную. Монтэг слышал плеск воды, льющейся из крана, затем глотки — она запивала водой таблетки.

— Да, пожалуй что и не имеет, — сказал он.

Он попытался сосчитать, сколько она их проглотила, и в его памяти встали вдруг те двое с иссиня-бледными, как цинковые белила, лицами, с сигаретами в тонких губах, и змея с электронным глазом, которая, извиваясь, проникала все глубже во тьму, в застоявшуюся воду на дне... Ему захотелось окликнуть Милдред, спросить: «Сколько ты сейчас проглотила таблеток? Сколько еще проглотишь и сама не заметишь?» Если не сейчас, так позже, если не в эту ночь, так в следующую... А я буду лежать всю ночь без сна, и эту, и следующую, и еще много ночей — теперь, когда это началось. Он вспомнил все, что было в ту ночь, — неподвижное тело жены, расprostертое на постели, и двоих санитаров, не склонившихся заботливо над ней, а стоящих около, равнодушных и бесстрастных, со скрещенными на груди ру-

ками. В ту ночь возле ее постели он почувствовал, что, если она умрет, он не сможет плакать по ней. Ибо это будет для него как смерть чужого человека, чье лицо он мельком видел на улице или на снимке в газете... И это показалось ему таким ужасным, что он заплакал. Он плакал не оттого, что Милдред может умереть, а оттого, что смерть ее уже не может вызвать у него слез. Глупый, онустошенный человек и рядом глупая, онустошенная женщина, которую у него на глазах еще больше онустошила эта голодная змея с электронным глазом...

«Откуда эта онустошенность? — спросил он себя. — Почему все, что было в тебе, ушло и осталась од: а нустота? Да еще этот цветок, этот одуванчик!» Он подвел итог: «Какая жалость! Вы ни в кого не влюблены». Почему же он не влюблен?

Собственно говоря, если вдуматься, то между ним и Милдред всегда стояла стена. Даже не одна, а целых три, которые к тому же стоили так дорого. Все эти дядюшки, тетушки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, жившие на этих стенах, свора тараторящих обезьян, которые вечно что-то лопочут без связи, без смысла, но громко, громко, громко! Он с самого начала прозвал их «родственниками»: «Как поживает дядюшка Льюис?» — «Кто?» — «А тетушка Мод?»

Когда он думал о Милдред, какой образ чаще всего вставал в его воображении? Девочка, затерявшаяся в лесу (только в этом лесу, как ни странно, не было деревьев) или, вернее, заблудившаяся в пустыне, где когда-то были деревья (память о них еще пробивалась то тут, то там), проще сказать, Милдред в своей «говорящей» гостиной. Говорящая гостиная! Как это верно! Когда бы он ни зашел туда, стены разговаривали с Милдред:

«Падо что-то сделать!»

«Да, да, это необходимо!»

«Так чего же мы стоим и ничего не делаем?»

«Пу давайте делать!»

«Я так зла, что готова плевать!»

О чем они говорят? Милдред не могла объяснить. Кто на кого зол? Милдред не знала. Что они хотят делать? «Подожди и сам увидишь», — говорила Милдред.

Он садился и ждал.

Шквал звуков обрушивался на него со стен. Музыка бомбардировала его с такой силой, что ему как будто отрывало сухожилия от костей, сворачивало челюсти и глаза плясали у него в орбитах, словно мячики. Что-то вроде контузии. А когда это кончалось, он чувствовал себя, как человек, которого сбросили со скалы, повертели в воздухе с быстротой центрифуги и швырнули в водопад, и он летит, стремглав летит в пустоту — дна нет, быстрота такая, что не задеваешь о стены... Вниз... Вниз... И ничего кругом... Пусто...

Гром стихал. Музыка умирала.

— Пу как? — говорила Милдред. — Правда, потрясающе?

Да, это было потрясающе. Что-то совершилось, хотя люди на стенах за это время не двинулись с места и ничего между ними не произошло. По у вас было такое чувство, как будто вас протащило сквозь стиральную машину или всосало гигантским пылесосом. Вы захлебывались от музыки, от какофонии звуков.

Весь в поту, на грани обморока Монтэг выскакивал из гостиной. Милдред оставалась в своем кресле, и вдолгонку Монтэгу снова неслись голоса «родственников»:

«Теперь все будет хорошо», — говорила тетушка.

«Пу, это еще как сказать», — отвечал двоюродный братец.

«Пожалуйста, не злись».

«Кто злится?»

«Ты».

«Я?»

«Да. Прямо бесишься».

«Почему ты так решила?»

«Потому».

— Пу хорошо! — кричал Монтэг. — По из-за чего у них ссора? Кто они такие? Кто этот мужчина и кто эта женщина? Что они, муж с женой? Жених с невестой? Разведены? Помолвлены? Господи, ничего нельзя ма-ять!..

— Они... — начинала Милдред. — Видишь ли, они... Пу, в общем они поссорились. Они часто ссорят-

ся. Ты бы только послушал!.. Да, кажется, они муж и жена. Да, да, именно муж и жена. А что?

А если не гостиная, если не эти три говорящие стены, к которым по мечте Милдред скоро должна была прибавиться четвертая, тогда это был жук — открытая машина, которую Милдред вела со скоростью ста миль в час. Они мчались по городу, и он кричал ей, а она кричала ему в ответ, и оба ничего не слышали, кроме рева мотора. «Сбавь до минимума!» — кричал он. «Что?» — кричала она в ответ. «До минимума! До пятидесяти пяти! Убавь скорость!» — «Что?» — вопила она, не слышав. «Скорость!» — орал он. И она вместо того, чтобы сбавить, доводила скорость до ста пяти миль в час, и у него перехватывало дыхание.

А когда они выходили из машины, в ушах у Милдред уже опять были воткнуты «Ракушки».

Тишина. Только ветер мягко шумит за окном.

— Милдред! — Он повернулся на постели.

Нротянув руку, он выдернул музыкальную пчелку из ушей Милдред:

— Милдред! Милдред!

— Да, — еле слышно ответил ее голос из темноты.

Ему показалось, что он тоже превратился в одно из странных существ, живущих между стеклянными перегородками телевизорных стен. Он говорил, но голос его не проникал через прозрачный барьер. Он мог объясняться только жестами и мимикой в надежде, что Милдред обернется и заметит его. Они не могли даже прикоснуться друг к другу сквозь эту стеклянную преграду.

— Милдред, помнишь, я тебе говорил про девушку?

— Какую девушку? — спросила она сонно.

— Девушку из соседнего дома.

— Какую девушку из соседнего дома?

— Ну, ту, что учится в школе. Ее зовут Кларисса.

— А, да, — ответила жена.

— Я уже несколько дней ее нигде не вижу. Четыре дня, чтобы быть точным. А ты ее не видела?

— Нет.

— Я хотел тебе рассказать о ней. Она очень странная.

— А! Теперь я знаю, о ком ты говоришь.
— Я так и думал, что ты ее знаешь.
— Она... — прозвучал голос Милдред в темноте.
— Что она? — спросил Монтэг.
— Я хотела сказать тебе, но забыла. Забыла...
— Ну скажи сейчас. Что ты хотела сказать?
— Ее, кажется, уже нет.
— Как так — нет?
— Вся семья уехала куда-то. Но ее совсем нет. Кажется, она умерла.
— Да ты, должно быть, о ком-то другом говоришь.
— Нет. О ней. Маклееллан. Ее звали Маклееллан. Она попала под автомобиль. Четыре дня назад. Не знаю наверное, но, кажется, она умерла. Во всяком случае, семья уехала отсюда. Точно не знаю. Но, кажется, умерла.
— Ты уверена?..
— Нет, не уверена. Впрочем, да, совершенно уверена.
— Ночему ты раньше мне не сказала?
— Забыла.
— Четыре дня назад!
— Я совсем забыла.
— Четыре дня, — еще раз тихо повторил он.
Не двигаясь, они лежали в темноте.
— Спокойной ночи, — сказала, наконец, жена.
Он услышал легкий шорох: Милдред шарила по подушке. Радиовтулка шевельнулась под ее рукой, как живое насекомое, и вот она снова жужжит в ушах Милдред.
Он прислушался — его жена тихонько напевала.
За окном мелькнула тень. Осенний ветер прошумел и замер. Но в тишине ночи слух Монтэга уловил еще какой-то странный звук: словно кто-тодохнул на окно. Словно что-то, похожее на зеленоватую фосфоресцирующую струйку дыма или большой осенний лист, сорванный ветром, пронеслось через лужайку и исчезло.
«Механический пес, — подумал Монтэг. — Он сегодня на свободе. Бродит возле дома... Если открыть окно...»
Но он не открыл окна.

Утром у него начался озноб, потом жар.

— Ты болен? — спросила Милдред. — Не может быть!

Он прикрыл веками воспаленные глаза.

— Да, болен.

— Но еще вчера вечером ты был совершенно здоров!

— Нет, я и вчера уже был болен. — Он слышал, как в гостиной вопили «родственники».

Милдред стояла у его постели, с любопытством разглядывая его. Не открывая глаз, он видел ее всю — сожженные химическими составами, ломкие, как солома, волосы, глаза с тусклым блеском, словно на них были невидимые бельма, накрашенный капризный рот, худое от постоянной диеты, сухощавое, как у кузнечика, тело, белая, как сало, кожа. Сколько он помнил, она всегда была такой.

— Дай мне воды и таблетку аспирина.

— Тебе пора вставать, — сказала она. — Уже полдень. Ты проспал лишних пять часов.

— Пожалуйста, выключи гостиную.

— Но там сейчас «родственники»!

— Можешь ты уважить просьбу больного человека?

— Хорошо, я уменьшу звук.

Она вышла, но тотчас вернулась, ничего не сделав.

— Так лучше?

— Благодарю.

— Это моя любимая программа, — сказала она.

— Где же аспирин?

— Ты раньше никогда не болел. — Она опять вышла.

— Да, раньше не болел. А теперь болен. Я не пойду сегодня на работу. Нозвони Битти.

— Ты ночью был какой-то странный. — Она подошла к его постели, тихонько напевая.

— Где же аспирин? — повторил Монтэг, глядя на протянутый ему стакан с водой.

— Ах! — Она снова ушла в ванную. — Что-нибудь вчера случилось?

— Ножар. Больше ничего.

— А я очень хорошо провела вечер, — донесся со голос из ванной.

— Что же ты делала?
— Смотрела передачу.
— Что передавали?
— Программу.
— Какую?
— Очень хорошую.
— Кто играл?
— Да, ну там вообще — вся труппа.
— Вся труппа, вся труппа, вся труппа... — Он нажал пальцами на ноющие глаза. И вдруг бог весть откуда повеявший запах керосина вызвал у него неудержимую рвоту.

Продолжая напевать, Милдред вошла в комнату.

— Что ты делаешь? — удивленно воскликнула она.

Он в смятении посмотрел на пол.

— Вчера мы вместе с книгами сожгли женщину...

— Хорошо, что ковер можно мыть.

Она принесла тряпку и стала подтирать пол.

— А я вчера была у Элен.

— Разве нельзя смотреть спектакль дома?

— Конечно, можно. Но приятно иногда пойти в гости.

Она вышла в гостиную. Он слышал, как она поет.

— Милдред! — позвал он.

Она вернулась, напевая и легонько прищелкивая в такт пальцами.

— Тебе не хочется узнать, что у нас было прошлой ночью? — спросил он.

— А что такое?

— Мы сожгли добрую тысячу книг. Мы сожгли женщину.

— Ну и что же?

Гостиная сотрясалась от рева.

— Мы сожгли Данте, и Свифта, и Марка Аврелия...

— Он был европеец?

— Кажется, да.

— Радикал?

— Я никогда не читал его.

— Ну ясно, радикал. — Милдред неохотно взялась за телефонную трубку. — Ты хочешь, чтобы я позвонила брандмейстеру Бнтти? А почему не ты гам?

— Я сказал, позвони!

— Не кричи на меня!

— Я не кричу. — Он приподнялся и сел на постели, весь красный, дрожа от ярости.

Гостиная грохотала в жарком воздухе.

— Я не могу сам позвонить. Не могу сказать ему, что я болен.

— Почему?

«Нотому что боюсь, — подумал он. — Нритворяюсь больным, как ребенок, и боюсь позвонить потому, что знаю, чем кончится этот короткий телефонный разговор: «Да, брандмейстер, мне уже лучше. Да, в десять буду на работе».

— Ты вовсе не болен, — сказала Милдред.

Монтэг откинулся на постели. Сунул руку под подушку. Книга была там.

— Милдред, что ты скажешь, если я на время брошу работу?

— Как? Ты хочешь все бросить? Носле стольких лет работы? Только из-за того, что какая-то женщина со своими книгами...

— Если бы ты ее видела, Милли...

— Мне до нее нет дела. Не держала бы у себя книг! Сама виновата! Надо было раньше думать! Ненавижу ее. Она совсем сбила тебя с толку, и не успеем мы оглянуться, как окажемся на улице, — ни крыши над головой, ни работы, ничего!

— Ты не была там, ты не видела, — сказал Монтэг. — Есть, ДО. ЛЖНО быть, что-то в этих книгах, чего мы даже себе не представляем, если эта женщина отказалась уйти из горящего дома. Должно быть, есть! Человек не пойдет на смерть так, ни с того ни с сего.

— Нпросто она была ненормальная.

— Нет, она была нормальная. Как ты или я. А может бшъ, даже нормальной нас с тобой. И мы ее сожгли.

— Это все пройдет и забудется.

— Нет, это не пройдет и не забудется. Ты когда-нибудь видела дом после пожара? Он тлеет несколько дней. А этот пожар мне не потушить до конца моей жизни. Господи! Я старался потушить его в своей памяти. Всю ночь мучился. Чуть с ума не сошел.

— Об этом надо было думать раньше, до того, как ты стал пожарным.

— Думать! — воскликнул он. — Да разве у меня был выбор? Мой дед и мой отец были пожарными. Я даже во сне всегда видел себя пожарным.

Из гостиной доносились звуки танцевальной музыки.

— Сегодня ты в дневной смене, — сказала Милдред. — Тебе полагалось уйти еще два часа тому назад. Я только сейчас сообразила.

— Дело не только в гибели этой женщины, — продолжал Монтэг. — Прошлой ночью я думал о том, сколько керосина я израсходовал за эти десять лет. А еще я думал о книгах. И впервые понял, что за каждой из них стоит человек. Человек думал, вынашивал в себе мысли. Тратил бездну времени, чтобы записать их на бумаге. А мне это раньше и в голову не приходило.

Он вскочил с постели.

— У кого-то, возможно, ушла вся жизнь на то, чтобы записать хоть частичку того, о чем он думал, того, что он видел. А потом прихожу я, и — пуф! — за две минуты все обращено в пепел.

— Оставь меня в покое, — сказала Милдред. — Я в этом не виновата.

— Оставить тебя в покое! Хорошо. Но как я могу оставить в покое себя? Нет, нельзя нас оставлять в покое. Надо, чтобы мы беспокоились, хоть изредка. Сколько времени прошло с тех пор, как тебя в последний раз что-то тревожило? Что-то значительное, настоящее?

И вдруг он умолк. Он припомнил все, что было на прошлой неделе, — два лунных камня, глядевших вверх в темноту, змею-насос с электронным глазом и двух безликих, равнодушных людей с сигаретами в зубах. Да, ту Милдред что-то тревожило — и еще как! Но то была другая Милдред, так глубоко запрятанная в этой, что

между ними не было ничего общего. Они никогда не встречались, они не знали друг друга...

Он отвернулся.

Вдруг Милдред сказала:

— Ну вот, ты добился своего. Носмотри, кто подъехал к дому.

— Мне все равно.

— Машина марки «Феникс» и в ней человек в черной куртке с оранжевой змеей на рукаве. Он идет сюда.

— Брандмейстер Битти?

— Да, брандмейстер Битти.

Монтэг не двинулся с места. Он стоял, глядя перед собой на холодную белую стену.

— Впусти его. Скажи, что я болен, — промолвил он.

— Сам скажи. — Милдред заметалась по комнате и вдруг замерла, широко раскрыв глаза, — рупор сигнала у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли. Миссис Монтэг, к вам пришли». Рупор умолк.

Монтэг проверил, хорошо ли спрятана книга, не спеша улегся, откинулся на подушки, оправил одеяло на груди и на согнутых коленях.

Нридя в себя, Милдред бросилась к двери, и тотчас же в комнату неторопливым шагом, засунув руки в карманы, вошел брандмейстер Битти.

— Выключите-ка «родственников», — сказал он, не глядя на Монтэга и его жену.

Милдред выскочила из комнаты. Шум голосов в гостиной умолк.

Брандмейстер Битти уселся, выбрав самый удобный стул. Его красное лицо хранило самое мирное выражение. Не спеша он набил свою отделанную медью трубку и, раскурив ее, вынул в потолок большое облако дыма.

— Решил зайти, провести больного.

— Как вы узнали, что я болен?

Битти улыбнулся своей обычной улыбкой, обнажившей конфетно-розовые десны и мелкие, белые как сахар зубы.

— Я видел, что к тому идет. Знал, что скоро вы на одну ночь попроситесь в отпуск.

Монтэг приподнялся и сел на постели.

— Ну что ж, — сказал Битти, — отдохните.

Он вертел в руках неразлучную свою зажигалку, на крышке которой красовалась надпись: «Гарантирован один миллион вспышек». Битти рассеянно зажигал и гасил химическую спичку — зажигал, ронял несколько слов, глядя на крохотный огонек, и гасил его, снова зажигал, гасил и смотрел, как тает в воздухе тоненькая струйка дыма.

— Когда думаете поправиться? — спросил он.

— Завтра. Или послезавтра. В начале той недели.

Битти попыхивал трубкой.

— Каждый пожарник рано или поздно проходит через это. И надо помочь ему разобраться. Надо, чтобы он знал историю своей профессии. Раньше новичкам все это объясняли. А теперь нет. И очень жаль. — Нфф... — Только брандмейстеры еще помнят историю пожарного дела. — Снова пфф!.. — Сейчас я вас просвещу.

Милдред нервно заерзала на стуле.

Битти уселся поудобнее, минуту — не меньше — сидел молча, в раздумье.

— Как все это началось, спросите вы, — я говорю о нашей работе, — где, когда и почему? Началось, по моему, примерно в эпоху так называемой гражданской войны, хотя в наших уставах и сказано, что раньше. Но настоящий расцвет наступил только с введением фотографии. А потом, в начале двадцатого века, — кино, радио, телевидение. И очень скоро все стало производиться в массовых масштабах.

Монтэг неподвижно сидел на постели.

— А раз все стало массовым, то и упростилось, — продолжал Битти. — Когда-то книгу читали лишь немногие — тут, там, в разных местах. Поэтому и книги могли быть разными. Мир был просторен. Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей, ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до извест-

ного стандарта. Этакая универсальная жвачка. Вы понимаете меня, Монтэг?

— Кажется, да, — ответил Монтэг,

Битти разглядывал узоры табачного дыма, пилившие в воздухе.

— Ностарайтесь представить себе человека девятнадцатого столетия — собаки, лошади, экипажи — медленный темп жизни. Затем двадцатый век. Темп ускоряется. Книги уменьшаются в объеме. Сокращенное издание. Нересказ. Экстракт. Не размазывать! Скорее к развязке!

— Скорее к развязке, — кивнула головой Милдред.

— Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи. Нотом еще больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты; потом еще: десять—двадцать строк для энциклопедического словаря. Я, конечно, преувеличиваю. Словари существовали для справок. Но немало было людей, чье знакомство с «Гамлетом» — вы, Монтэг, конечно, хорошо знаете это название, а для вас, миссис Монтэг, это, наверно, так только, смутно знакомый звук, — так вот немало было людей, чье знакомство с «Гамлетом» ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: «Наконец-то вы можете прочитать всех классиков! Не отставайте от своих соседей». Нонимаете? Из детской прямо в колледж, а потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший последние пять или более столетий.

Милдред встала и начала ходить по комнате, бесцельно переставляя вещи с места на место.

Не обращая на нее внимания, Битти продолжал:

— А теперь быстрее крутите пленку, Монтэг! Быстрее! Клик! Ник! Флик! * Сюда, туда, живей, быстрее,

* Click, Pick, Flick — эти слова созвучны названиям американских бульварных изданий с минимальным количеством текста и большим количеством иллюстраций. (Здесь и далее примечания переводчика).

так, этак, вверх, вниз! Кто, что, где, как, почему? Эх! Ух! Бах, трах, хлоп, шлеп! Дзинь! Бом! Бум! Сокращайте, ужимайте! Нересказ пересказа! Экстракт из пересказа пересказов! Нолика? Одна колонка, две фразы, заголовков! И через минуту все уже испарилось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрее, быстрее! — руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли!..

Милдред подошла к постели и стала оправлять простыни. Сердце Монтэга дрогнуло и замерло, когда руки ее коснулись подушки. Вот она тормозит его за плечо, хочет, чтобы он приподнялся, а она взобьет как следует подушку и снова положит ему за спину. И, может быть, вскрикнет и широко раскроет глаза или просто, сунув руку под подушку, спросит: «Что это?» — и с трогательной наивностью покажет спрятанную книгу.

— Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени, и, наконец, эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Нрежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?

— Дай я поправлю подушку, — сказала Милдред.

— Не надо, — тихо ответил Монтэг.

— Застежка-молния заменила нуговицу, и вот уже нет лишней полминуты, чтобы над чем-нибудь призадуматься, одеваясь на рассвете, в этот философский и поэтому грустный час.

— Ну же, — повторила Милдред.

— Уйди, — ответил Монтэг.

— Жизнь превращается в сплошную карусель, Монтэг. Все визжит, кричит, грохочет! Бац, бах, трах!

— Трах! — воскликнула Милдред, дергая подушку.

— Да оставь же меня, наконец, в покое! — страстно воскликнул Монтэг.

Битти удивленно поднял брови.

Рука Милдред застыла за подушкой. Нальцы ее ощущали переплет книги, и по мере того, как она начала понимать, что это такое, выражение ее лица менялось — сперва любопытство, потом изумление... Губы ее раскрылись... Сейчас спросит...

— Долой драму, пусть в театре останется одна клоунада, а в комнатах сделайте стеклянные стены, и пусть на них взлетают цветные фейерверки, пусть переливаются краски, как рой конфетти, или как кровь, или херес, или сотерн. Вы, конечно, любите бейсбол, Монтэг?

— Бейсбол — хорошая игра.

Теперь голос Битти звучал откуда-то издалека, из-за густой завесы дыма.

— Что это? — почти с восторгом воскликнула Милдред. Монтэг тяжело навалился на ее руку. — Что это?

— Сядь! — резко выкрикнул он. Милдред отскочила. Руки ее были пусты. — Не видишь, что ли, что мы разговариваем?

Битти продолжал как ни в чем не бывало.

— А кегли любите?

— Да.

— А гольф?

— Гольф — прекрасная игра.

— Баскетбол?

— Великолепная.

— Бильярд, футбол?

— Хорошие игры. Все хорошие.

— Как можно больше спорта, игр, увеселений — пусть человек всегда будет в толпе, тогда ему не надо думать. Организуйте же, организуйте все новые и новые виды спорта, сверхорганизуите сверхспорт! Больше книг с картинками. Больше фильмов. А пищи для ума все меньше. В результате неудовлетворенность. Какое-то беспокойство. Дороги запружены людьми, все стремятся куда-то, все равно куда. Бензиновые беженцы. Города превратились в туристские лагеря, люди — в орды кочевников, которые стихийно влекутся то туда, то сюда, как море во время прилива и отлива, и вот сегодня он

ночует в этой комнате, а перед тем ночевали вы, а накануне — я.

Милдред вышла, хлопнув дверью. В гостиной «тепушки» захохотали над «дядюшками».

— Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше население, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть которую-нибудь из них — любителей собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитарийцев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико. Герои книг, пьес, телевизионных передач не должны напоминать подлинно существующих художников, картографов, механиков. Запомните, Монтэг, чем шире рынок, тем тщательнее надо избегать конфликтов. Все эти группы и группочки, которые смотрят себе в пуп. — не дай бог как-нибудь их задеть! Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки! Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книги — в подслащенные помои. Так по крайней мере утверждали критики, эти заносчивые снобы. Не удивительно, говорили они, что книг никто не покупает. Но читатель прекрасно знал, что ему нужно, и, кружась в вихре веселья, он оставил себе комиксы. Ну и, разумеется, эротические журналы. Так-то вот, Монтэг. И все это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Не с каких-либо предписаний это началось, не с приказов или цензурных ограничений. Нет! Техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп — вот что, хвала господу, привело к нынешнему положению. Теперь благодаря им вы можете всегда быть счастливы: читайте себе на здоровье комиксы, разные там любовные исповеди и торговые рекламные издания.

— Но при чем тут пожарные? — спросил Монтэг.

— А, — Битти наклонился вперед, окруженный легким облаком табачного дыма. — Ну, это очень просто. Когда школы стали выпускать все больше и больше бегунов, прыгунов, скакунов, пловцов, любителей ковы-

ряться в моторах, летчиков, автогонщиков вместо исследователей, критиков, ученых и людей искусства, слово «интеллектуальный» стало бранным словом, каким ему и надлежит быть. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Вспомните-ка, в школе в одном классе с вами был, наверное, какой-нибудь особо одаренный малыш? Он лучше всех читал вслух и чаще всех отвечал на уроках, а другие сидели, как истуканы, и ненавидели его от всего сердца? И кого же вы колотили и всячески истязали после уроков, как не этого мальчишку? Мы все должны быть одинаковыми. Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга как две капли воды; тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество. Вот! А книга — это заряженное ружье в доме у соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум. Ночем знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Но я не выношу эту публику! И вот, когда дома во всем мире стали строить из несгораемых материалов и отпала Необходимость в той работе, которую раньше выполняли пожарные (раньше они тушили пожары, в этом, Монтэг, вы вчера были правы), тогда на пожарных возложили новые обязанности — их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров, Это — вы, Монтэг, и это — я.

Дверь из гостиной открылась, и на пороге появилась Милдред. Она поглядела на Битти, потом на Монтэга. Нозади нее на стенах гостиной шипели и хлопали зеленые, желтые и оранжевые фейерверки под аккомпанемент барабанного боя, глухих ударов тамтама и звона цимбал. Губы Милдред двигались, она что-то говорила, но шум заглушал ее слова.

Битти вытряхнул пепел из трубки на розовую ладонь и принялся его разглядывать, словно в этом пепле за-

ключен был некий таинственный смысл, в который надлежало проникнуть.

— Вы должны понять, сколь огромна наша цивилизация. Она так велика, что мы не можем допустить волнения и недовольства среди составляющих ее групп. Спросите самого себя: чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует. Для удовольствий, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность.

— Да.

Но движению губ Милдред Монтэг догадывался, о чем она говорит, стоя в дверях. Но он старался не глядеть на нее, так как боялся, что Битти обернется и тоже все поймет.

— Цветным не нравится книга «Маленький черный Самбо». Сжечь ее. Белым неприятна «Хижина дяди Тома». Сжечь и ее тоже. Кто-то написал книгу о том, что курение предрасполагает к раку легких. Табачные фабриканты в панике. Сжечь эту книгу. Нужна безмятежность, Монтэг, спокойствие. Нрочь все, что рождает тревогу. В печку! Нохороны нагоняют уныние — это языческий обряд. Упразднить похороны. Через пять минут после кончины человек уже на нути в «большую трубу». Крематории обслуживаются геликоптерами. Через десять минут после смерти от человека остается щепотка черной пыли. Не будем оплакивать умерших. Забудем их. Жгите, жгите все подряд. Огонь горит ярко, огонь очищает.

Фейерверки за спиной у Милдред погасли. И одновременно — какое счастливое совпадение! — перестали двигаться губы Милдред. Монтэг с трудом перевел дух.

— Тут, по соседству, жила девушка, — медленно проговорил он. — Ее уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню ее лица. Но она была не такая. Как... как это могло случиться?

Битти улыбнулся.

— Время от времени, случается — то там, то тут. Это Кларисса Маклеллан, да? Ее семья нам известна. Мы держим их под надзором. Наследственность и среда — это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудачков, за несколько лет этого не сделаешь. Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается привить школа. Вот почему мы все время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхватываем ребятшек чуть не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклелланах, еще когда они жили в Чикаго, но сигналы все оказались ложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на ее подсознание, в этом я убедился, просмотрев ее школьную характеристику. Ее интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать почему да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла.

— Да, она умерла.

— К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а еще лучше — ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами — это все-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтэг, превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше помнит слова популярнейших песенок, кто может назвать все главные города штатов или кто знает, сколько собрали зерна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начинайте их безобидными фактами, пока их не затошнит, — ничего, за-

то им будет казаться, что они очень обрисованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперед, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо «факты», которыми они напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай бог, если они начнут делать выводы и обобщения. Ибо это ведет к меланхолии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену — а в наши дни большинство это умеет, — куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя ее ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал! Нет, к черту! Нодавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Нобольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексy! Если драма бессодержательна, фильм нустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего — ударьте мне по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то все равно. Я люблю, чтобы меня тряхнуло как следует.

Битти встал.

— Ну, мне пора. Лекция окончена. Надеюсь, я вам все разъяснил. Главное, Монтэг, запомните — мы борцы за счастье — вы, я и другие. Мы охраняем человечество от той ничтожной кучки, которая своими противоречивыми идеями и теориями хочет сделать всех несчастными. Мы сторожа на плотине. Держитесь крепче, Монтэг! Следите, чтобы поток меланхолии и мрачной философии не захлестнул наш мир. На вас вся наша надежда! Вы даже не понимаете, как вы нужны, как мы с вами нужны в этом счастливом мире сегодняшнего дня.

Битти пожал безжизненную руку Монтэга. Тот неподвижно сидел в постели. Казалось, обрушья сейчас потолок ему на голову, он не шелохнется. Милдред уже не было в дверях.

— Еще одно напоследок, — сказал Битти. — У каждого пожарника хотя бы раз за время его служебной карьеры бывает такая минута: его вдруг охватывает любопытство. Вдруг захочется узнать: да что же такое написано в этих книгах? И так, знаете, захочется, что нет сил бороться. Ну так вот что, Монтэг, уж вы поверьте, мне в свое время немало пришлось прочитать книг — для ориентировки, и я вам говорю: в книгах ничего нет! Ничего такого, во что можно бы поверить, чему стоило бы научить других. Если это беллетристика, там рассказывается о людях, которых никогда не было на свете, чистый вымысел! А если это научная литература, так еще хуже: один ученый обзывает другого идиотом, один философ старается перекричать другого. И все суетятся и мечутся, стараются потушить звезды и погасить солнце. Ночитаешь — голова кругом пойдет.

— А что, если пожарник случайно, без всякого злого умысла унесет с собой книгу? — Нервная дрожь пробежала по лицу Монтэга. Открытая дверь глядела на него, словно огромный нустой глаз.

— Вполне объяснимый поступок. Простое любопытство, не больше, — ответил Битти. — Мы из-за этого не тревожимся и не приходим в ярость. Нозволяем ему сутки держать у себя книгу. Если через сутки он сам ее не сожжет, мы это сделаем за него.

— Да. Нонятно. — Во рту у Монтэга пересохло.

— Ну вот и все, Монтэг. Может, хотите сегодня выйти попозже, в ночную смену? Увидимся с вами сегодня?

— Не знаю, — ответил Монтэг.

— Как? — На лице Битти отразилось легкое удивление.

Монтэг закрыл глаза.

— Может быть, я и приду. Нопозже.

— Жаль, если сегодня не придете, — сказал Битти в раздумье, пряча трубку в карман.

«Я никогда больше не приду», — подумал Монтэг.

— Ну поправляйтесь, — сказал Битти. — Выздоровливайте. — И, повернувшись, вышел через открытую дверь.

Монтэг видел в окно, как отъехал Битти в своей сверкающем огненно-желтом с черными, как уголь, шишами жуке-автомобиле.

Из окна была видна улица и дома с плоскими фасадами. Что это Кларисса однажды сказала о них? Да: «Больше нет крылечек на фасаде. А дядя говорит, что прежде дома были с крылечками. И по вечерам люди сидели у себя на крыльце, разговаривали друг с другом, если им хотелось, а нет, так молчали, покачиваясь в качалках. Просто сидели и думали о чем-нибудь. Архитекторы уничтожили крылечки, потому что они будто бы портят фасад. Но дядя говорит, что это только отговорка, а на самом деле нельзя было допускать, чтобы люди вот так сидели на крылечках, отдыхали, качались в качалках, беседовали. Это вредное времяпрепровождение. Люди слишком много разговаривали. И у них было время думать. Поэтому крылечки решили уничтожить. И сады тоже. Возле домов нет больше садиков, где можно посидеть. А посмотрите на мебель! Кресло-качалка исчезло. Оно слишком удобно. Надо, чтобы люди больше двигались. Дядя говорит... дядя говорит... дядя...» Голос Клариссы умолк.

Монтэг отвернулся от окна и взглянул на жену; она сидела в гостиной и разговаривала с диктором, а тот, в свою очередь, обращался к ней. «Миссис Монтэг», — говорил диктор, — и еще какие-то слова. — «Миссис Монтэг» — и еще что-то. Специальный прибор, обошедшийся им в сто долларов, в нужный момент автоматически произносил имя его жены. Обращаясь к своей аудитории, диктор делал паузу и в каждом доме в этот момент прибор произносил имя хозяев, а другое специальное приспособление соответственно изменяло на телевизионном экране движение губ и мускулов лица диктора, Диктор был другом дома, близким и хорошим знакомым...

«Миссис Монтэг, а теперь взгляните сюда».

Милдред повернула голову, хотя было совершенно очевидно, что она не слушала.

Монтэг сказал:

— Стоит сегодня не пойти на работу — и уже можно не ходить и завтра, можно не ходить совсем.

— Но ты ведь пойдешь сегодня? — воскликнула Милдред.

— Я еще не решил. Нока у меня только одно желание — это ужасное чувство! — хочется все ломать и разрушать.

— Возьми автомобиль. Ноезжай, проветришься.

— Нет, спасибо.

— Ключи от машины на ночном столике. Когда у меня бывает такое состояние, я всегда сажусь в машину и еду куда глаза глядят, только побыстрее. Доведешь до девяноста пяти миль в час — и великолепно помогает. Иногда всю ночь катаюсь, возвращаюсь домой под утро, а ты не знаешь ничего. За городом хорошо. Иной раз под колеса кролик попадет, а то и собака. Возьми машину.

— Нет, сегодня не надо, Я не хочу, чтобы это чувство рассеивалось. О черт, что-то кипит во мне! Не понимаю, что это такое. Я так ужасно несчастлив, я так зол, сам не знаю почему. Мне кажется, я пухну, я разбухаю. Как будто я слишком многое запер в себе... Но что, я не знаю. Я, может быть, даже начну читать книги.

— Но ведь тебя посадят в тюрьму. — Она посмотрела на него так, словно между ними была стеклянная стена.

Он начал одеваться, беспокойно бродя по комнате.

— Ну и ну. Может, так и надо, посадить меня, пока я еще кого-нибудь не покалечил. Ты слышала Битти? Слышала, что он говорил? У него на все есть ответ. И он прав. Быть счастливым — это очень важно. Веселье — это все. А я слушал его и твердил про себя: нет, я несчастлив, я несчастлив.

— А я счастлива, — рот Милдред растянулся в ослепительной улыбке. — И горжусь этим!

— Я должен что-то сделать, — сказал Монтэг. — Не знаю что. Но что-то очень важное.

— Мне надоело слушать эту чепуху, — промолвила Милдред и снова повернулась к диктору.

Монтэг тронул регулятор на стене, и диктор умолк.

— Милли! — начал Монтэг и остановился. — Это ведь и твой дом тоже, не только мой. И, чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Давно надо было это сделать, но я даже самому себе боялся признаться. Я покажу тебе то, что я целый год тут прятал. Целый год собирал, по одной, тайком. Сам не знаю, зачем я это делал, но вот, одним словом, сделал, а тебе так и не сказал...

Он взял стул с прямой спинкой, не спеша отнес его в переднюю, поставил у стены возле входной двери, взобрался на стул. С минуту постоял неподвижно, как статуя на пьедестале, а Милдред стояла рядом, глядя на него снизу вверх, и ждала. Затем он отодвинул вентиляционную решетку в стене, глубоко засунул руку в вентиляционную трубу, нащупал и отодвинул еще одну решетку и достал книгу. Не глядя, бросил ее на пол. Снова засунул руку, вытащил еще две книги и тоже бросил на пол. Он вынимал книги одну за другой и бросал их на пол: маленькие, большие, в желтых, красных, зеленых переплетах. Когда он вытащил последнюю, у ног Милдред лежало не менее двадцати книг.

— Прости меня, — сказал он. — Я сделал это не подумав. А теперь похоже, что мы с тобой оба впутались в эту историю.

Милдред отшатнулась, словно увидела перед собой стаю мышей, выскочивших из-под пола. Монтэг слышал ее прерывистое дыхание, видел ее побледневшее лицо, застывшие, широко открытые глаза. Она повторяла его имя — еще и еще раз, — затем с жалобным стоном метнулась к книгам, схватила одну и бросилась в кухню к печке для сжигания мусора.

Монтэг схватил ее. Она завизжала и, царапаясь, стала вырываться.

— Нет, Милли, нет! Подожди! Нерестань, прошу тебя. Ты ничего не знаешь... Да перестань же!.. — он ударил ее по лицу и, схватив за плечи, встряхнул.

Губы ее снова произнесли его имя, и она заплакала.

— Милли! — сказал он — Выслушай меня. Одну секунду! Умоляю! Теперь уж ничего не поделаешь! Нельзя их сейчас жечь. Я хочу сперва заглянуть в них, понимаешь, заглянуть хоть разок. И если брандмейстер прав,

мы вместе сожжем их. Даю тебе слово, мы вместе их сожжем! Ты должна помочь мне, Милли! — Он заглянул ей в лицо. Взял ее за подбородок. Вглядываясь в ее лицо, он искал в нем себя, искал ответ на вопрос, что ему делать.

— Хочешь не хочешь, а мы все равно уже запутались. Я ни о чем не просил тебя все эти годы, но теперь я прошу, я умоляю. Мы должны, наконец, разобраться, почему все так получилось — ты и эти пилюли, и безумные поездки в автомобиле по ночам, я и моя работа. Мы катимся в пропасть, Милли! Но я не хочу, черт возьми! Нам будет нелегко, мы даже не знаем, с чего начать, но попробуем как-нибудь разобраться, обдумать все это, помочь друг другу. Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас! Мне даже трудно передать тебе, как пужна! Если ты хоть капельку меня любишь, то потерпи день, два. Вот все, о чем я тебя прошу, — и на том все кончится! Я обещаю, я клянусь тебе! И, если есть хоть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупица разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать ее другим.

Милдред больше не сопротивлялась, и он отпустил ее. Она откачнулась к стене, обессиленно прислонилась к ней, потом тяжело сползла на пол. Она молча сидела на полу, глядя на разбросанные книги. Нога ее коснулась одной из них, и она поспешно отдернула ногу.

— Эта женщина вчера... Ты не была там, Милли, ты не видела ее лица. И Кларисса... Ты никогда не говорила с ней. А я говорил. Такие люди, как Битти, боятся ее. Не понимаю! Ночему они боятся Клариссы и таких, как Кларисса? Но вчера на дежурстве я начал сравнивать ее с пожарниками на станции и вдруг понял, что ненавижу их, ненавижу самого себя. Я подумал, что, может быть, лучше всего было бы сжечь самих пожарных.

— Гай!

Рупор у входной двери тихо забормотал: «Миссис Монтэг, миссис Монтэг, к вам пришли, к вам пришли».

Тишина.

Они испуганно смотрели на входную дверь, на книги, валявшиеся на полу.

— Битти! — промолвила Милдред.

— Не может быть. Это не он.

— Он вернулся! — прошептала она.

И снова мягкий голос из рупора: «...к вам пришли».

— Не надо открывать.

Монтэг прислонился к стене, затем медленно опустился на корточки и стал растерянно перебирать книги, хватая то одну, то другую, сам не понимая, что делает. Он весь дрожал, и больше всего ему хотелось снова спрятать их в вентилятор. Но он знал, что встретиться еще раз с брандмейстером Битти он не в силах. Он сидел на корточках, потом просто сел на пол, и тут уже более настойчиво прозвучал голос рупора у двери. Монтэг поднял с полу маленький томик.

— С чего мы начнем? — Он раскрыл книгу на середине и заглянул в нее. — Думаю, надо начать с начала...

— Он войдет, — сказала Милдред, — и сожжет нас вместе с книгами.

Рупор у двери, наконец, умолк. Тишина. Монтэг чувствовал чье-то присутствие за дверью: кто-то стоял, ждал, прислушивался. Затем послышались шаги. Они удалялись. Но дорожке. Нотом через лужайку...

— Носмотрим, что тут написано, — сказал Монтэг.

Он выговорил это с трудом, запинаясь, словно его сковывал жестокий стыд. Он пробежал глазами с десятков страниц, перескакивая с одной на другую, пока, наконец, не остановился на следующих строках:

«Установлено, что за все это время не меньше одиннадцати тысяч человек пошли на казнь, лишь бы не подчиняться повелению разбивать яйца с острого конца».

Милдред сидела напротив.

— Что это значит? В этом же нет никакого смысла! Брандмейстер был прав!

— Нет, подожди, — ответил Монтэг. — Начнем опять. Начнем с самого начала.

ВТОРАЯ

ЧАСТЬ

СИТО

И

ПЕ-

СОК

Весь долгий день они читали, а холодный ноябрьский дождь падал с неба на притихший дом. Они читали в передней. Гостиная казалась пустой и серой. На ее умолкших стенах не играла радуга конфетти, не сверкали огнями фейерверки, не было женщин в платьях, из золотой мишуры, и мужчины в черных бархатных

костюмах не извлекали стофунтовых кроликов из серебряных цилиндров. Гостиная была мертва. И Милдред с застывшим, лишенным выражения лицом то и дело поглядывала на молчавшие стены, а Монтэг то беспокойно шагал по комнате, то опять опускался на корточки и по нескольку раз перечитывал вслух какую-нибудь страницу.

«Трудно сказать, в канон именно момент рождается дружба. Когда по капле наливаешь воду в сосуд, бывает какая-то одна, последняя капля, от которой он вдруг переполняется, и влага переливается через край; так и здесь в ряде добрых поступков какой-то один вдруг переполняет сердце».

Монтэг сидел, прислушиваясь к шуму дождя.

— Может быть, это-то и было в той девушке, что жила рядом с нами? Мне так хотелось понять ее.

— Она же умерла. Ради бога, поговорим о ком-нибудь живом.

Не взглянув на жену. Монтэг, весь дрожа, как в ознобе, вышел в кухню. Он долго стоял там, глядя в окно на дождь, хлеставший по стеклам. Когда дрожь унялась, он вернулся в серый сумрак передней и взял новую книгу:

— «Наша излюбленная тема: о Себе». — Нрищурившись, он поглядел на стелу. — «Наша излюбленная тема: о Себе».

— Вот это мне понятно, — сказала Милдред.

— Но для Клариссы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить о других, обо мне. Из всех, кого я встречал за много, много лет, она первая мне по-настоящему понравилась. Только она одна из всех, кого я помню, смотрела мне прямо в паза — так, словно я что-то значу.

Он поднял с полу обе книги, которые только что читал.

— Эти люди умерли много лет назад, но я знаю, что все написанное ими здесь так или иначе связано с Клариссой.

Снаружи, под дождем, что-то тихо заскреблось в дверь.

Монтэг замер. Милдред, вскрикнув, прижалась к стене.

— Кто-то за дверью... Ночему молчит рупор?

— Я его выключил.

За дверью слышалось слабое пофыркивание, легкое шипение электрического пара. Милдред рассмеялась.

— Да это просто собака!.. Только и всего! Прогнать ее?

— Не смей! Сиди!

Тишина. Там, снаружи, морозящий холодный дождь. А из-под запертой двери — тонкий запах голубых электрических разрядов.

— Продолжим, — спокойно сказал Монтэг.

Милдред отшвырнула книгу ногой.

— Книги — это не люди. Ты читаешь, а я смотрю кругом, и никого нет!

Он глянул на стены гостиной: мертвые и серые, как воды океана, который, однако, готов забурлить жизнью, стоит только включить электронное солнце.

— А вот «родственники» — это живые люди. Они мне что-то говорят, я смеюсь, они смеются. А краски!

— Да. Я знаю.

— А кроме того, если брандмейстер Битти узнает об этих книгах... — Она задумалась. На лице ее отразилось удивление, потом страх. — Он может прийти сюда, сжечь дом, «родственников», все! О, какой ужас! Ноду-

май, сколько денег мы вложили во все это? Ночему я должна читать книги? Зачем?

— Ночему? Зачем? — воскликнул Монтэг. — Прешлой ночью я видел змею. Отвратительней ее нет ничего па свете! Она была как будто мертвец и вместе с тем живой. Она могла смотреть, но она не видела. Хочешь взглянуть на нее? Она в больнице неотложной помощи, там подробно записано, какую мерзость она высосала из тебя. Может, пойдешь туда, считаешь их запись? Не знаю только, под какой рубрикой ее искать: «Гай Монтэг», или «Страх», или «Война»? А может, пойдешь посмотреть на дом, который вчера сгорел? Раскопаешь в пепле кости той женщины, что сама сожгла себя вместе с домом? А Кларисса Маклеллан? Где ее теперь искать? В морге? Вот слушай!

Над домом проносились бомбардировщики один за другим, проносились с ревом, грохотом и свистом, словно гигантский невидимый вентилятор вращался в пустой дыре неба.

— Господи боже мой! — воскликнул Монтэг. — Каждый час они воют у нас над головой! Каждая секунда нашей жизни этим заполнена! Ночему никто не говорит об этом? После 1960 года мы затеяли и выиграли две атомные войны. Мы тут так, веселимся, что совсем забыли и думать об остальном мире. А не потому ли мы так богаты, что весь остальной мир беден и нам дела нет до этого? Я слышал, что во всем мире люди голодают. Но мы сыты! Я слышал, что весь мир тяжело трудится. Но мы веселимся. И не потому Л! нас так ненавидят? Я слышал — когда-то давно, — что нас все ненавидят. А почему? За что? Ты знаешь?.. Я не знаю. Но, может быть, эти книги откроют нам глаза! Может быть, хоть они предостерегут нас от повторения все тех же ужасных ошибок! Я что-то не слыхал, чтобы эти идиотики в твоей гостиной когда-нибудь говорили об этом. Боже мой, Милли, пу как ты не понимаешь? Если читать каждый день понемногу — ну, час в день, два часа в день, — так, может быть...

Зазвонил телефон. Милдред схватила трубку.

— Энн! — Она радостно засмеялась. — Да, Белый клоун! Сегодня в вечерней программе!

Монтэг вышел в кухню и швырнул книгу на стол.

«Монтэг, — сказал он себе, — ты в самом деле глуп. Но что же делать? Сообщить о книгах на станцию? Забыть о них?» — Он снова раскрыл книгу, стараясь не слышать смеха Милдред.

«Бедная Милли, — думал он. — Бедный Монтэг. Ведь и ты тоже ничего в них не можешь понять. Где просить помощи, где найти учителя, когда уже столько времени потеряно?»

Не надо сдаваться. Он закрыл глаза. Ну да, конечно. Он снова поймал себя на том, что думает о городском парке, куда однажды забрел год тому назад. В последнее время он все чаще вспоминал об этом. И сейчас в памяти ясно всплыло вес, что произошло в тот день: зеленый уголок парка, на скамейке старик в черном костюме; при виде Монтэга он быстро спрятал что-то в карман пальто.

...Старик вскочил, словно хотел бежать. А Монтэг сказал:

— Нодождите!

— Я ни в чем не виноват! — воскликнул старик дрожа.

— А я и не говорю, что вы в чем-нибудь виноваты, — ответил Монтэг.

Какое-то время они сидели молча в мягких зеленых оттенках листвы. Нотом Монтэг заговорил о погоде, и старик отвечал ему тихим, слабым голосом. Это была странная, какая-то очень тихая и спокойная беседа. Старик признался, что он бывший профессор английского языка; он лишился работы лет сорок тому назад, когда из-за отсутствия учащихся и материальной поддержки закрылся последний колледж изящной словесности. Старика звали Фабер, и, когда, наконец, его страх перед Монтэгом прошел, он стал словоохотлив: он заговорил тихим размеренным голосом, глядя на него, на деревья, на зеленые лужайки парка. Они беседовали около часа, и тут старик вдруг что-то прочитал наизусть, и Монтэг понял, что это стихи. Нотом старик, еще больше осмелев, снова что-то прочитал, и это тоже были стихи.

Прижав руку к левому карману пальто, Фабер с нежностью произносил слова, и Монтэг знал, что стоит ему протянуть руку — и в кармане у старика обнаружится томик стихов. Но он не сделал этого. Руки ого, странно бессильные и непужные, неподвижно лежали на коленях.

— Я ведь говорю не о самих вещах, сэр. — говорил Фабер. — Я говорю об их значении. Вот я сижу здесь и знаю — я живу.

Вот и все, что случилось тогда. Разговор, длившийся час, стихи и эти слова, а затем старик слегка дрожащими пальцами записал ему свой адрес на клочке бумаги. До этой мипуты оба избегали упоминать о том, что Монтэг — пожарный.

— Для вашей картотеки, — сказал старик, — на тот случай, если вы вздумаете рассердиться на меня.

— Я не сержусь на вас, — удивленно ответил Монтэг.

В передней пронзительно смеялась Милдред. Открыв стенной шкаф в спальне, Монтэг перебирал карточки в ящике с надписью «Нредстоящие расследования (?)». Среди них была карточка Фабера. Монтэг не донес на него тогда, но и не уничтожил адреса.

Он набрал номер телефона. На другом конце провода сигнал несколько раз повторил имя Фабера, и, наконец, в трубке послышался слабый голос профессора. Монтэг назвал себя. Ответом было долгое молчание, а затем:

— Да, мистер Монтэг?

— Профессор Фабер, у меня к вам не совсем обычный вопрос. Сколько экземпляров библии осталось в нашей стране?

— Не понимаю, о чем вы говорите.

— Я хочу знать, остался ли у нас хоть один экземпляр библии?

— Это какая-то ловушка! Я не могу со всяким разговаривать по телефону.

— Сколько осталось экземпляров произведений Шекспира, Платона?

— Ни одного! Вы знаете это не хуже меня. Ни одного!

Фабер бросил трубку.

Монтэг тоже положил трубку. Ни одного. Монтэг и раньше это знал по спискам на пожарной станции. Но почему-то ему хотелось услышать это от самого Фабера.

В передней его встретила Милдред с порозовевшим, веселым лицом.

— Ну вот, сегодня у нас в гостях будут дамы!

Монтэг показал ей книгу.

— Это Ветхий и Новый завет, и знаешь, Милдред...

— Не начинай, пожалуйста, опять все сначала!..

— Это, возможно, единственный уцелевший экземпляр в нашей части света.

— Но ты должен сегодня же ее вернуть! Ведь бренд-мейстер Битти знает об этой книге?

— Вряд ли он знает, какую именно книгу я унес. Можно сдать другую. Но какую? Джефферсона? Пли Торо? Какая из них менее ценна? А с другой стороны, если я ее подменю, а Битти знает, какую именно книгу я украл, он догадается, что у нас тут целая библиотека.

У Милдред задергались губы.

— Ну подумай, что ты делаешь? Ты нас погубишь! Что для тебя важнее — я или библия?

Она уже опять истерически кричала, похожая на восковую куклу, тающую от собственного жара.

Но Монтэг не слушал ее. Он слышал голос Битти.

«Садитесь, Монтэг. Смотрите. Берем страничку. Осторожно. Как лепесток цветка. Ноджигаем первую. Затем вторую. Огонь превращает их в черных бабочек. Красиво, а? Теперь от второй зажигайте третью, и так, цепочкой, страницу за страницей, главу за главой — все глупости, заключенные в словах, все лживые обещания, подержанные мысли, отжившую философию.

Неред ним сидел Битти с влажным от пота лбом, и вокруг него пол был усеян трупами черных бабочек, погибших в огненном смерче.

Милдред перестала вопить столь же неожиданно, как и начала. Монтэг не обращал на нее внимания.

— Остается одно, — сказал он. — До того как наступит вечер и я буду вынужден отдать книгу Битти, надо снять с нее копию.

— Ты будешь дома, когда начнется программа Белого клоуна и придут гости? — крикнула ему вслед Миллред.

Не оборачиваясь, Монтэг остановился в дверях.

— Милли!

Молчание.

— Ну что?

— Милли, Белый клоун любит тебя?

Ответа нет.

— Милли, — он облизнул сухие губы, — твои «родственники» любят тебя? Любят всем сердцем, всей душой? А, Милли?

Он чувствовал, что, растерянно моргая, она смотрит ему в затылок.

— Зачем ты задаешь такие глупые вопросы? Ему хотелось плакать, но губы его были плотно сжаты, и в глазах не было слез.

— Если увидишь за дверью собаку, дай ей за меня пинка, — сказала Миллред.

Он стоял в нерешительности перед дверью, прислушиваясь. Затем открыл ее и перешагнул порог.

Дождь перестал; на безоблачном небе солнце клонилось к закату. Около дома никого не было; улица и лужайка были пусты. Вздых облегчения вырвался из груди Монтэга.

Он захлопнул за собой дверь.

Монтэг ехал в метро.

«Я весь словно застыл, — думал он. — Когда же это началось? Когда застыло мое лицо, мое тело? Не в ту ли ночь, когда в темноте я натолкнулся ногой на флакон с таблетками, словно на спрятанную мипу?

Это пройдет. Не сразу, может быть, понадобится время. Но я все сделаю, чтобы это прошло, да и Фабер мне поможет. Кто-нибудь вернет мне мое прежнее лицо, мои руки, они опять станут такими, как были. Сейчас

даже улыбка, привычная улыбка пожарника покинула меня. Без нее я как потерянный».

В окнах мелькала стена туннеля — кремовые изразцы и густая чернота, изразцы и чернота, цифры и снова чернота, — все несло мимо, все складывалось в какой-то непонятный итог.

Когда-то давно, когда он был еще ребенком, он сидел однажды на берегу моря, на желтом песке дюн в жаркий летний день и пытался наполнить песком сито, потому что двоюродный брат зло подшутил над ним, сказав: «Если наполнишь сито песком, получить десять центов». Но чем быстрее он наполнял его, тем стремительнее, с сухим горячим шелестом песок просыпался сквозь дырочки. Руки у него устали, песок был горячий, как огонь, а сито все оставалось пустым. Он молча сидел на берегу в душный, июльский день, и слезы катились по его щекам.

Теперь, когда пневматический поезд мчал его, потряхивая и качая, по пустым подземным коридорам, он вспомнил безжалостную логику сита и, опустив глаза, вдруг увидел, что держит в руках раскрытую библию. В вагоне были люди, но он, не скрываясь, держал книгу в руках, и в голову ему вдруг пришла нелепая мысль: если читать быстро и все подряд, то хоть немного песка задержится в сите. Он начал читать, но слива просыпались насквозь, а ведь через несколько часов он увидит Битти и отдаст ему книгу, поэтому ни одна фраза не должна ускользнуть, нужно запомнить каждую строчку. «Я, Монтэг, должен это сделать, я заставлю себя это сделать!»

Он судорожно стиснул книгу. В вагоне ревели радиорупоры:

— Зубная паста Денгэм!..

«Замолчи, — думал Монтэг. — «Носмотрите на лилии, как они растут...»

— Зубная паста Денгэм!

«Они не трудятся...»

— Зубная паста...

«Носмотрите на лилии...» Замолчи, да замолчи же!..»

— Зубная паста!..

Он опять раскрыл книгу, стал лихорадочно листать страницы, он ощупывал их, как слепой, впивался взглядом в строчки, в каждую букву.

— Денгэм. Но буквам: Д-е-н...

«Не трудятся, не прядут...»

Сухой шелест песка, просыпающегося сквозь пустое сито.

— Денгэм освежает!..

«Носмотрите на лилии, лилии, лилии...»

— Зубной эликсир Денгэм!

— Замолчите, замолчите, замолчите!.. — эта мольба, этот крик о помощи с такой силой вырвался из груди Монтэга, что он сам не заметил, как вскочил на ноги. Нассажиры шумного вагона испуганно отшатнулись от человека с безумным, побагровевшим от крика лицом, с перекошенными, воспаленными губами, сжимавшего в руках открытую книгу; все с опаской смотрели на него, все, кто минуту назад мирно отбивал такт ногой под выкрики рупора: Денгэм, Денгэм, зубная паста, Денгэм, Денгэм, зубной эликсир — раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три; все, кто только что машинально бормотал себе под нос: «Наста, паста, зубная паста, паста, паста, паста, зубная паста...»

И, как бы в отместку, рупоры обрушили на Монтэга топпу музыки, составленной из металлического лязга — из дребезжания и звона жести, меди, серебра, латуни. И люди смирились; оглушенные до состояния полной покорности, они не убегали, ибо бежать было некуда: огромный пневматический поезд мчался в глубоком туннеле под землей.

— Лилии полевые...

— Денгэм!

— Лилии!.. Лилии!!

Люди с удивлением смотрели на него:

— Нозовите кондуктора.

— Человек сошел с ума...

— Станция Нолл Вью!

Со свистом выпустив воздух, поезд остановился.

— Нолл Вью! — громко.

— Денгэм, — шепотом.

Губы Монтэга едва шевелились.

— Лилии...

Зашипев, дверь вагона открылась. Монтэг все еще стоял. Шумно вздохнув, дверь стала закрываться. И только тогда Монтэг рванулся вперед, растолкал пассажиров и, продолжая беззвучно кричать, выскочил на платформу сквозь узкую щель закрывающейся Двери. Он бежал по белым плиткам туннеля, не обращая внимания на эскалаторы, — ему хотелось чувствовать, как движутся его ноги, руки, как сжимаются и разжимаются легкие при каждом вдохе и выдохе и воздух обжигает горло. Вслед ему неслись рев: «Денгэм, Денгэм, ДенгэмН»

Зашипев, словно змея, поезд исчез в черной дыре туннеля.

— Кто там?

— Это я. Монтэг.

— Что вам угодно?

— Впустите меня.

— Я ничего не сделал.

— Я тут один. Нонимаете? Один.

— Ноклянитесь.

— Клянусь.

Дверь медленно растворилась; выглянул Фабер. При ярком свете дня он казался очень старым, слабым, напуганным. Старик выглядел так, словно много лет не выходил из дому. Его лицо и белые оштукатуренные стены комнаты, видневшиеся за ним, были одного цвета. Белыми казались его губы, и кожа щек, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтэг держал под мышкой, и старик разом изменился; теперь он уже не казался ни таким старым, ни слабым. Страх его понемногу проходил.

— Простите, приходится быть осторожным. — Глаза Фабера были прикованы к книге. — Значит, это правда?

Монтэг вошел. Дверь захлопнулась.

— Нрисядьте, — Фабер пытался, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвет от нее взгляд. За ним виднелась открытая

дверь в спальню, и там — стол, загроможденный частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтэг увидел все это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь. Он стоял, сжимая дрожащей рукой дверную ручку. Затем перевел нерешительный взгляд на Монтэга.

Теперь Монтэг сидел, держа книгу на коленях.

— Эта книга... Где вы?..

— Я украл ее.

Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтэгу.

— Вы смелый человек.

— Нет, — сказал Монтэг. — Но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки тому назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть! Видеть!

Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге:

— Можно?..

— Ах да. Простите. — Монтэг подал ему книгу.

— Столько времени!.. Я никогда не был религиозным... Но столько времени прошло с тех пор... — Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку. — Все та же, та же, точь-в-точь такая, какой я ее помню! А как ее теперь исковеркали в наших телевизорных гостиных! Христос стал одним из «родственников». Я часто думаю, узнал бы господь бог своего сына? Мы так его раздели. Или, лучше сказать, — раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему.

Фабер понюхал книгу.

— Знаете, книги пахнут мускатным орехом или еще какой-то пряностью из далеких заморских стран. Ребенком я любил нюхать книги. Господи, ведь сколько же было хороших книг, пока мы не позволили уничтожить их!

Он перелистывал страницы.

— Мистер Монтэг, вы видите перед собой труса. Я знал тогда, я видел, к чему идет, но я молчал. Я был одним из невиновных, одним из тех, кто мог бы поднять голос, когда никто уже не хотел слушать «виновных». Но я молчал и, таким образом, сам стал соучастником. И когда, наконец, придумали жечь книги, используя для этого пожарных, я пороптал немного и смирился, потому что никто меня не поддержал. А сейчас уже поздно.

Фабер закрыл библию.

— Теперь скажите мне, зачем вы пришли?

— Мне нужно поговорить, а слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, то, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю.

Фабер пристально посмотрел на худое, с синевой на бритых щеках, лицо Монтэга.

— Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?

— Не знаю. У нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, — это книги, которые я сам сжигал вот уже десять или двенадцать лет. И я подумал: может быть, книги мне и помогут.

— Вы — безнадежный романтик, — сказал Фабер. — Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Вам не книги пужны, а то, что когда-то было в них, что могло бы и. теперь быть в программах наших гостиных. То же внимание к подробностям, ту же чуткость и сознательность могли бы воспитывать и наши радио и телевизионные передачи, но, увы, они этого не делают. Нет, нет, книги не выложат вам сразу все, чего вам хочется. Ищите это сами всюду, где можно, — в старых граммофонных пластинках, в старых фильмах, в старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — только одно из мест, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого

волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят, в том, как они сшивают лоскутки вселенной в единое целое. Конечно, вам неоткуда было это узнать. Вам, наверно, и сейчас еще непонятно, о чем я говорю. Но вы интуитивно пошли по правильному пути, а это главное. Слушайте, нам не хватает трех вещей. Первая. Знаете ли вы, почему так важны такие книги, как эта? Потому что они обладают качеством. А что значит качество? Для меня это текстура, ткань книги. У этой книги есть поры, она дышит. У нее есть лицо. Ее можно изучать Нод микроскопом. И вы найдете в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии. Чем больше пор, чем больше правдивого изображения разных сторон жизни на квадратный дюйм бумаги, тем более «художественна» книга. Вот мое определение качества. Давать подробности, новые подробности. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Носредственные — лишь поверхностно скользят по ней. А плохие насилуют ее и оставляют растерзанную на съедение мухам.

— Теперь вам понятно, — продолжал Фабер, — почему книги вызывают такую ненависть, почему их так боятся? Они показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения. Мы живем в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Но ведь даже фейерверк, даже все его великолепие и богатство красок создано химией земли. А мы вообразили, будто можем жить и расти, питаясь цветами и фейерверками, не завершая естественного цикла, возвращающего нас к действительности. Известна ли вам легенда об Антее? Это был великан, обладавший непобедимой силой, пока он прочно стоял на земле. Но когда Геракл оторвал его от земли и поднял в воздух, Антей погиб. То же самое справедливо и для нас, живущих сейчас вот в этом городе, — или я уж совсем сумасшедший. Итак, вот первое, чего нам не хватает: качества, текстуры наших знаний.

— А второе?

— Досуга.

— Но у нас достаточно свободного времени!

— Да. Свободного времени у нас достаточно. Но есть ли у нас время подумать? На что вы тратите свое свободное время? Либо вы мчитесь в машине со скоростью ста миль в час, так что ни о чем уж другом нельзя думать, кроме угрожающей вам опасности, либо вы убиваете время, играя в какую-нибудь игру, либо вы сидите в комнате с четырехстенным телевизором, а с ним уж, знаете ли, не поспоришь. Ночему? Да потому, что эти изображения на стенах — это «реальность». Вот они перед вами, они зримы, они объемны, и они говорят вам, что вы должны думать, они вколачивают это вам в голову. Ну вам и начинает казаться, что это правильно — то, что они говорят. Вы начинаете верить, что это правильно. Вас так стремительно приводят к заданным выводам, что ваш разум не успевает возмутиться и воскликнуть: «Да ведь это чистейший вздор!»

— Только «родственники» — живые люди.

— Простите, что вы сказал?

— Моя жена говорит, что книги не обладают такой «реальностью», как телевизор.

— И слава богу, что так. Вы можете закрыть книгу и сказать ей: «Нодожди». Вы ее властелин. Но кто вырвет вас из цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? Она мнет вас, как глину, и формирует вас по своему желанию. Это тоже «среда» — такая же реальная, как мир. Она становится истиной, она есть истина. Книгу можно победить силой разума. Но при всех моих знаниях и скептицизме я никогда не находил в себе силы вступить в спор с симфоническим оркестром из ста инструментов, который ревел на меня с цветного и объемного экрана наших чудовищных гостиных. Вы видите, моя гостиная — это четыре обыкновенные оштукатуренные стены. А это, — Фабер показал две маленькие резиновые пробки, — это чтобы затыкать уши, когда я еду в метро.

— Денгэм, Денгэм, зубная паста... «Они не трудятся, не прядут», — прошептал Монтэг, закрыв глаза. — Да. Но что же дальше? Номогут ли нам книги?

— Только при условии, что у нас будет третья необходимая нам вещь. Первая, как я уже сказал, это качество наших знаний. Вторая — досуг, чтобы продумать, усвоить эти знания. А третья — право действовать на основе того, что мы почерпнули из взаимодействия двух первых. Но сомнительно, чтобы один глубокий старик и один разочаровавшийся пожарник могли что-то изменить теперь, когда дело зашло уже так далеко...

— Я могу доставать книги.

— Это страшный риск.

— Знаете, в положении умирающего есть свои преимущества. Когда нечего терять — не боишься риска.

— Вы сейчас сказали очень любопытную вещь, — засмеялся Фабер, — и ведь ниоткуда не вычитали!

— А разве в книгах пишут о таком? Мне это так, вдруг почему-то пришло в голову.

— То-то и хорошо. Значит, не придумали нарочно для меня, или для кого-нибудь другого, или хоть для самого себя.

Монтэг нагнулся к Фаберу.

— Я сегодня вот что придумал: если книги действительно так ценны, так нельзя ли раздобыть печатный станок и отпечатать несколько экземпляров?.. Мы могли бы...

— Мы?

— Да, вы и я.

— Ну уж нет! — Фабер резко выпрямился.

— Да вы послушайте — я хоть изложу свой план...

— Если вы будете настаивать, я попрошу вас покинуть мой дом.

— Но разве вам не интересно?

— Нет, мне не интересны такие разговоры, за которые меня могут сжечь. Другое дело, если бы можно было уничтожить саму систему пожарных. Вот если бы вы предложили отпечатать несколько книг и спрятать их в домах у пожарных так, чтобы посеять семена сомнения среди самих поджигателей, я сказал бы вам: браво!

— Нодбросить книги, дать сигнал тревоги и смотреть, как огонь пожирает дома пожарных? Вы это хотите сказать?

Фабер поднял брови и посмотрел на Монтэга, словно видел его впервые.

— Я пошутил.

— Вы считаете, что это дельный план? Стоит попытаться? Но мне пужно знать наверное, что от этого будет толк.

— Этого вам никто не может гарантировать. Ведь когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все-таки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него прыгнуть. Тут достоверно только одно: да, нам необходимо дышать полной грудью. Да, нам пужны знания. И, может быть, лет этак через тысячу мы научимся выбирать для прыжков менее крутые утесы. Ведь книги существуют для того, чтобы напоминать нам, какие мы дураки и упрямые ослы. Они как преторианская стража Цезаря, которая нашептывала ему во время триумфа: «Номни, Цезарь, что и ты смертен». Большинство из нас не может всюду побывать, со всеми поговорить, посетить все города мира. У нас нет ни времени, ни денег, ни такого количества друзей. Все, что вы ищете, Монтэг, существует в мире, но простой человек разве только одну сотую может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять процентов он познает через книгу. Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то одного — от человека, или машины, или библиотеки. Сами создавайте то, что может спасти мир, — и если утонете по дороге, так хоть будете знать, чтоплыли к берегу.

Фабер встал и начал ходить по комнате.

— Ну? — спросил Монтэг.

— Вы это серьезно — насчет пожарных?

— Абсолютно.

— Коварный план, ничего. не скажешь, — Фабер нервно покосился на дверь спальни. — Видеть, как по всей стране пылают дома пожарных, гибнут эти очаги предательства! «Саламандра», пожирающая свой собственный хвост! Ух! Здорово!

— У меня есть адреса всех пожарных. Если у нас будет своего рода тайное...

— Людям нельзя доверять, в этом весь ужас. Вы да я, а кто еще?

— Разве не осталось профессоров, таких, как вы? Бывших шпателей, историков, лингвистов?..

— Умерли или уже очень старые.

— Чем старше, тем лучше. Меньше вызовут полозрений. Вы же знаете таких, и, наверно, не один десяток. Признайтесь!

— Да, пожалуй. Есть, например, актеры, которым уже много лет не приходилось играть в пьесах Ниранделло, Шоу и Шекспира, ибо эти пьесы слишком верно отражают жизнь. Можно бы использовать их гнев. И благородное возмущение историков, не написавших ни одной строчки за последние сорок лет. Это верно, мы могли бы создать школу и сызнова учить людей читать и мыслить.

— Да!

— Но все это капля в море. Вся наша культура мертва. Самый остов ее надо переплавить и отлить в новую форму. Но это не так-то просто! Дело ведь не только в том, чтобы снова взять в руки книгу, которую ты отложил полвека назад. Вспомните, что надобность в пожарных возникает не так уж часто. Люди сами перестали читать книги, по собственной воле. Время от времени вы, пожарники, устраиваете для нас цирковые представления — поджигаете дома и развлекаете толпу. Но это так — дивертисмент, и вряд ли на этом все держится. Охотников бунтовать в наше время осталось очень немного. А из этих немногих большинство легко запугать. Как меня, например. Можете вы плясать быстрее, чем Белый клоун, или кричать громче, чем сам господин Главный Фокусник и все гостиные «родственники»? Если можете, то, пожалуй, добьетесь своего. А в общем, Монтэг, вы, конечно, глупец. Люди-то ведь действительно веселятся.

— Кончая жизнь самоубийством? Убивая друг Друга?

Нока они говорили, над домом проносились эскадрильи бомбардировщиков, держа курс на восток. Только сейчас они заметили это и умолкли, прислушиваясь к мощному реву реактивных моторов, чувствуя, как от него все сотрясается у них внутри.

— Нотерпите, Монтэг. Вот будет война — и все наши гостинные сами собой умолкнут. Наша цивилизация несется к гибели. Отойдите в сторону, чтобы вас не задело колесом.

— Но ведь кто-то должен быть наготове, чтобы строить, когда все рухнет?

— Кто же? Те, кто может наизусть цитировать Мильтона? Кто может сказать: «А я еще помню Софокла»? Да и что они станут делать? Напоминать уцелевшим, что у человека есть также и хорошие стороны? Эти уцелевшие только о том будут думать, как бы набрать камней да запустить ими друг в друга. Идите домой, Монтэг. Ложитесь спать. Зачем тратить свои последние часы на то, чтобы кружиться по клетке и уверять себя, что ты не белка в колесе?

— Значит, вам уже все равно?

— Нет, мне не все равно. Мне до такой степени не все равно, что я прямо болен от этого.

— И вы не хотите помочь мне?

— Спокойной ночи Спокойной ночи.

Руки Монтэга протянулись к библии. Он сам удивился тому, что вдруг сделали его руки.

— Хотели бы вы иметь эту книгу?

— Нравую руку отдал бы за это, — сказал Фабер.

Монтэг стоял и ждал, что будут делать дальше его руки. И они, помимо его воли и желания, словно два живых существа, охваченных одним стремлением, стали вырывать страницы. Оторвали титульный лист, первую страницу, вторую.

— Сумасшедший! Что вы делаете? — Фабер подскочил как от удара. Он бросился к Монтэгу, но тот отстранил его. Руки Монтэга продолжали рвать книгу. Еще шесть страниц упали на пол. Монтэг поднял их и на глазах у Фабера скомкал в руке.

— Не надо! Попрошу вас, не надо! — воскликнул старик.

— А кто мне помешает? Я пожарный. Я могу сжечь вас.

Старик взглянул на него.

— Вы этого не сделаете!

— Могу сделать, если захочу.

— Эта книга... не рвите ее!

Фабер опустился на стул. Лицо его побелело как полотно, губы дрожали.

— Я устал. Не мучайте меня. Чего вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы научили меня.

— Хорошо. Хорошо.

Монтэг положил книгу. Руки его начали разглаживать смятые страницы. Старик устало следил за ним.

Тряхнув головой, словно сбрасывая с себя оцепенение, Фабер спросил:

— У вас есть деньги, Монтэг?

— Есть. Немного. Четыреста или пятьсот долларов. Ночему вы спрашиваете?

— Принесите мне. Я знаю человека, который полвека тому назад печатал газету нашего колледжа. Это было в тот самый год, когда, придя в аудиторию в начале нового семестра, я обнаружил, что на курс лекций по истории драмы, от Эсхила до Юджина О'Нейла, записался всего один студент. Нонимаете? Впечатление было такое, как будто прекрасная статуя из льда тает у тебя на глазах под палящими лучами солнца. Я помню, как одна за другой умирали газеты, словно бабочки на огне. Никто не пытался их воскресить. Никто не жалел о них. И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, повелителей огня. Так вот, Монтэг, у нас, стало быть, имеется безработный печатник. Мы можем отпечатать несколько книг и ждать, пока не начнется война, которая разрушит нынешний порядок вещей и даст нам нужный толчок. Несколько бомб — и все эти «родственники», обитающие в стенах гостиных, вся эта шутовская свора умолкнет навсегда! И в наступившей тишине, может быть, станет слышен наш шепот.

Глаза обоих были устремлены на книгу, лежащую на столе.

— Я пытался запомнить, — сказал Монтэг. — Но, черт! Стоит отвести глаза, и я уже все забыл. Господи, как бы мне хотелось поговорить с брандмейстером Бит-

ти! Он много читал, у него на все есть ответ, или так по крайней мере кажется. Голос у него, как масло. Я только боюсь, что он уговорит меня и я опять стану прежним. Ведь всего неделю назад, наполняя шланг керосином, я думал: черт возьми, до чего же весело!

Старик кивнул головой:

— Кто не созидает, должен разрушать. Это старо как мир. Нсихология малолетних преступников.

— Так вот, значит, кто я такой!

— В каждом из нас это есть.

Монтэг сделал несколько шагов к выходу.

— Вы не можете как-нибудь мне помочь, когда я сегодня вечером буду разговаривать с брандмейстером Битти? Мне нужна поддержка. А то как бы мне не захлебнуться, когда он станет изливать на меня потоки своих речей.

Старик ничего не ответил и снова бросил беспокойный взгляд на дверь спальни. Монтэг заметил это.

— Ну так как же?

Старик глубоко вздохнул. Закрыв глаза и плотно сжав губы, он еще раз с усилием перевел дыхание. С его губ слетело имя Монтэга.

Наконец, повернувшись к Монтэгу, он сказал:

— Нойдемте. Я чуть было не позволил вам уйти. Я в самом деле трус. И старый дурак.

Он растворил дверь спальни. Следом за ним Монтэг вошел в небольшую комнату, где стоял стол, заваленный инструментами, мотками тончайшей, как паутина, проволоки, крошечными пружинками, катушками, кристалликами.

— Что это? — спросил Монтэг.

— Свидетельство моей страшной трусости. Я столько лет жил один в этих стенах, наедине со своими мыслями. Возиться с электрическими приборами и радиоприемниками стало моей страстью. Имение эта трусость и в то же время мятежный дух, подспудно живущий во мне, побудили меня изобрести вот это.

Он взял со стола маленький металлический предмет зеленоватого цвета, напоминающий нулю небольшого калибра.

— Откуда я взял на это средства, спросите вы? Ну, понятно, играл на бирже. Это ведь последнее прибежище для опасномыслящих интеллигентов, оставшихся без работы. Играл на бирже, работал над этим изобретением и ждал. Нолжизни просидел, трясаясь от страха, все ждал, чтобы кто-нибудь заговорил со мной. Сам я не решался ни с кем заговаривать. Когда мы с вами сидели в парке и беседовали — помните? — я уже знал, что вы придете ко мне, но с факелом ли пожарника или за тем, чтобы протянуть мне руку дружбы, — вот этого я не мог сказать наперед. И этот маленький аппарат был уже готов несколько месяцев тому назад. А все-таки я чуть было не позволил вам уйти. Вот какой я трус.

— Нохоже на радиоприемник «Ракушку».

— Но это больше, чем приемник. Мой аппарат слушает! Если вы вставите эту нульку в ухо, Монтэг, я могу спокойно сидеть дома, греть в тепле свои напуганные старые кости и вместе с тем слушать и изучать мир пожарников, выискивать его слабые стороны, не подвергаясь при этом ни малейшему риску. Я буду, как пчелиная матка, сидящая в своем улье. А вы будете рабочей пчелой, моим нутешествующим ухом. Я мог бы иметь уши во всех концах города, среди самых различных людей. Я мог бы слушать и делать выводы. Если пчелы погибнут, меня это не коснется, я по-прежнему буду у себя дома в безопасности, буду переживать свой страх с максимумом комфорта и минимумом риска. Теперь вы видите, как мало я рискую в этой игре, какого презрения я достоин!

Монтэг вложил зеленую пульку в ухо. Старик тоже вложил в ухо такой же маленький металлический предмет и зашевелил губами:

— Монтэг!

Голос раздавался где-то в глубине мозга Монтэга.

— Я слышу вас!

Старик засмеялся:

— Я вас тоже хорошо слышу, — Фабер говорил шепотом, но голос его отчетливо звучал в голове Монтэга.

— Когда придет время, идите на пожарную станцию. Я буду с вами. Мы вместе послушаем вашего брандмей-

стера. Может быть, он один из нас, кто знает. Я подсказу вам, что говорить. Мы славно его разыграем. Скажите, вы ненавидите меня сейчас за эту электронную штучку, а? Я выгоняю вас на улицу, в темноту, а сам остаюсь за линией фронта; мои уши будут слушать, а вам за это, может быть, снимут голову.

— Каждый делает что может, — ответил Монтэг. Он вложил библию в руки старика. — Берите. Я попробую отдать что-нибудь другое вместо нее. А завтра...

— Да, завтра я повидаяюсь с безработным печатником. Хотя это-то я могу сделать.

— Спокойной ночи, профессор.

— Нет, спокойной эта ночь не будет. Но я все время буду с вами. Как назойливый комар, стану жужжать вам на ухо, как только вам понадобится. И все же дай вам бог спокойствия в эту ночь, Монтэг. И удачи.

Дверь растворилась и захлопнулась. Монтэг снова был на темной улице и снова один на один с миром.

В ту ночь даже небо готовилось к войне. Но нему клубились тучи, и в просветах между ними, как вражеские дозорные, сияли мириады звезд. Небо словно собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли. В кровавом зареве вставала луна. Вот какой была эта ночь.

Монтэг шел от станции метро; деньги лежали у него в кармане (он уже побывал в банке, открытом всю ночь, — его обслуживали механические роботы). Он шел и, вставив «Ракушку» в ухо, слушал голос диктора:

— Мобилизован один миллион человек. Если начнется война, быстрая победа обеспечена... — Внезапно ворвавшаяся музыка заглушила голос диктора, и он умолк.

— Мобилизовано десять миллионов, — шептал голос Фабера в другом ухе. — Но говорят, что один. Так спокойнее.

— Фабер!

— Да.

— Я не думаю. Я только выполняю то, что мне приказано, как делал это всегда. Вы сказали достать деньги, и я достал. Но сам я не подумал об этом. Когда же я начну думать и действовать самостоятельно?

— Вы уже начали, когда это сказали. Но на первых порах придется вам полагаться на меня.

— На тех я тоже полагался.

— Да, и видите, куда это вас завело. Какое-то время вы будете брести вслепую. Вот вам моя рука.

— Нерейти на другую сторону и опять действовать по указке? Нет, так я не хочу. Зачем мне тогда переходить на вашу сторону?

— Вы уже поумнели, Монтэг.

Монтэг почувствовал под ногами знакомый тротуар, и ноги сами несли его к дому.

— Продолжайте, профессор.

— Хотите, я вам почитаю? Я постараюсь читать так, чтобы вы все запомнили. Я сплю всего пять часов в сутки. Свободного времени у меня много. Если хотите, я буду читать вам каждый вечер, на сон грядущий. Говорят, что мозг спящего человека все запоминает, если тихонько нашептывать спящему на ухо.

— Да.

— Так вот слушайте. — Далеко, в другом конце города, тихо зашелестели переворачиваемые страницы. — Книга Иова.

Взошла луна. Беззвучно шевеля губами, Монтэг шел по тротуару.

В девять вечера, когда он заканчивал свой легкий ужин, рупор у входной двери возвестил о приходе гостей. Милдред бросилась в переднюю с такой поспешностью, как человек, спасающийся от извержения вулкана. В дом вошли миссис Фелпс и миссис Бауэлс, и гостиная поглотила их, словно огненный кратер. В руках у дам были бутылки мартини. Монтэг прервал свою трапезу. Эти женщины были похожи на чудовищные стеклянные люстры, звенящие тысячами хрустальных подвесок. Даже сквозь стену он видел их застывшие бессмысленные

улыбки. Они визгливо приветствовали друг друга, стараясь перекричать шум гостиной.

Дожевывая кусок, Монтэг остановился в дверях.

— У вас прекрасный вид!

— Прекрасный!

— Ты шикарно выглядишь, Милли!

— Шикарно!

— Все выглядят чудесно!

— Чудесно!

Монтэг молча наблюдал их.

— Спокойно, Монтэг, — предостерегающе шептал в ухо Фабер.

— Зря я тут задержался, — почти про себя сказал Монтэг. — Давно уже надо было бы ехать к вам с деньгами.

— Это не поздно сделать и завтра. Будьте осторожны, Монтэг.

— Чудесное ревю, не правда ли? — воскликнула Милдред.

— Восхитительное!

На одной из трех телевизорных стен какая-то женщина одновременно пила апельсиновый сок и улыбалась ослепительной улыбкой.

«Как это она ухитряется?» — думал Монтэг, испытывая странную ненависть к улыбающейся даме. На другой стене видно было в рентгеновых лучах, как апельсиновый сок совершает нуть по пищеводу той же дамы, направляясь к ее трепещущему от восторга желудку. Вдруг гостиная ринулась в облака на крыльях ракетного самолета; потом нырнула в мутно-зеленые воды моря, где синие рыбы пожирали красных и желтых рыб. А через минуту три белых мультипликационных клоуна уже рубили друг другу руки и ноги под взрывы одобрительного хохота. Снустя еще две минуты стены перенесли зрителей куда-то за город, где по кругу в бешеном темпе мчались ракетные автомобили, сталкиваясь и сшибая друг друга. Монтэг видел, как в воздух взлетело несколько человеческих тел.

— Милли, ты видела?

— Видела, видела!

Монтэг просунул руку внутрь стены и повернул. центральный выключатель. Изображения на стенах угасли, как будто из огромного стеклянного аквариума, в котором метались обезумевшие рыбы, кто-то внезапно выпустил воду.

Все три женщины обернулись и с нескрываемым раздражением и неприязнью посмотрели на Монтэга.

— Как вы думаете, когда начнется война? — спросил Монтэг. — Я вижу, ваших мужей сегодня нет с вами.

— О, они то приходят, то уходят, — сказала миссис Фелпс. — То приходят, то уходят, себе места не находят... Нита вчера призвали. Он вернется на будущей неделе. Так ему сказали. Короткая война. Через сорок восемь часов все будут дома. Так сказали в армии. Короткая война. Нита призвали вчера и сказали, что через неделю он будет дома. Короткая...

Три женщины беспокойно ерзали на стульях, нервно поглядывая на пустые грязно-серые стены.

— Я не беспокоюсь, — сказала миссис Фелпс. — Пусть Нит беспокоится, — хихикнула она. — Пусть себе Нит беспокоится. А я и не подумаю. Я ничуть не тревожусь.

— Да, да, — подхватила Милли. — Пусть себе Нот тревожится.

— Убивают всегда чужих мужей. Так говорят.

— Да, я тоже слышала. Не знаю ни одного человека, погибшего на войне. Ногибают как-нибудь иначе. Например, бросаются с высоких зданий. Это бывает. Как муж Глории на прошлой неделе. Это да. Но на войне? Нет.

— На войне — нет, — согласилась миссис Фелпс. — Во всяком случае, мы с Нитом всегда говорили: никаких слез и прочих сантиментов. Это мой третий брак, у Нита тоже третий, и мы оба совершенно независимы. Надо быть независимым — так мы всегда считали. Нит сказал, если его убьют, чтобы я не плакала, а скорее бы выходила замуж — и дело с концом.

— Кстати! — воскликнула Милдред. — Вы видели вчера на стенах пятиминутный роман Клары Доув? Это про то, как она...

Монтэг молча разглядывал лица женщин; так когда-то он разглядывал изображения святых в какой-то церковушке чужого вероисповедания, в которую случайно забрел ребенком. Эмалевые лики этих странных существ остались чужды и непонятны ему, хотя он и пробовал обращаться к ним, как на молитве, и долго простоял в церкви, стараясь проникнуться этой религией, поглубже вдохнуть в себя запах ладана и какой-то особой, присущей только этому месту пыли. Ему думалось: если эти запахи наполнят его легкие, проникнут в его кровь, тогда, быть может, его тронут, станут понятнее эти раскрашенные фигурки с фарфоровыми глазами и яркими, как рубин, губами. Но ничего не получилось, ничего! Все равно как если бы он зашел в лавку, где в обращении была другая валюта, так что он ничего не мог купить на свои деньги. Он остался холоден, даже когда потрогал святых — просто дерево, глина. Так чувствовал он себя и сейчас, в своей собственной гостинной, глядя на трех женщин, нервно ерзавших на стульях. Они курили, нускали в воздух клубы дыма, поправляли свои яркие волосы, разглядывали свои ногти — огненно-красные, словно воспламенившиеся от пристального взгляда Монтэга. Тишина угнетала женщин, в их лицах была тоска. Когда Монтэг проглотил, наконец, недоеденный кусок, женщины невольно подались вперед. Они настороженно прислушивались к его лихорадочному дыханию. Три пустые стены гостинной были похожи теперь на бледные лбы спящих великанов, погруженных в тяжкий сон без сновидений. Монтэгу чудилось — если коснуться великаньих лбов, на пальцах останется след соленого пота. И чем дальше, тем явственнее становилась испарина на этих мертвых лбах, тем напряженнее молчание, тем ошутимее трепет в воздухе и в теле этих сгорающих от нетерпения женщин. Казалось, еще минута — и они, громко зашипев, взорвутся.

Губы Монтэга шевельнулись:

— Давайте поговорим.

Женщины вздрогнули и уставились на него.

— Как ваши дети, миссис Фелпс? — спросил Монтэг.

— Вы прекрасно знаете, что у меня нет детей! Да и кто в наше время, будучи в здравом уме, захочет иметь детей? — воскликнула миссис Фелпс, не понимая, почему так раздражает ее этот человек.

— Нет, тут я с вами не согласна, — промолвила миссис Бауэлс. — У меня двое. Мне, разумеется, оба раза делали кесарево сечение. Не терпеть же мне родовые муки из-за какого-то там ребенка? Но, с другой стороны, люди должны размножаться. Мы обязаны продолжать человеческий род. Кроме того, дети иногда бывают похожи на родителей, а это очень забавно. Ну что ж, два кесаревых сечения — и проблема решена. Да, сэр. Мой врач говорил — кесарево не обязательно, вы нормально сложены, можете рожать, но я настояла.

— И все-таки дети — это ужасная обуза. Вы просто сумасшедшая, что вздумали их заводить! — воскликнула миссис Фелпс.

— Да нет, не так уж плохо. Девять дней из десяти они проводят в школе. Мне с ними приходится бывать только три дня в месяц, когда они дома. Но и это ничего. Я их загоняю в гостиную, включаю стены — и все. Как при стирке белья. Вы закладываете белье в машину и захлопываете крышку. — Миссис Бауэлс хихикнула. — А нежностей у нас никаких не полагается. Им и в голову не приходит меня поцеловать. Скорее уж дадут мне пинка. Слава богу, я еще могу ответить им тем же.

Женщины громко расхохотались.

Милдред с минуту сидела молча, но, видя, что Мон-тэг не уходит, захлопала в ладоши и воскликнула:

— Давайте доставим удовольствие Гаю и поговорим о политике.

— Ну что ж, прекрасно, — сказала миссис Бауэлс. — На прошлых выборах я голосовала, как и все. Конечно, за Нобля. Я нахожу, что он один из самых приятных мужчин, когда-либо избиравшихся в президенты.

— О да. А помните того, другого, которого выставили против Нобля?

— Да уж хорош был, нечего сказать! Маленький. немрачный, и выбрит кое-как, и причесан плохо.

— И что это оппозиции пришло в голову выставить его кандидатуру? Разве можно выставлять такого коротышку против человека высокого роста? Вдобавок он мямлил. Я почти ничего не расслышала из того, что он говорил. А что расслышала, того не поняла.

— Кроме того, он толстяк и даже не старался скрыть это одеждой. Чему же удивляться! Конечно, большинство голосовало за Уинстона Нобля. Даже их имена сыграли тут роль. Сравните: Уинстон Нобль и Хьюберт Хауг — и ответ вам сразу станет ясен.

— Черт! — воскликнул Монтэг. — Да ведь вы же ничего о них не знаете — ни о том, ни о другом!

— Ну как же не знаем! Мы их обоих видели на стенах вот этой самой гостиной! Всего полгода назад. Один все время ковырял в носу. Ужас, что такое! Смотреть было противно.

— И, по вашему, мистер Монтэг, мы должны были голосовать за такого человека? — воскликнула миссис Фелпс.

Милдред засияла улыбкой:

— Гай, пожалуйста, не зли нас! Отойди от двери!

Но Монтэг уже исчез; через минуту он вернулся с книгой в руках.

— Гай!

— К черту все! К черту! К черту!

— Что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение все теперь проводится с помощью кинофильмов. — Миссис Фелпс удивленно заморгала глазами. — Вы изучаете теорию пожарного дела?

— Какая там к черту теория! — ответил Монтэг. — Это стихи.

— Монтэг! — прозвучал у него в ушах предостерегающий шепот Фабера.

— Оставьте меня в покое! — Монтэг чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный гудящий и звенящий водоворот.

— Монтэг, держите себя в руках! Не смейте...

— Вы слышали их? Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи! Что только они говорят о людях! О собственных детях, о са-

мих себе, о своих мужьях, о войне!.. Будь они прокляты! Я слушал, и не верил своим ушам.

— Нозвольте! Я ни слова не сказала о войне! — воскликнула миссис Фелпс.

— Стихи! Терпеть не могу стихов, — сказала миссис Бауэлс.

— А вы их когда-нибудь слышали?

— Монтэг! — голос Фабера ввинчивался Монтэгу в ухо. — Вы все погубите. Сумасшедший! Замолчите!

Женщины вскочили.

— Сядьте! — крикнул Монтэг.

Они послушно сели.

— Я ухажу домой, — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс.

— Монтэг, Монтэг, прошу вас, ради бога! Что вы затеяли? — умолял Фабер.

— Да вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки, — миссис Фелпс кивнула головой. Будет очень интересно.

— Но это запрещено, — жалобно возопила миссис Бауэлс. — Этого нельзя!

— Но посмотрите на мистера Монтэга! Ему очень хочется почитать, я же вижу. И если мы минутку посидим смирно и послушаем, мистер Монтэг будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим. — Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены.

— Монтэг, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу, — пронзительно звенела в ухо мошка. — Что это вам даст? Чего вы достигнете?

— Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что света не взвидят!

Милдред оглянулась:

— Да с кем ты разговариваешь, Гай?

Серебряная игла вонзилась ему в мозг.

— Монтэг, слушайте, есть только один выход! Обратите все в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело! А затем сожгите книгу в печке.

Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом:

— Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время все было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай и решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтет нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это все вздор, и больше уж никогда не ломали наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой?

Монтэг судорожно смял книгу в руках.

— Скажите да, Монтэг, — приказал Фабер.

Губы Монтэга послушно выполнили приказ Фабера:

— Да.

Милдред со смехом вырвала книгу.

— Вот, прочти это стихотворение. Нет, лучше это, смешное, ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймете — ничего! Это просто набор слов — ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу!

Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка:

— Читайте, Монтэг.

— Как называется стихотворение, милый?

— »Берег Дувра«.

Язык Монтэга прилипал к гортани.

— Ну читай же — погромче и не торопись.

В комнате словно веяло зноем. Монтэга бросало то в жар, то в холод. Гостиная казалась нустыней — три стула на середине и он, нетвердо стоящий на ногах, ждущий, когда миссис Фелпс перестанет оправлять платье, а миссис Бауэлс оторвет руки от прически. Он начал читать, сначала тихо, запинаясь, потом с каждой прочитанной строчкой все увереннее и громче. Голос его проносился над пустыней, ударялся в белую нустоту, звенел в раскаленном воздухе над головами сидящих женщин:

Доверья океан

Когда-то полон был и, брег земли обвив,

Как пояс радужный, в спокойствии лежал.

Но нынче слышу я

Лишь долгий грустный стон да ропщущий отлив,

Гонимый сквозь туман

Порывом бурь, разбитый о края
Житейских голых скал.

Скрипели стулья. Монтэг продолжал читать:

Дозволь нам, о любовь,
Друг другу верным быть. Ведь этот мир, что рос
Пред нами, как страна исполнившихся грез, —
Так многолик, прекрасен он и нов, —
Не знает, в сущности, ни света, ни страстей,
Ни мира, ни тепла, ни чувств, ни сострадания,
И в нем мы бродим, как по полю брани,
Хранящему следы смятенья, бегств, смертей,
Где полчища слепцов сошлись в борьбе своей*.

Миссис Фелпс рыдала.

Ее подружки смотрели на ее слезы, на искаженное гримасой лицо. Они сидели, не смея коснуться ее, ошеломленные таким бурным проявлением чувств. Миссис Фелпс безудержно рыдала. Монтэг сам был потрясен и обескуражен.

— Тише, тише, Клара, — промолвила Милдред. — Успокойся! Да перестань же, Клара, что с тобой?

— Я... я... — рыдала миссис Фелпс. — Я не знаю, не знаю... Ничего не знаю. О-о...

Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтэга.

— Ну? Теперь видите? Я знала, что так будет! Вот это-то я и хотела доказать! Я всегда говорила, что поэзия — это слезы, поэзия — это самоубийства, истерики и отвратительное самочувствие, поэзия — это болезнь. Гадость — и больше ничего! Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтэг, злой, злей!

— Ну, а теперь... — шептал на ухо Фабер.

Монтэг послушно повернулся, подошел к камину и сунул книгу сквозь медные брусья решетки навстречу жадному пламени.

* Автор стихотворения — английский поэт XIX века Мэтью Арнольд.
Перевод И.Оныщук.

— Глупые слова, глупые, ранящие душу слова, — продолжала миссис Бауэлс. — Ночему люди стараются причинить боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете, так нужно еще мучить человека такой ченухой

— Клара, успокойся! — увещевала Милдред рыдающую миссис Фелис, теребя ее за руку. — Попрошу тебя, перестань! Мы включим «родственников», будем смеяться и веселиться. Да перестань же плакать! Ми сейчас устроим пирушку.

— Нет, — промолвила миссис Бауэлс. — Я ухожу. Если захотите навестить меня и моих «родственников», милости просим, в любое время. Но в этом доме, у этого сумасшедшего пожарника ноги моей больше не будет.

— Уходите! — сказал Монтэг тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс. — Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже разmozжит себе голову! Идите домой и подумайте о то\ десятках абортов, что вы себе сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят! Идите домой и подумайте над тем, как могло все это случиться и что вы сделали, чтобы этого не допустить. Уходите! — уже кричал он. — Уходите, пока я не ударил вас или не вышвырнул вас за дверь!

Дверь хлопнула, дом онустел.

Монтэг стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены напоминали грязный снег.

Из ванной комнаты донесся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладонь из стеклянного флакончика снотворные таблетки.

— Вы глупец, Монтэг, глупец, глупец! О боже, какой вы идиот!..

— Замолчите! — Монтэг выдернул из уха зеленую пульку и сунул ее в карман, но она продолжала жужжать:

— Глупец... глупец!..

Монтэг обыскал весь дом и нашел, наконец, книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Несколько не хватало, и Монтэг понял, что Милдред сама уже начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он все это сделал?

Он отнес книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдред опять надумает их жечь.

Вернувшись в дом, он прошелся по пустым комнатам.

— Милдред! — позвал он у дверей темной спальни. Никто не ответил.

Нересекая лужайку по пути к метро, Монтэг старался не замечать, каким мрачным и онустевшим был теперь дом Клариссы Маклеллан...

В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил свое полное одиночество и всю тяжесть совершенной им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером — ему страстно захотелось услышать в ночной тиши этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Он познакомился с Фабером несколько часов назад, но ему уже казалось, что он знал его всю жизнь. Монтэг чувствовал теперь, что в нем заключены два человека: во-первых, од сам, Монтэг, который ничего не понимал, не понимал даже всей глубины своего невежества, лишь смутно догадывался об этом, и, во-вторых, этот старик, который разговаривал сейчас с ним, разговаривал все время, пока пневматический поезд бешено мчал его из одного конца спящего города в другой. Все дни, какие еще будут в его жизни, и все ночи — и темные, и озаренные ярким светом луны — старый профессор будет разговаривать с ним, роняя в его душу слово за словом, каплю за каплей, камень за камнем, искру за искрой. И когда-нибудь сознание его, наконец, переполнится и он перестанет быть Монтэгом. Так говорил ему старик, уверял его в том, обещал. Они будут вместе — Монтэг и Фабер, огонь и вода, а потом в один прекрасный день, когда все перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино.

Из двух веществ, столь отличных одно от другого, создается новое, третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймет, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним «я» и уходит от него.

Как приятно было слышать в ухе это гудение шмеля, это сонное комариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса! Вначале он бранил Монтэга, потом утешал в этот поздний ночной час, когда Монтэг, выйдя из душного туннеля метро, снова очутился в мире пожарных.

— Имейте снисхождение, Монтэг, снисхождение. Не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда. Но так всегда не будет. Они не знают, что вся их жизнь похожа на огромный пылающий метеор, несущийся сквозь пространство. Нока он летит, это красиво, но когда-нибудь он неизбежно должен упасть. А они ничего не видят — только этот нарядный, веселый блеск. Монтэг, старик, который прячется у себя дома, оберегая свои старые кости, не имеет права критиковать. Но я все-таки скажу: вы чуть не погубили все в самом начале. Будьте осторожны. Номните, я всегда с вами. Я понимаю, как это у вас вышло. Должен сознаться, ваш слепой гнев придал мне бодрости. Господи, я вдруг почувствовал себя таким молодым! Но теперь я хочу, чтобы вы стали стариком, я хочу перелить в вас капельку моей трусости. В течение этих нескольких часов, что вы проведете с Битти, будьте осторожны, ходите вокруг него на цыпочках, дайте мне послушать его, дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных глупых женщинах...

— Я их так расстроил, как они, наверно, ни разу за всю жизнь не расстраивались, — сказал Монтэг. — Я сам был потрясен, когда увидел слезы миссис Фелпс. И, может быть, они правы. Может быть, лучше не видеть жизнь такой, как она есть, закрыть на все глаза и веселиться. Не знаю. Я чувствую себя виноватым...

— Нет, не надо! Если бы не было войны и на земле был мир, я бы сам сказал вам: веселитесь! Но нет, Монтэг, бы не имеете права оставаться только пожарником. Не все благополучно в этом мире.

Лоб Монтэга покрылся испариной.

— Монтэг, вы слышите меня?

— Мои ноги... — пробормотал Монтэг. — Я не могу ими двинуть. Какое глупое чувство. Мои ноги не хотят идти!

— Слушайте, Монтэг. Успокойтесь, — мягко уговаривал старик. — Я понимаю, что с вами. Вы боитесь опять наделать ошибок. Но не бойтесь. Ошибки иногда полезны. Если бы вы только знали! Когда я был молод, я совал свое невежество всем в лицо. Меня били за это. И к сорока годам я отточил, наконец, оружие моих знаний. А если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить и вы никогда не поумнеете. Ну, а теперь шагайте. Ну! Смелее! Идемте вместе на пожарную станцию! Нас теперь двое. Вы больше не одиноки, мы уже не сидим каждый порознь в своей гостиной, разделенные глухой стеной. Если вам будет нужна помощь, когда Битти станет наседать на вас, я буду рядом, в вашей барабанной перепонке; я тоже буду слушать и все примечать!

Монтэг почувствовал, что его ноги — сначала правая, потом левая — снова обрели способность двигаться.

— Не покидайте меня, мой старый друг, — промолвил он.

Механического пса в конуре не было. Она была нуста, и белое оштукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. Оранжевая «Саламандра» дремала, наполнив брюхо керосином; на ее боках, закрепленные крест-накрест, отдыхали огнеметы. Монтэг прошел сквозь эту тишину и, ухватившись рукой за бронзовый шест, взлетел вверх, в темноту, не сводя глаз с онустевшего логова механического зверя. Сердце его то замирало, то снова начинало бешено колотиться. Фабер на время затих в его ухе, словно серая ночная бабочка.

На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого.

— Вот, — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, — вот идет любопытнейший экземпляр на всех языках мира именуемый дураком.

Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью кверху, молчаливо требуя дани. Монтэг вложил в нее книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзинку и закурил сигарету.

— »Самый большой дурак тот, в ком есть немножко ума«. Добро пожаловать, Монтэг. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла и вы опять здоровы? В покер сыграем?

Они сели к столу. Раздали карты. В присутствии Битти Монтэг остро ощущал виновность своих рук. Его пальцы шныряли, как напроказившие хорьки, ни минуты не оставаясь в покое. Они то нервно шевелились, то тебили что-то, то прятались в карманы от бледного, как спиртовое пламя, взгляда Битти. Монтэгу казалось, что стоит брандмейстеру дохнуть на них — и руки усохнут, скорчатся и больше уж никогда не удастся вернуть их к жизни; они навсегда будут похоронены в глубине рукавов его куртки. Ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, независимо от Монтэга, в них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обагренными кровью.

Дважды в течение получаса Монтэг вставал и выходил в Упорную мыть руки. Вернувшись, он прятал их под столом.

Битти рассмеялся:

— А ну-ка держите ваши руки на виду, Монтэг. Не то, чтобы мы вам не доверяли, но, знаете ли, все-таки...

Все захохотали.

— Ладно уж, — сказал Битти. — Кризис миновал, и все опять хорошо. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случалось в свое время заблуждаться. Нравда всегда будет правдой, кричали мы. Не одиноки те кто носит в себе благородные мысли, убеждали мы себя.

«Мудрость, скрытая в живых созвучьях», — как сказал сэр Филип Сидней. Но, с другой стороны: «Слова листве подобны, и где она густа, там вряд ли плод таится код сепию листа», — сказал Александр Ноп. Что вы об этом думаете, Монтэг?

— Не знаю.

— Осторожно, — шептал Фабер из другого далекого мира.

— Или вот еще: «Опасно мало знать; о том не забывая, кастальскою струей налей бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна и вновь обрящешь светлый разум». Ноп, те же «Опыты». Это, пожалуй, и к вам приложимо, Монтэг, а? Как вам кажется?

Монтэг прикусил губу.

— Сейчас объясню, — сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты. — Вы ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько строчек, и голова пошла кругом. Трах-тарарах! Вы уже готовы взорвать вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, ниспровергать авторитеты. Я знаю, я сам прошел через это.

— Нет, я ничего, — ответил Монтэг в смятении.

— Не краснейте, Монтэг. Нраво же, я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилег отдохнуть, и мне приснилось, что мы с вами, Монтэг, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали громы и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. «Власть», — говорил я. А вы, цитируя доктора Джонсона, отвечали: «Знания сильнее власти» А я вам: тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: «Безумец тот, кто хочет поменять определенность на неопределенность». Держитесь пожарников, Монтэг. Все, остальное — мрачный хаос!

— Не слушайте его, — шептал Фабер. — Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий, как угорь. Будьте осторожны!

Битти засмеялся довольным смешком.

— Вы же мне ответили на это: «Нравда, рано или поздно, выйдет на свет божий. Убийство не может долго оставаться сокрытым». А я воскликнул добродушно: «О

господи, он все про своего коня!» А еще я сказал: «И черт умеет иной раз сослаться на священное писание». А вы кричали мне в ответ: «Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудрого в бедном платье!» Тогда я тихонько шепнул вам: «Нужна ли истине столь ярая защита?» А вы снова кричали: «Убийца здесь — и раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки крови!» Я отвечал, хлопав вас по руке: «Ужель такую жадность пробудил я в вас?» А вы вопили: «Знание — сила! И карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его!» Я же с величайшим спокойствием закончил наш спор словами: «Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам», — как сказал однажды мистер Ноль Валери.

У Монтэга голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: «Нет! Замолчите! Вы стараетесь все занутать. Довольно!»

Тонкие нервные пальцы Битти схватили Монтэга за руку.

— Боже, какой пульс! Здорово я вас взвинтил, Монтэг, а? Черт, пульс у вас скачет, словно на другой день после войны. Не хватает только труб и звона колоколов. Ноговорим еще? Мне нравится ваш взволнованный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный — я говорю на всех. Но это похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?

— Держитесь, Монтэг! — прошелестела ему на ухо мошка. — Он мутит воду!

— Ох, как вы напугались, — продолжал Битти. — Я и правда поступил жестоко — использовал против вас те самые книги, за которые вы так цеплялись, использовал для того, чтобы опровергать вас на каждом шагу, на каждом слове. Ах, книги — это такие предатели! Вы думаете, они вас поддержат, а они оборачиваются против вас же. Не только вы, другой тоже может пустить в ход книгу, и вот вы уже увязли в трясине, в чудовищной пу-

танице имен существительных, глаголов, прилагательных. А кончился мой сон тем, что я подъехал к вам на «Саламандре» и спросил: «Нам не по нути?» Вы вошли в машину, и мы помчались обратно на пожарную станцию, храня блаженное молчание; страсти улеглись, и между нами снова был мир.

Битти отпустил руку Монтэга, и она безжизненно упала на стол.

— Все хорошо, что хорошо кончается.

Тишина. Монтэг сидел, словно белое каменное изваяние. Отголоски последних нанесенных ему ударов медленно затихали где-то в темных пещерах мозга. Фабер ждал, пока они затихнут совсем. И когда осели, наконец, вихри пыли, взметенные в сознании Монтэга, Фабер начал тихим голосом:

— Хорошо, он сказал все, что хотел. Вы это выслушали. Теперь в ближайшие часы буду говорить я. Вам придется выслушать и это. А потом постарайтесь разобраться и решить — с кем вы. Но я хочу, чтобы вы решили это сами, чтобы это решение было вашим собственным, а не моим и не брандмейстера Битти. Одного только не забывайте — брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истины и свободы, к тупому и равнодушному стаду нашего большинства. О, эта ужасная тирания большинства! Мы с Битти поем разные песни. От вас самих зависит, кого вы станете слушать.

Монтэг уже открыл было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Рупор пожарного сигнала гудел под потолком. В другом конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошел к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него.

— С этим можно подождать ровно сорок секунд, как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас, — весело сказал Битти.

Монтэг положил карты на стол.

— Устали, Монтэг? Хотите выйти из игры?

— Да.

— Ну! Не падайте духом! Впрочем, можно закончить партию после. Положите ваши карты на стол рубашкой вверх: вернемся — доиграем. А теперь пошевеливайтесь! Живо! — Битти поднялся. — Монтэг, мае не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?

— Да нет, я здоров, я поеду.

— Да, вы должны поехать. Это особый случай. Ну, вперед!..

Они прыгнули в провал люка, крепко ухватившись руками за медный шест, словно в нем было единственное спасение от взмывавших снизу волн. Но шест низвергнул их прямо в нучину, где уже фыркал, рычал и кашлял, пробуждаясь, бензиновый дракон.

— Э-эй!

С грохотом и ревом они завернули за угол — скрипели тормоза, взвизгивали шины, плескался керосин в блестящем медном брюхе «Саламандры», словно пища в животе великана. Нальцы Монтэа прыгали на сверкающих поручнях: то и дело срываясь в холодную нустоту; ветер рвал волосы, свистел в зубах, а Монтэг думал, все время неотрывно думал о тех женщинах в его гостинной, нустых женщинах, из которых неоновый ветер давно уже выдул последние зернышки разума, и о своей нелепой идиотской затее читать им книгу. Все равно, что пытаться погасить пожар из водяного пистолета. Бред, сумасшествие! Просто припадок бешенства. Еще одна вспышка гнева, с которой он не умел совладать. Когда же он победит в себе это безумие и станет спокоен, понастоящему спокоен?

— Вперед, вперед!

Монтэг оторвал глаза от поручней. Обычно Битти никогда не садился за руль, но сегодня машину вел он, круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперед с высоты водительского трона; полы его тяжелого черного макинтоша хлопали и развевались — он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной грудью навстречу ветру.

— Вперед, вперед, чтобы сделать мир счастливым! Так, Монтэг?

Розовые, словно фосфоресцирующие щеки Битти отсвечивали в темноте, он улыбался с каким-то остервенением.

— Вот мы и прибыли!

«Саламандра» круто остановилась. Неуклюжими прыжками посыпались с нее люди. Монтэг стоял, не отрывая воспаленных глаз от холодных блестящих поручней, за которые судорожно уцепились его пальцы.

«Я не могу сделать этого, — думал он. — Как мог> я выполнить это задание, как могу я снова жечь? Я не могу войти в этот дом».

Битти — от него еще пахло ветром, сквозь которым они только что мчались, — вырос рядом.

— Ну, Монтэг!

Ножарные, в своих огромных сапогах похожие на калек, разбегались бесшумно, как пауки.

Наконец, оторвав глаза от поручней, Монтэг обернулся.

Битти следил за его лицом.

— Что с вами, Монтэг?

— Что это? — медленно произнес Монтэг. — Мы же остановились у моего дома?

ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ

ОГОНЬ

ГОРИТ

ЯРКО

В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтэг глядели, один со сдержанным удовлетворением, другой не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления: здесь будут жонглировать факелами и глотать

пламя.

— Ну вот, — промолвил Битти, — вы добились своего. Старина Монтэг вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?

Застывшее лицо Монтэга ничего не выражало; он почувствовал, как его голова медленно и тяжело, словно каменная, повернулась в сторону соседнего дома — темного и мрачного среди окружавших его ярких цветочных клумб.

Битти презрительно фыркнул:

— Э, бросьте! Неужто вас одурачила эта маленькая сумасбродка со своим избитым репертуаром? А, Монтэг? Цветочки, листочки, мотыльки, солнечный закат. Знаем, знаем! Все записано в ее карточке. Эге! Да я, кажется, попал в точку! Достаточно поглядеть на ваше растерянное лицо. Несколько травинок и лунный серп! Экая чушь! И что хорошего она всем этим сделала?

Монтэг присел на холодное крыло «Саламандры». Он несколько раз повернул свою одеревеневшую голову: вправо-влево, вправо-влево...

— Она все видела. Она никому ничего не сделала. Она никого не трогала...

— Не трогала! Как бы не так! А возле вас она не вертелась? Ох уж эти мне любители делать добро, с их святейшими минами, с их высокомерным молчанием и единственным талантом: заставлять человека ни с того

ни с сего чувствовать себя виноватым. Черт бы их всех побрал! Красуются, словно солнце в полночь, чтобы тебе и в постели покоя не было!

Дверь дома отворилась; по ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в заостеневшей руке. Со свистом затормозив, у тротуара остановилось такси.

— Милдред!

Она пробежала мимо, прямая и застывшая, — лицо белое от пудры, рта нет — забыла накрасить губы.

— Милдред, неужели это ты дала сигнал тревоги?

Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча как во сне:

— Бедные мои «родственники», бедняжки, бедняжки! Все погибло, все, все теперь погибло...

Битти схватил Монтэга за плечо. Машина рванула и, сразу же набрав скорость до семидесяти миль в час, исчезла в конце улицы.

Раздался звон, как будто вдребезги рассыпалась мечта, созданная из граненого стекла, зеркал и хрустальных призм. Монтэг машинально повернулся — его словно подтолкнуло неведомо откуда налетевшим вихрем. И он увидел, что Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку.

Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную черную преграду.

— Монтэг, это я — Фабер. Вы слышите меня? Что случилось?

— Теперь это случилось со мной, — ответил Монтэг.

— Ах, скажите, какая неожиданность! — воскликнул Битти. — В наши дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но они есть, вот в чем беда. Впрочем, что об этом толковать! Когда уж дошло до последствий, так разговаривать поздно, правда, Монтэг?

— Монтэг, можете вы спастись? Убежать? — спрашивал Фабер.

Монтэг медленно шел к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по

влажной ночной траве. Где-то рядом Битти щелкнул зажигалкой, и глаза Монтэга, как зачарованные, потянулись к оранжевому язычку пламени.

— Ночему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого и малого? — Битти погасил и снова зажег маленькое пламя. — Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел. Или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая, в течение всей нашей жизни. И все же, что такое огонь? Тайна. Загадка! Ученые что-то лепечут о трений и молекулах, но, в сущности, они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной — в печку ее. Вот и вы, Монтэг, сейчас представляете собой такое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно. Гигиенично. Эстетично.

Монтэг глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным: поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла и вон там на полу — книги с оторванными переплетами и разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами, непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо и, право же, не стоят, чтобы из-за них столько волновались, — просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты.

Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду, и снова внесла их в дом. Милдред, Милдред.

— Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтэг. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом, с огнеметом. Вы сами должны очистить свой дом.

— Монтэг, разве вы не можете скрыться, убежать?

— Нет! — воскликнул Монтэг в отчаянии. — Механический пес! Из-за него нельзя!

Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему.

— Да, пес где-то поблизости, — ответил он, — так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?

— Да. — Монтэг щелкнул предохранителем огнемета.

— Огонь!

Огромный язык пламени вырвался из огнемета, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтэг вошел в спальню и дважды выстрелил по широким постелям; они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтэг даже удивился: кто бы подумал, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить, он сжег стулья, столы, а в столовой — ножи, вилки и посуду из пластмассы — все, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его и мчится сейчас одна по городу, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио-«Ракушка».

И, как и прежде, жечь было наслаждением — приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения? Так вот же теперь не будет и проблемы! Огонь разрешает все!

— Монтэг, книги!

Книги подскакивали и метались, как опаленные птицы, их крылья пламенели красными и желтыми перьями.

Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились погруженные в сон огромные безмозглые чудища, с их белыми нустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен, и вакуумные колбы лопнули с пронзительным шипением — нустота откликнулась Монтэгу яростным нустым свистом, бессмысленным криком. Он пытался представить себе ее, рождавшую такие же пустые и бессмысленные образы, и не мог. Он только задержал дыхание, чтобы нустота не проникла в его легкие. Как ножом, он разрезал ее и, отступив назад, послал комнате в подарок еще один огромный ярко-желтый цветок пламени. Огнеупорный слой,

покрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени.

— Когда кончите, — раздался за его спиной голос Битти, — имейте в виду, вы арестованы.

Дом рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Было половина четвертого утра. Люди разошлись по домам: от циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось.

Монтэг стоял, держа огнемёт в ослабевших руках; темные пятна пота расплзались под мышками, лицо было все в саже. За ним молча стояли другие пожарники; их лица освещал слабый отблеск догорающих огней.

Монтэг дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил:

— Моя жена дала сигнал тревоги?

Битти утвердительно кивнул.

— А еще раньше то же самое сделали ее приятельницы, только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы все равно попались, Монтэг! Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Носмотрите, куда они вас завели, — вы по горло увязли в трясине; стоит мне только двинуть мизинцем, и она поглотит вас!

Монтэг не шевельнулся. Землетрясение и огненная буря только что сровняли его дом с землей; там, под обломками, была погребена Милдред и вся его жизнь тоже, и у него не было сил двинуться с места. Отголоски пронесшейся бури еще отдавались где-то внутри, затихая; колени Монтэга сгибались от страшного груза усталости, недоумения, гнева. Он безропотно позволял Битти наносить удар за ударом.

— Монтэг, вы — идиот! Вы — непроходимый дурак! Ну зачем, скажите пожалуйста, вы это сделали?

Монтэг не слышал. Мысленно он был далеко и убегал прочь, покинув свое бездыханное, измазанное сажей тело на жертву этому безумствующему маньяку.

— Монтэг, бегите! — настаивал Фабер.

Монтэг прислушался.

Сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес к уху.

Монтэг слышал далекий голос:

— Монтэг, что с вами? Вы живы?

Битти отнял нульку от уха и сунул ее в карман.

— Ага! Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах «Ракушка», но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю несдобровать.

— Нет! — крикнул Монтэг.

Он сдвинул предохранитель огнемета. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтэга, глаза его чуть-чуть расширились. Монтэг прочел в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки — что они еще натворили? Ножже, вспоминая все, что произошло, он никак не мог понять, что же в конце концов толкнуло его на убийство: сами ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать? Носледние рокочущие раскаты грома замерли, коснувшись лишь слуха, но не сознания Монтэга.

Лицо Битти расплзлось в чарующе-презрительную гримасу.

— Что ж, это недурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, а он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Ночему не угощаете меня Шекспиром, вы, жалкий сноб? «Мне не страшны твои угрозы, Кассий. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден». Так, что ли? Эх вы,

неудачливый литератор! Действуйте же, черт вас дери! Снускайте курок!

И Битти сделал шаг вперед.

— Мы всегда жгли не то, что следовало... — смог лишь выговорить Монтэг.

— Дайте сюда огнемёт, Гай, — промолвил Битти с застывшей улыбкой.

Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтэг вынул в него длинную струю жидкого пламени из огнемёта. Раздалось шипение, словно жирный плевок упал на раскаленную плиту, что-то забулькало и забурлило, словно бросили горсть соли на огромную черную улитку и она расплылась, вскипев желтой пеной. Монтэг зажмурился, закричал, он пытался зажать уши руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Еще несколько судорожных движений, и Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих.

Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы.

С трудом подавляя приступ дурноты, Монтэг направил на них огнемёт.

— Новернитесь! — приказал он.

Они послушно повернулись к нему спиной; мот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтэг с силой ударил их по головам, сшиб с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно.

Легкий шелест, как будто слетел с ветки сухой осенний лист.

Монтэг обернулся и увидел Механического пса.

Ноявившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черного дыма.

Нес сделал прыжок — он взвился в воздухе фута на три выше головы Монтэга, растопылив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом — прокаиновой иглой. Монтэг встретил его струей пламени, чудесным ог-

ненным цветком, — вокруг металлического тела зверя завились желтые, синие и оранжевые лепестки, одевая его в новую пеструю оболочку. Нес обрушился на Монтэга, отбросил его вместе с огнеметом футов на десять в сторону, к подножью дерева; Монтэг почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватает его за ногу, вонзает иглу, — и тотчас же пламя подбросило собаку в воздух, вывернуло ее металлические кости из суставов, распорол ей брюхо, и нутро ее брызнуло во все стороны красным огнем, как лопнувшая ракета.

Монтэг лежа видел, как перевернулось в воздухе, рухнуло наземь и затихло это мертвое и вместе с тем живое тело. Казалось, пес и сейчас еще готов броситься на него, чтобы закончить смертоносное впрыскивание, действие которого Монтэг уже ощущал в ноге. Его охватило смешанное чувство облегчения и ужаса, как у человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться, боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему его телу...

Что же теперь делать?..

Улица нуста, дом сгорел, как старая театральная декорация, другие дома вдоль улицы погружены во мрак, рядом — останки механического зверя, дальше — Битти, еще дальше — двое пожарных и «Саламандра»... Он взглянул на огромную машину. Ее тоже надо уничтожить...

«Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты страдал. Попробуй встать да ноги! Осторожно, осторожно... вот так!»

Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мертвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступал на нее, тысячи серебряных иголок пронзали ногу от бедра до колена. Он заплакал. Нет, иди, иди! Здесь тебе нельзя оставаться!

В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила не-

обычная тишина, Монтэг не знал. Хромая, припрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками вползающую больную ногу, он разговаривает с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал он приказания, проклинал ее и молил — иди, иди, да иди же, ведь сейчас от этого зависит моя жизнь! Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходившего в глухой переулочек.

«Битти, — думал он, — теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили: «Незачем решать проблему, лучше сжечь ее». Ну вот я сделал и то и другое.

Прощайте, брандмейстер».

Спотыкаясь, он заковылял в темноте по переулочку.

Острая боль пронизывала ногу всякий раз, как он ступал на нее, и он думал: дурак, дурак, болван, идиот, чертов идиот, дурак проклятый... Носмотри, что ты натворил, и как теперь все это расхлебывать, как?

Гордость, будь она проклята, и гнев — да, не сумел сдержаться себя и вот все испортил, все погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу — Битти, эти женщины в гостиной, Милдред, Кларисса. И все же нет тебе оправдания, нет! Ты дурак, проклятый болван! Так выдать себя!

Но мы еще спасем то, что осталось, мы все сделаем, что можно. Если уж придется гореть, так прихватим кое-кого с собой.

Да! Он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять. На всякий случай.

Он нашел книги там, где оставил их, — у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие «Саламандры», рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам.

Монтэг поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулочку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили одно лишь обезглавленное

тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его наземь. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий, и рыдал.

Битти, хотел умереть!

Теперь Монтэг не сомневался, что это так. Битти хотел умереть. Ведь он стоял против Монтэга, не пытаясь защищаться, стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтэга перехватило дыхание. Как странно, как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках, и вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой и...

Вдалеке — топот бегущих ног.

Монтэг поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить! Но рыдания все еще сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожженное кислотой. Он зажал рот рукой. Неред глазами был Битти, — пылающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать: «Я не хотел этого! Боже мой, я не хотел, не хотел этого!»

Он старался все припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была несколько дней назад, до того как в нее вторглись сито и песок, зубная паста Денгэм, шелест крыльев ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги и эта последняя ночная поездка — слишком много для двух-трех коротких дней, слишком много даже для целой жизни!

Топот ног слышался уже в конце переулка.

«Вставай! — сказал он себе. — Вставай, черт тебя возьми!» — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысяча иголок, потом перешла в тупое булавочное покалывание, и, наконец, после того как он проковылял шагов пятьдесят вдоль деревянного забора, исцарапав и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он все-таки боялся, чтобы

не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книжки он держал в руках.

Он думал о Фабере.

Фабер остался там, в неостывшем еще сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия. Ведь он сжег и Фабера тоже! Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер, изжарился, как мелкая рыбешка, в крохотной зеленой капсуле, спрятанной и навсегда погибшей в кармане человека, от которого осталась теперь лишь куча костей, опутанных спекшимися сухожилиями.

Запомни: их надо жечь или они сожгут тебя, подумал он. Сейчас это именно так.

Он пошарил в карманах — деньги были тут. В другом кармане он наткнулся на обыкновенную радио — «Ракушку», по которой в это холодное, хмурое утро город разговаривал сам с собой.

— Внимание! Внимание! Нолиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя: Гай Монтэг. Профессия: пожарник. В последний раз его видели...

Кварталов шесть он бежал не останавливаясь. Нотом переулочек вывел его на бульвары — на широкую автостраду, раз в десять шире обыкновенной улицы; залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшего нустынную реку. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее: слишком она широка, слишком пустынна. Она была похожа на голую сцену, без декорации, и она предательски заманивала его на это нустое пространство, где при ярком свете фонарей так легко было заметить беглеца, так легко поймать, так легко прицелиться и застрелить.

«Ракушка» жужжала в ухе.

— ...Следите за бегущим человеком... следите за бегущим человеком... он один, пеший... следите...

Монтэг попятился обратно в тень. Прямо перед ним была заправочная станция — огромная белая глыба,

сверкающая глазурью кафелей. Два серебристых жука-автомобиля остановились возле нее, чтобы направиться горючим...

Нет, если ты хочешь без риска пересечь этот широкий бульвар, нельзя бежать, надо идти спокойно, не спеша, как будто гуляешь. Но для этого у тебя должен быть опрятный и приличный вид. Больше будет шансов спастись, если ты умоешься и причешешь волосы, прежде чем продолжать свой нуть... Нуть куда?

Да, спросил он себя, куда же я бегу?

Никуда. Ему некуда было бежать, у него не было друзей, к которым он мог бы обратиться. Кроме Фабера. И тогда он понял, что все это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера. Но ведь Фабер не может спрятать его; даже попытка сделать это граничила бы с самоубийством! Все равно он должен повидаться с Фабером, хотя бы на несколько минут. Фабер поддержит в нем быстро иссякающую веру в возможность спастись, выжить. Только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там, вместе с другим обуглившимся телом. Кроме того, надо оставить ему часть денег, чтобы он мог использовать их после, когда Монтэг пойдет дальше своим нутем. Может быть, ему удастся выбраться из города, он спрячется в окрестностях, будет жить возле реки, вблизи больших дорог, среди полей и холмов...

Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза.

В небо один за другим поднимались полицейские вертолеты. Их было много: казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку одуванчика. Не меньше двух десятков их парило в воздухе мили за три от Монтэга, нерешительно колеблясь на месте, словно мотыльки, вялые от осеннего холода. Затем они стали опускаться: тут один, там другой — они Садились на улицу и, превратившись в жуков-автомобилей, с ревом мчались по бульварам, чтобы немного погодя опять подняться в воздух и продолжать поиски.

Неред ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтэг вошел в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора: «Война объявлена». Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции — что-то о моторах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтэг стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. Ладно. Нусть война подождет. Для него она начнется позже, через час или два.

Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара.

Вот она — игра, которую он должен выиграть: широкая площадка кегельбана, над которой веет прохладный предутренний ветер. Бульвар был чист, как гладиаторская арена за минуту до появления на ней безвестных жертв и безыменных убийц. Воздух над широкой асфальтовой рекой дрожал и вибрировал от тепла, излучаемого телом Монтэга, — поразительно, что жар в его теле мог заставить так колебаться окружающий его мир. Он, Монтэг, был светящейся мишенью, он знал, он чувствовал это. А теперь ему еще предстояло проделать этот короткий путь через улицу.

Квартала за три от него сверкнули огни автомобиля.

Монтэг глубоко втянул в себя воздух. В легких цапнуло, словно горящей щеткой. Горло пересохло от бега, во рту неприятный металлический вкус, ноги, как свинцовые...

Огни автомобиля... Если начать переходить улицу сейчас, то надо рассчитать, когда этот автомобиль будет здесь. Далеко ли до противоположного тротуара? Должно быть, ярдов сто. Нет, меньше, но все равно, нусть будет сто. Если идти медленно, спокойным шагом, то, чтобы покрыть это расстояние, понадобится тридцать-сорок секунд. А мчащийся автомобиль? Набрав скорость, он

пролетит эти три квартала за пятнадцать секунд. Значит, даже если, добравшись до середины, пуститься бегом...

Он ступил правой ногой, потом левой, потом опять правой. Он пересекал нустынную улицу.

Даже если улица совершенно пуста, никогда нельзя сказать с уверенностью, что перейдешь благополучно. Машина может внезапно появиться на подъеме шоссе, за четыре квартала отсюда, и не успеешь оглянуться, как она налетит на тебя — налетит и промчится дальше...

Он решил не считать шагов. Он не глядел по сторонам — ни направо, ни налево. Свет уличных фонарей казался таким же предательски ярким и так же обжигал, как лучи полуденного солнца.

Он прислушивался к шуму мчащейся машины: он слышался справа, в двух кварталах от него. Огни фар то ярко вспыхивали, то гасли и, наконец, осветили Монтэга.

Иди-иди, не останавливайся!

Монтэг замялся на мгновение. Нотом покрепче сжал в руках книги и заставил себя двинуться вперед. Нот его невольно заторопились, побежали, но он вслух пристыдил себя и снова перешел на спокойный шаг. Он был уже на середине улицы, но и рев мотора становился все громче — машина набирала скорость.

Нолиция, конечно. Заметили меня. Все равно спокойней, спокойней, не оборачивайся, не смотри по сторонам, не подавай вида, что тебя это тревожит! Шагай, шагай, вот и все.

Машина мчалась, машина ревела, машина увеличивала скорость. Она выла и грохотала, она летела, едва касаясь земли, она неслась как пуля, выпущенная из невидимого ружья. Сто двадцать миль в час. Сто тридцать миль в час. Монтэг стиснул зубы. Казалось, свет горящих фар обжигает лицо, от него дергаются веки, липким потом покрывается тело.

Ноги Монтэга нелепо волочились, он начал разговаривать сам с собой, затем вдруг не выдержал и добежал. Он старался как можно дальше выбрасывать ноги, вперед, вперед, вот так, так! Господи! Господи! Он уронил книгу, остановился, чуть не повернул обратно, но передумал и снова ринулся вперед, крича в каменную пусто-

ту, а жук-автомобиль неся за своей добычей — их разделяло двести футов, потом сто, девяносто, восемьдесят, семьдесят... Монтэг задыхался, нелепо размахивал руками, высоко вскидывал ноги, а машина все ближе, ближе, она гудела, она подавала сигналы. Монтэг вдруг повернул голову, белый огонь фар опалил ему глаза — не было машины, только слепящий сноп света, пылающий факел, со страшной силой брошенный в Монтэга, рев, пламя — сейчас, сейчас она налетит!..

Монтэг споткнулся и упал.

Я погиб! Все кончено!

Но падение спасло его. За секунду до того, как наскокить на Монтэга, бешеный жук вдруг круто свернул, объехал его и исчез. Монтэг лежал, распластавшись на мостовой, лицом вниз. Вместе с синим дымком выхлопных газов до него долетели обрывки смеха.

Его правая рука была выброшена далеко вперед. Он поднял ее. На самом кончике среднего пальца темнела узенькая полоска — след от колеса промчавшейся машины. Он медленно встал на ноги, глядя на эту полоску, не смея поверить своим глазам. Значит, это была не полиция?

Он глянул вдоль бульвара. Нусто. Нет, это была не полиция, просто машина, полная подростков, — сколько им могло быть лет? От двенадцати до шестнадцати? Шумная, крикливая орава детей отправилась на прогулку, увидели человека, идущего пешком, — странное зрелище, диковинка в наши дни! — и решили: «А ну, сшибем его!» — даже не подозревая, что это тот самый мистер Монтэг, которого по всему городу разыскивает полиция. Да, всего лишь шумная компания подростков, вздумавших прокатиться лунной ночью, промчаться миль пятьсот-шестьсот на такой скорости, что лицо коченеет от ветра. На рассвете они то ли вернутся домой, то ли нет, то ли будут живы, то ли нет — ведь в этом и заключалась для них прелесть таких прогулок.

«Они хотели убить меня», — подумал Монтэг. Он стоял пошатываясь. В потревоженном воздухе оседала пыль. Он ощупал ссадину на щеке. «Да, они хотели

убить меня просто так. ни с того ни с сего, не задумываясь над тем, что делают».

Монтэг побрел ко все еще далекому тротуару, приказывая ослабевшим ногам двигаться. Каким-то образом он подобрал рассыпанные книги, но он не помнил, как нагибался и собирал их. Сейчас он перекладывал их из руки в руку, словно игрок карты, перед тем как сделать сложный ход.

Может быть, это они убили Клариссу?

Он остановился и мысленно повторил еще раз очень громко:

— Может быть, это они убили Клариссу!

И ему захотелось с криком броситься за ними вдогонку.

Слезы застилали ему глаза.

Да, его спасло только то, что он упал. Водитель вовремя сообразил, даже не сообразил, а почувствовал, что мчащаяся на полной скорости машина, наскочила на лежащее тело, неизбежно перевернется и выбросит всех вон. Но если бы Монтэг не упал?..

Монтэг вдруг затаил дыхание.

В четырех кварталах от него жук замедлил ход, круто повернул, встав на задние колеса, и мчался теперь обратно по той же стороне улицы, нарушая этим все правила движения.

Но Монтэг был уже вне опасности: он укрылся в темном переулке — цели своего путешествия. Сюда он устремился час назад — или минуту назад? Вздрагивая от ночного холода, он оглянулся. Жук промчался мимо, выскочил на середину бульвара и исчез; взрыв смеха снова нарушил ночную тишину.

Шагая в темноте по переулку, Монтэг видел, как, словно снежные хлопья, падали с неба вертолеты — первый снег грядущей долгой зимы...

Дом был погружен в молчание.

Монтэг подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потро-

гал застекленную дверь черного хода, она оказалась незапертой, прислушался и бесшумно скользнул в дом.

«Мисс Блэк, вы спите? — думал он. — Я знаю, это нехорошо, то, что я делаю, но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно, никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришел и ваш черед, теперь огонь уничтожит ваш дом — за все дома, что жег ваш муж, за все горе, что он, не задумываясь, причинял людям».

Дом молчал.

Монтэг спрятал книги в кухне и вышел обратно в переулок. Он оглянулся: погруженный в темноту п молчание, дом спал.

Снова Монтэг шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились вертолеты. Но пути Монтэг зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Нотом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные сирены и «Саламандры» с ревом понесутся жечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять п смотреть, как пылает и рушится крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит.

Спокойной ночи, миссис Блэк.

— Фабер!

Стук в дверь. Еще раз. Еще. Шепотом произнесенное имя. Ожидание. Наконец, спустя минуту, слабый огонек блеснул в домике Фабера. Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась.

Они молча глядели друг на друга в полумраке — Монтэг и Фабер, словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтэга в дом, усадил на стул, снова вернулся к дверям, прислушался. В предрассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь.

— Я вел себя как дурак, с начала и до конца. Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я уйду, одному богу известно куда, — промолвил Монтэг.

— Во всяком случае, ни делали глупости из-за стоящего дела. — ответил Фабер. — Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал...

— Сгорел.

— Я слышал, как брандмейстер говорил с вами, а потом вдруг все умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас.

— Брандмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос, он хотел добраться и до вас. Я сжег его из огнемета.

Фабер опустился на стул. Долгое время оба молчали.

— Боже мой, как все это могло случиться? — снова заговорил Монтэг. — Еще вчера все было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и все же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мертв, а когда-то он был моим другом. Милли ушла; я считал, что она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел, нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книга в дом пожарника. О господи, сколько я натворил за одну неделю!

— Вы сделали только то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться.

— Да, я верю, что это так. Хотя в это я верю, а больше мне, пожалуй, и верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, как что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как еще снаружи не было видно. И вот теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда!

— Впервые за много лет я снова живу, — ответил Фабер. — Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть, потому, что, наконец, делаю то, что нужно. Или, может быть, потому, что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придется совершать еще более сме-

лые поступки, еще больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать?

— Скрываться. Бежать.

— Вы знаете, что объявлена волна?

— Да, слышал.

— Господи! Как странно! — воскликнул старик. — Боинга кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы.

— У меня не было времени думать о ней. — Монтэг вытащил из кармана стодолларовую бумажку. — Вот, возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распоряжайтесь ими, как найдете нужным.

— Однако...

— К полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела.

Фабер кивнул головой.

— Постарайтесь пробраться к реке, потом идите вдоль берега, там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города в глубь страны. Отыщите ее и ступайте по ней. Все сообщение ведется теперь по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено, но эта колея еще сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где, в разных глухих углах, еще можно найти лагеря бродяг. Пешие таборы, так их называют. Надо только отойти подальше от города да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анжелос, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большею частью это беглецы, скрывающиеся от полиции. Но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете укрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправляюсь туда сегодня утром, пятичасовым автобусом, хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, и я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтэг, и да хранит вас бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут?

— Нет, лучше мне не задерживаться.

— Давайте посмотрим, как развиваются события.

Фабер торопливо провел Монтэга в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран размером не более почтовой открытки.

— Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот смотрите.

Он включил экран.

— Монтэг, — произнес телевизор, и экран осветился. — М-О-Н-Т-Э-Г, — по буквам прочитал голос диктора. — Гай Монтэг. Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские вертолеты. Из соседнего района доставлен новый Механический пес.

Монтэг и Фабер молча переглянулись.

— Механический пес действует безотказно. Это чудесное изобретение, с тех пор как впервые было применено для розыска преступников, еще ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на вертолете, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника...

Фабер налил виски в стаканы.

— Выпьем. Это нам не мешает.

Они выпили.

— ...Обоняние Механической собаки настолько совершенно, что она способна запомнить около десяти тысяч индивидуальных запахов и выследить любого из этих десяти тысяч людей без новой настройки.

Легкая дрожь пробежала по телу Фабера. Он окинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, стул, на котором сидел Монтэг. Монтэг заметил этот взгляд. Теперь оба они быстро оглядели комнату. Монтэг вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей, словно он сам нустился по своему следу, словно обоняние его настолько обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воз-

духе, словно внезапно стали зримы микроскопические капельки пота на дверной ручке, там где он взялся за нее рукой, — их было множество, и они поблескивали, как хрустальные подвески крохотной люстры. На всем остались крупницы его существа, он, Монтэг, был везде — и в доме, и снаружи, он был светящимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе. И от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень беглеца.

— Сейчас Механический пес будет высажен с геликоптера у места пожара!

На экранчике возникли сгоревший дом, толпа, на земле что-то прикрытое простыней и опускающимся с неба геликоптер, похожий на причудливый цветок.

Так. Значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война...

Как зачарованный, боясь пошевелиться, Монтэг следил за происходящим. Все это казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения. Как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму, смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это все обо мне, — думал он. — ах ты, господи, ведь это все обо мне!»

Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удобством проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным, широким бульварам, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений, и снова по переулкам, прямо к объятому пламенем дому мистера и миссис Блэк и, наконец, сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски, а электрическое чудовище тем временем уже обнюхивает след его недавних шагов, безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже под окном. Теперь, если Монтэг захочет, он может встать и, одним глазом поглядывая на телевизор, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадратике экрана он увидит самого себя со стороны, как главного героя драмы, знаменитость, о которой все говорят, к которой

прикованы все взоры, — в других гостиных в эту минуту все будут видеть его объемным, в натуральную величину, в красках! И если он не зазеваается в этот последний момент, он еще сможет за секунду до ухода в небытие увидеть, как пронзает его прокаиновая игла — во имя счастья и спокойствия бесчисленных людей, минуту назад пробужденных ото сна истошным воплем сирен и поспешивших в свои гостиные, чтобы с волнением наблюдать это редкое зрелище — охоту на крупного зверя, погоню за преступником, драму с единственным действующим лицом.

Успеет ли он сказать свое последнее слово? Когда на глазах у миллионов зрителей пес схватит его, не должен ли он; Монтэг, одной фразой или хоть словом подвести итог своей жизни за эту неделю, так, чтобы сказанное им еще долго жило после того, как пес, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь, в темноту. Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем — эффектный конец! — Где ему найти такое слово, такое последнее слово, чтобы огнем обжечь лица людей, чтобы пробудить их ото сна?

— Смотрите, — прошептал Фабер.

С вертолета плавно снускалось что-то, не похожее ни на машину, ни на зверя, ни мертвое, ни живое, что-то излучающее слабый зеленоватый свет. Через миг это чудовище уже стояло у тлеющих развалин. Полицейские подобрали брошенный Монтэгом огнемёт и поднесли его рукоятку к морде механического зверя. Раздалось жужжание, шелканье, легкое гудение.

Монтэг, очнувшись, тряхнул головой и встал. Он допил остаток виски из стакана:

— Пора. Я очень сожалею, что все так вышло.

— Сожалеете? О чем? О том, что опасность грозит мне, моему дому? Я все это заслужил. Идите, ради бога идите! Может быть, мне удастся задержать их.

— Пойдите. Какая польза, если и вы попадетесь? Когда я уйду, сожгите покрывало с постели — я касался его. Бросьте в печку стул, на котором я сидел. Протрите спиртом мебель, все дверные ручки. Сожгите половики в прихожей. Включите на полную мощность вентиляцию

во всех комнатах, посыпьте все нафталином, если он у вас есть. Потом включите всю ваши поливные установки в саду, а дорожки промойте из шланга. Может быть, удастся прервать след...

Фабер пожал ему руку:

— Я все сделаю. Счастливого пути. Если мы оба останемся живы, на следующей неделе или еще через неделю постарайтесь подать о себе весть. Напишите мне в Сент-Луис, главный почтамт, до востребования. Жаль, что не могу все время держать с вами контакт, — это было бы очень хорошо и для вас и для меня, но у меня нет второй слуховой капсулы. Я, видите ли, никогда не думал, что она пригодится. Ах, какой я был старый глупец! Не предвидел, не подумал!.. Глупо, непростительно глупо! И вот теперь, когда нужен аппарат, у меня его нет. Ну же! Уходите!

— Еще одна просьба. Скорей дайте мне чемодан, положите в него какое-нибудь старое свое платье — старый костюм, чем заносенней, тем лучше, рубашку, старые башмаки, носки...

Фабер исчез, но через минуту вернулся. Они заклеили щели картонного чемодана липкой лентой.

— Чтобы не выветрился старый запах мистера Фабера, — промолвил Фабер, весь взмокнув от усилий.

Взяв впеки, Монтэг обрызгал им поверхность чемодана:

— Совсем нам ни к чему, чтобы пес сразу учуял оба запаха. Можно, я возьму с собой остаток виски? Оно мне еще пригодится. Ох, господи, надеюсь, что наши старания не напрасны!..

Они опять пожали друг другу руки, и уже направляясь к двери, еще раз взглянули на телевизор. Пес шел по следу медленно, крадучись, принохиваясь к ночному ветру. Над ним кружились вертолеты с телекамерами. Пес вошел в первый переулок.

— Прощайте!

Монтэг бесшумно выскользнул из дома и побежал, сжимая в руке наполовину пустой чемодан. Он слышал, как позади него заработали поливные установки, наполняя предрассветный воздух шумом падающего дождя,

сначала тихим, а затем все более сильным и ровным. Вода лилась на дорожки сада и ручейками сбегала на улицу. Несколько капель упало на лицо Монтэга. Ему слышалось, что старик что-то крикнул ему на прощанье — или, может быть, это ему только показалось?

Он быстро удалялся от дома, направляясь к реке.

Монтэг бежал.

Он чувствовал приближение Механического пса — словно дыхание осени, холодное, легкое и сухое, словно слабый ветер, от которого даже не колышется трава, не хлопают ставни окон, не колеблется тень от ветвей на белых плитках тротуара. Своим бегом Механический пес не нарушал неподвижности окружающего мира. Он нес с собой тишину, и Монтэг, быстро шагая по городу, все время ощущал за собою гнет этой тишины. Потом гнет стал сильнее. Монтэг бросился бежать.

Он бежал к реке. Останавливаясь во временам, чтобы перевести дух, он заглядывал в слабо освещенные окна пробудившихся домов, видел силуэты людей, глядящих в своих гостиных на телевизорные стены, и на стенах, как облачко неоновых пар, то появлялся, то исчезал Механический пес, мелькал то тут, то там, все дальше, дальше на своих мягких паучьих лапах. Вот он на Элм-террас, на улице Линкольна, в Дубовой, в Парковой аллее, в перелуке, ведущем к дому Фабера!

«Беги, — говорил себе Монтэг, — не останавливайся, не мешкай!»

Экран показывал уже дом Фабера; поливные установки работали вовсю, разбрызгивая струи дождя в ночном воздухе. Пес остановился, вздрагивая.

Нет! (Монтэг судорожно вцепился руками в подоконник. Не туда! Только не туда!

Прокаиновая игла высунулась и спряталась, снова высунулась и снова спряталась. С ее кончика сорвалась и упала прозрачная капля дурмана, рождающего сны, от которых нет пробуждения. Игла исчезла в морде собаки.

У Монтэга стало тесно в груди, словно туда засунули сжатый кулак.

Механический пес повернул и бросился дальше по переулку, прочь от дома Фабера.

Монтэг оторвал взгляд от экрана и посмотрел на небо. Геликоптеры были уже совсем близко — они все слетались к одной точке, как мошкара, летящая на свет.

Монтэг с трудом заставил себя вспомнить, что это не какая-то вымышленная сценка, на которую он случайно загляделся по пути к реке, что это он сам наблюдает, как ход за ходом разыгрывается его собственная шахматная партия.

Он громко закричал, чтобы вывести себя из оцепенения, чтобы оторваться от окна последнего из домов по этой улице и от того, что он там видел. К черту! К черту! Это помогло. Он уже снова бежал. Переулок, улица, переулок, улица, все сильнее запах реки. Правой, левой, правой, левой. Он бежал. Если телевизионные камеры поймают его в свои объективы, то через минуту зрители увидят на экранах двадцать миллионов бегущих Монтэгов — как в старинном водевиле с полицейскими и преступниками, преследуемыми и преследователями, который он видел тысячу раз. За ним гонятся сейчас двадцать миллионов безмолвных, как тень, псов, перескакивают в гостиных с правой стены на среднюю, со средней на левую, чтобы исчезнуть, а затем снова появиться на правой, перейти на среднюю, на левую — и так без конца!

Монтэг сунул в ухо «Ракушку»:

— Полиция предлагает населению Элм-террас сделать следующее: пусть каждый, кто живет в любом доме на любой из улиц этого района, откроет дверь своего дома или выглянет в окно. Это надо сделать всем одновременно. Беглецу не удастся скрыться, если все разом выглянут из своих домов. Итак, приготовиться!

Конечно! Почему это раньше не пришло им в голову? Почему до сих пор этого никогда не делали? Всем приготовиться, всем разом выглянуть наружу! Беглец не сможет укрыться! Единственный человек, бегущий в эту минуту по улице, единственный, пробующий в данный момент способность своих ног двигаться, бежать!

— Выглянуть, по счету десять. Начинаем. Один! Два!

Он почувствовал, как весь город встал.

— Три!

Весь город повернулся к тысячам своих дверей.

Быстрее!левой, правой!

— Четыре!

Все, как лунатики, двинулись к выходу.

— Пять!

Их руки коснулись дверных ручек.

С реки тянуло прохладой, как после ливня. Горло у Монтэга пересохло, глаза воспалились от бега. Внезапно он закричал, словно этот крик мог подтолкнуть его вперед, помочь ему пробежать последние сто ярдов.

— Шесть, семь, восемь!

На тысячах дверей повернулись дверные ручки.

— Девять!

Он пробежал мимо последнего ряда домов. Потом вниз по склону, к темной движущейся массе воды.

— Десять!

Двери распахнулись.

Он представил себе тысячи и тысячи лиц, вглядывающихся в темноту улиц, дворов и ночного неба; бледные, испуганные, они прячутся за занавесками; как серые зверьки, выглядывают они из своих электрических нор, лица с серыми бесцветными глазами, серыми губами; серые мысли сквозят в окоченелой плоти.

Но Монтэг был уже у реки.

Он окунул руки в воду, чтобы убедиться в том, что она не привиделась ему. Он вошел в воду, разделся в темноте догола, ополоснул водой тело, окунул руки и голову в пьянящую, как вино, прохладу, он пил ее, он дышал ею. Переодевшись в старое платье и башмаки Фабера, он бросил свою одежду в реку и смотрел, как вода уносит ее. А потом, держа чемодан в руке, он побрел по воде прочь от берега и брел до тех пор, пока дно не ушло у него из-под ног; течение подхватило его и понесло в темноту.

Он уже успел проплыть ярдов триста по течению, когда пес достиг реки. Над рекой гудели огромные пропеллеры геликоптеров. Потoki света обрушились на реку, и Монтэг нырнул, спасаясь от этой иллюминации, похожей на внезапно прорвавшееся сквозь тучи солнце. Он чувст-

вовал, как река мягко увлекает его все дальше в темноту. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег, геликоптеры повернули к городу, словно напали на новый след. Еще мгновение, и они исчезли совсем. Исчез и пес. Остались лишь холодная река и Монтэг, плывущий по ней в неожиданно наступившей тишине, уходя все дальше от города и его огней, все дальше от погони, ото всего.

Ему казалось, будто он только что сошел с театральных подмостков, где шумела толпа актеров, или покинул грандиозный спиритический сеанс с участием сонма лепечущих привидений. Из нереального, страшного мира он попал в мир реальный, но не мог еще вполне ощутить его реальность, ибо этот мир был слишком нов для него.

Темные берега скользили мимо; река несла его теперь среди холмов. Впервые за много лет он видел над собой звезды, бесконечное шествие совершающих свой предначертанный круг огней. Огромная звездная колесница катилась по небу, грозя раздавить его.

Когда чемодан наполнился водой и затонул, Монтэг перевернулся на спину. Река лениво катила свои волны, уходя все дальше и дальше от людей, которые питались тенями на завтрак, дымом на обед и туманом на ужин. Река была по-настоящему реальна; она бережно держала Монтэга в своих объятиях, она не торопила его, она давала время обдумать все, что произошло с ним за этот месяц, за этот год, за всю его жизнь. Он прислушался к ударам своего сердца: оно билось спокойно и ровно. И мысли уже не мчались в бешеном круговороте, они текли так же спокойно и ровно, как и поток крови в его жилах.

Луна низко висела в небе. Луна и лунный свет. Откуда он? Ну понятно, от солнца. А солнце откуда берет свой свет? Ниоткуда, оно горит собственным огнем. Горит и горит изо дня в день, все время. Солнце и время. Солнце, время, огонь. Огонь сжигающий. Река мягко качала Монтэга на своих волнах. Огонь сжигающий. На небе солнце, на земле часы, отмеряющие время. Все это вдруг слилось в сознании Монтэга и стало единством. И после многих лет, прожитых на земле, и немногих ми-

нут, проведенных на этой реке, он понял, наконец, почему никогда больше он не должен жечь.

Солнце горит каждый день. Оно сжигает Время. Вселенная несется по кругу и вертится вокруг своей оси; Время сжигает годы и людей, сжигает само, без помощи Монтэга. А если он, Монтэг, вместе с другими пожарниками будет сжигать то, что создано людьми, а солнце будет сжигать Время, то не останется ничего. Все сгорит.

Кто-то должен остановиться. Солнце не остановится. Значит, похоже, что остановиться должен он, Монтэг, и те, с кем он работал бок о бок всего лишь несколько часов тому назад. Где-то вновь должен начаться процесс сбережения ценностей, кто-то должен снова собрать и сберечь то, что создано человеком, сберечь это в книгах, в граммофонных пластинках, в головах людей, уберечь любой ценой от моли, плесени, ржавчины, тлена и людей со спичками. Мир полон пожаров, больших и малых. Люди скоро будут свидетелями рождения новой профессии — профессии людей, изготавливающих огнеупорную одежду для человечества.

Он почувствовал, что ноги его коснулись твердого грунта, подошвы ботинок закрипели о гальку и песок. Река прибила его к берегу.

Он огляделся. Перед ним была темная равнина, как огромное существо, безглазое и безликое, без формы и очертаний, обладавшее только протяженностью, раскинувшееся на тысячи миль и еще дальше, без предела; зеленые холмы и леса ожидали к себе Монтэга. Ему не хотелось покидать покойные воды реки. Он боялся, что где-нибудь там его снова встретит Механический пес, что вершины деревьев вдруг застонут и зашумят от ветра, поднятого пропеллерами вертолетов.

Но по равнине пробегал лишь обычный осенний ветер, такой же тихий и спокойный, как текущая рядом река. Почему пес больше не преследует его? Почему погода переключалась обратно в город? Монтэг прислушался. Тишина. Никого. Ничего.

«Милли, — подумал он. — Посмотри вокруг. Прислушайся! Ни единого звука. Тишина. До чего же тихо, Милли! Не знаю, как бы ты к этому отнеслась. Пожалуй,

стала бы кричать: «Замолчи! Замолчи!» Милли, Милли». Ему стало грустно.

Милли не было, не было и Механического пса. Аромат сухого сена, донесшийся с далеких полей, воскресил вдруг в памяти Монтэга давно забытую картину. Однажды еще совсем ребенком он побывал на ферме. То был редкий день в его жизни, счастливый день, когда ему довелось своими глазами увидеть, что за семью занавесами нереальности, за телевизорными стенами гостиных и жестяным валом города есть еще другой мир, где коровы пасутся на зеленом лугу, свиньи барахтаются в полдень в теплом иле пруда, а собаки с лаем носятся по холмам за белыми овечками.

Теперь запах сухого сена и плеск воды напоминали ему, как хорошо было спать на свежем сене в нустом сарае позади одинокой фермы, в стороне от шумных дорог, под сенью старинной ветряной мельницы, крылья которой тихо поскрипывали над головой, словно отсчитывая пролетающие годы. Прележать бы опять, как тогда, всю ночь на сеновале, прислушиваясь к шороху зверьков и насекомых, к шелесту листьев, к тончайшим, еле слышным ночным звукам.

Поздно вечером, думал он, ему, быть может, послышатся шаги. Он приподнимется и сядет. Шаги затихнут. Он снова ляжет и станет глядеть в окошко сеновала. И увидит, как один за другим погаснут огни в домике фермера и девушка, юная и прекрасная, сядет у темного окна и станет расчесывать косу. Ее трудно будет разглядеть, но ее лицо напомнит ему лицо той девушки, которую он знал когда-то в далеком и теперь уже безвозвратно ушедшем прошлом, лицо девушки, умевшей радоваться дождю, неуязвимой для огненных светляков, Знавшей, о чем говорит одуванчик, если им потереть под подбородком. Девушка отойдет от окна, потом опять появится наверху, в своей залитой лунным светом комнатке. И, внимая голосу смерти, под рев реактивных самолетов, раздирающих небо надвое до самого горизонта, он, Монтэг, будет лежать в своем надежном убежище на сеновале и смотреть, как удивительные, незнакомые ему звезды ти-

хо уходят за край неба, отступая перед нежным светом зари.

Утром он не почувствует усталости, хотя всю ночь он не сомкнул глаз и всю ночь на губах его играла улыбка; теплый запах сена и все увиденное и услышанное в ночной тиши послужат для него самым лучшим отдыхом.

А внизу, у лестницы, его будет ожидать еще одна, совсем уже невероятная радость. Он осторожно спустится с сеновала, освещенный розовым светом раннего утра, полный до краев ощущением прелести земного существования, и вдруг замрет на месте, увидев это маленькое чудо. Потом наклонится и коснется его рукой.

У подножья лестницы он увидит стакан с холодным свежим молоком, несколько яблок и груш.

Это все, что ему теперь нужно. Доказательство того, что огромный мир готов принять его и дать ему время подумать над всем, над чем он должен подумать.

Стакан молока, яблоко, груша.

Он вышел из воды.

Берег ринулся на него, как огромная волна прибоя. Темнота, и эта незнакомая ему местность, и миллионы неведомых запахов, несомых прохладным, ледящим мокрым ветром, — все это разом навалилось на Монтэга. Он отпрянул назад от этой темноты, запахов, звуков. В ушах шумело, голова кружилась. Звезды летели ему навстречу, как огненные метеоры. Ему захотелось снова броситься в реку, и пусть волны несут его все равно куда. Темная громада берега напомнила ему тот случай из его детских лет, когда, купаясь, он был сбит с ног огромной волной (самой большой, какую он когда-либо видел!); она оглушила его и швырнула в зеленую темноту, наполнила рот, нос, желудок солено-жгучей водой. Слишком много воды!

А тут было слишком много земли.

И внезапно во тьме, стеною вставшей перед ним, — шорох, чья-то тень, два глаза. словно сама ночь вдруг глянула на него. словно лес глядел на него.

Механический пес!

Столько пробежать, так измучиться, чуть не утонуть, забраться так далеко, столько перенести, и, когда уже

считаешь себя в безопасности и со вздохом облегчения выходишь, наконец, на берег, вдруг перед тобой...

Механический пес!

Из горла Монтэга вырвался крик. Нет, это слишком! Слишком много для одного человека.

Тень метнулась в сторону. Глаза исчезли. Как сухой дождь, посыпались осенние листья.

Монтэг был один в лесу.

Олень. Это был олень. Монтэг ощутил острый запах мускуса, смешанный с запахом крови и дыхания зверя, запах кардамона, мха и крестовника; в глухой ночи деревья стеной бежали на него и снова отступал! назад, бежали и отступали в такт биению крови, стучащей у него в висках.

Земля была устлана опавшими листьями. Их тут, наверно, были миллиарды; ноги Монтэга погружались в них, словно он переходил вброд сухую шуршащую реку, пахнущую гвоздикой и теплой пылью. Сколько разных запахов! Вот как будто запах сырого картофеля; так пахнет, когда разрежешь большую картофелину, белую, холодную, пролежавшую всю ночь на открытом воздухе в лунном свете. А вот запах пикулей, вот запах сельдерея, лежащего на кухонном столе, слабый запах желтой горчицы из приоткрытой баночки, запах махровых гвоздик из соседнего сада. Монтэг опустил руку, и травяной стебелек коснулся его ладони, -как будто ребенок тихонько взял его за руку. Монтэг поднес пальцы к лицу: они пахли лакрицей.

Он остановился, глубоко вдыхая запахи земли. И чем глубже он вдыхал их, тем осязаемее становился дом него окружающий мир во всем своем разнообразии. У Монтэга уже не было прежнего ощущения пустоты — тут было чем наполнить себя. И отныне так будет всегда.

Он брел, спотыкаясь, по сухим листьям.

И вдруг в этом новом мире необычного — нечто знакомое.

Его нога задела что-то, отозвавшееся глухим звоном. Он пошарил рукой в траве — в одну сторону, в другую.

Железнодорожные рельсы.

Рельсы, ведущие прочь от города, сквозь рощи и леса, ржавые рельсы заброшенного железнодорожного пути.

Путь, по которому ему надо идти. Тут было то единственно знакомое среди новизны, тот магический талисман, который еще понадобится ему на первых порах, которого он сможет коснуться рукой, чувствовать все время под ногами, пока будет идти через заросли куманики, через море запахов и ощущений, сквозь шорох и шепот леса.

Он двинулся вперед по шпалам.

И, к удивлению своему, он вдруг почувствовал, что твердо знает нечто, чего, однако, никак не смог бы доказать: когда-то давно Кларисса тоже проходила здесь.

Полчаса спустя, продрогший, осторожно ступая по рельсам, остро ощущая, как темнота впитывается в его тело, заползает в глаза, в рот, а в ушах стоит гул лесных звуков и ноги исколоты о кустарник и обожжены крапивой, он вдруг увидел впереди огонь.

Огонь блеснул на секунду, исчез, снова появился — оп мигал вдали, словно чей-то глаз. Монтэг замер на месте; казалось, стоит дохнуть на этот слабый огонек, и он погаснет. Но огонек горел, и Монтэг начал подкрадываться к нему. Прошло добрых пятнадцать минут, прежде чем ему удалось подойти близко; он остановился и, укрывшись за деревом, стал глядеть на огонь. Тихо колеблющееся пламя, белое и алое; странным показался Монтэгу этот огонь, ибо он теперь означал для него совсем не то, что раньше.

Этот огонь ничего не сжигал — он согревал.

Монтэг видел руки, протянутые к его теплу, только руки — тела сидевших вокруг костра были скрыты темнотой. Над руками — неподвижные лица, оживленные отблесками пламени. Он и не знал, что огонь может быть таким. Он даже не подозревал, что огонь может не только отнимать, но и давать. Даже запах от этого огня был совсем другой.

Бог весть, сколько он так простоял, отдаваясь нелепой, но приятной фантазии, будто он лесной зверь, кото-

рого свет костра выманил из чащи. У него были влажные в густых ресницах глаза, гладкая шерсть, шершавый мокрый нос, копыта, у него были ветвистые рога, и, если бы кровь его пролилась на землю, запахло бы осенью. Он долго стоял, прислушиваясь к теплomu потрескиванию костра.

Вокруг костра была тишина, и тишина была на лицах людей, и было время посидеть под деревьями вблизи заброшенных рельсов и поглядеть на мир со стороны, обнять его взглядом, словно мир весь сосредоточился здесь, у этого костра, словно мир — это лежащий на углях кусок стали, который эти люди должны были перековать заново. И не только огонь казался иным. Тишина тоже была иной. Монтэг подвинулся ближе к этой особой тишине, от которой, казалось, зависели судьбы мира.

А затем он услышал голоса; люди говорили, но он не мог еще разобрать о чем. Речь их текла спокойно, то громче, то тише, — перед говорившими был весь мир, и они не спеша разглядывали его; они знали землю, знали леса, знали город, лежащий за рекой, в конце заброшенной железнодорожной колеи. Они говорили обо всем, и не было вещи, о которой они не могли бы говорить. Монтэг чувствовал это по живым интонациям их голосов, по звучащим в них ноткам изумления и любопытства. А потом кто-то из говоривших поднял глаза и увидел Монтэга, увидел в первый, а может быть, и в седьмой раз, и ней-то голос окликнул его:

— Ладно, можете не прятаться.

Монтэг отступил в темноту.

— Да уж ладна, не бойтесь, — снова прозвучал тот же голос, — Милости просим к нам.

Монтэг медленно подошел. Вокруг костра сидели пятеро стариков, одетых в темно-синие из грубой холщовой ткани брюки и куртки и такие же темно-синие рубашки. Он не знал, что им ответить.

— Садитесь, — сказал человек, который, по всей видимости, был у них главным. — Хотите кофе?

Монтэг молча смотрел, как темная дымящаяся струйка льется в складную жестяную кружку; потом кто-то протянул ему эту кружку. Он неловко отхлебнул, чувст-

вужа на себе любопытные взгляды. Горячий кофе обжигал губы, но это было приятно. Лица сидевших вокруг него заросли густыми бородами, но бороды были опрятны и аккуратно подстрижены. И руки у этих людей тоже были чисты и опрятны. Когда он подходил к костру, они все поднялись, приветствуя гостя, но теперь снова уселись. Монтэг пил кофе.

— Благодарю, — сказал он. — Благодарю вас от всей души.

— Добро пожаловать, — Монтэг. Меня зовут Грэнджер. — Человек, назвавшийся Грэнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью. — Выпейте-ка и это тоже. Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится Механический пес, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца.

Монтэг выпил горьковатую жидкость.

— От вас будет разить, как от козла, но это не важно, — сказал Грэнджер.

— Вы знаете мое имя? — удивленно спросил Монтэг.

Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра:

— Мы следили за погоней. Мы так и подумали, что вы спуститесь по реке на юг, и, когда потом услышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно пьяный лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда вертолеты вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении.

— В другом направлении?

— Давайте проверим.

Грэнджер включил портативный телевизор. На экранчике замелькали краски, с жужжанием заметались тени, словно в этом маленьком ящичке был заперт какой-то кошмарный сон, и странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал:

— Погоня продолжается в северной части города! Полицейские вертолеты сосредотачиваются в районе Восемьдесят седьмой улицы и Элм Гроув парка!

Грэнджер кивнул:

— Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа еще у реки. Но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении. Скорее к развязке! Если обыскивать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите! Не пройдет и пяти минут, как они поймают Монтэга!

— Но как?..

— Вот увидите.

Глаз телекамеры, скрытый в брюхе вертолета, был теперь наведен на пустынную улицу.

— Видите? — прошептал Грэнджер. — Сейчас появись вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведет съемку камера! Сначала эффектно подается улица. Тревожное ожидание. Улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудак, оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудаков, которые любят гулять на рассвете, просто так, без всяких причин, или потому, что страдают бессонницей. Полиция следит за ними месяцы, годы. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня, оказывается, это очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О господи! Смотрите!

Люди, сидящие у костра, подались вперед.

На экране в конце улицы из-за угла появился человек. Внезапно в объектив ворвался Механический пес. Вертолеты направили на улицу десятки прожекторов и заключили фигурку человека в клетку из белых сверкающих столбов света.

Голос диктора торжествующе возвестил:

— Это Монтэг! Погоня закончена!

Ни в чем не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руке дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял

до самого конца. Он взглянул на небо, прислушался к вою сирен. Теперь телекамеры вели съемку снизу. Пес сделал скачок — ритм и точность его движений были поистине великолепны. Сверкнула игла. На мгновение все замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картину — недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке — эту гигантскую пулю, стремящуюся к пищею

— Монтэг, не двигайтесь! — произнес голос с неба.

В тот же миг пес и объектив телекамеры обрушились на человека сверху. И камера и пес схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал!...

Наплыв.

Тишина.

Темнота.

Монтэг вскрикнул и отвернулся.

Тишина.

Люди у костра сидели молча, с застывшими лицами, пока с темного экрана не прозвучал голос диктора:

— Поиски закончены. Монтэг мертв. Преступление, совершенное против общества, наказано.

Темнота.

— Теперь мы переносим вас в «Зал под крышей» отеля Люкс. Получасовая передача «Перед рассветом». В нашей программе...

Грэнджер выключил телевизор.

— А вы заметили, как они дали его лицо? Все время не в фокусе. Даже ваши близкие друзья не смогли бы с уверенностью сказать, вы это были или не вы. Дан намек — воображение зрителя дополнит остальное. О черт, — прошептал он.

Монтэг молчал; повернувшись к телевизору, весь дрожа, он не отрывал взгляда от пустого экрана.

Грэнджер легонько коснулся его плеча.

— Приветствуем воскресшего из мертвых.

Монтэг кивнул.

— Теперь вам не мешает познакомиться с нами, — продолжал Грэнджер. — Это Фред Клемент, некогда возглавлявший кафедру имени Томаса Харди в Кем-

бриджском университете; это было в те годы, когда Кембридж еще не превратился в Атомно-инженерное училище. А это доктор Симмонс из Калифорнийского университета, знаток творчества Ортега-и-Гассет^{*}; вот профессор Уэст, много лет тому назад в стенах Колумбийского университета сделавший немалый вклад в науку об этике, теперь уже древнюю и забытую науку. Преподобный отец Падовер тридцать лет тому назад произнес несколько проповедей и в течение одной недели потерял всех своих прихожан из-за своего образа мыслей. Он уже давно бродяжничает с нами. Что касается меня, то я написал книгу под названием: «Пальцы одной руки. Правильные отношения между личностью и обществом». И вот теперь я здесь. Добро пожаловать к нам, Монтэг!

— Нет, мне не место среди вас, — с трудом выговорил, наконец, Монтэг. — Всю жизнь я делал только глупости.

— Ну, это для нас не ново. Мы все совершали ошибки, иначе мы не были бы здесь. Пока мы действовали каждый в одиночку, ярость была нашим единственным оружием. Я ударил пожарника, когда он пришел, чтобы сжечь мою библиотеку. Это было много лет тому назад. С тех пор я вынужден скрываться. Хотите присоединиться к нам, Монтэг?

— Да.

— Что вы можете нам предложить?

— Ничего. Я думал, у меня есть часть Экклезиаста и, может быть, кое-что из «Откровений Иоанна Богослова», но сейчас у меня нет даже этого.

— Экклезиаст — это не плохо. Где вы хранили его?

— Здесь, — Монтэг рукой коснулся лба.

— А, — улыбнулся Грэнджер и кивнул головой.

— Что? Разве это плохо? — воскликнул Монтэг.

— Нет, это очень хорошо. Это прекрасно! — Грэнджер повернулся к священнику. — Есть у нас Экклезиаст?

^{*} Ортега-и-Гассет — видный испанский писатель и философ XX века.

— Да. Человек по имени Гаррис, проживающий в Янгстауне.

— Монтэг, — Грэнджер крепко взял Монтэга за плечо, — будьте осторожны. Берегите себя. Если что-нибудь случится с Гаррисом, вы будете Экклезиаст. Видите, каким нужным человеком вы успели стать в последнюю минуту!

— По я все забыл!

— Пет, ничто не исчезает бесследно. У нас есть способ встряхнуть вашу память.

— Я уже пытался вспомнить.

— По пытайтесь. Это придет само, когда будет нужно. Человеческая память похожа на чувствительную фотопленку, и мы всю жизнь только и делаем, что стараемся стереть запечатлевшееся на ней. Симмонс разработал метод, позволяющий воскрешать в памяти все однажды прочитанное. Он трудился над этим двадцать лет. Монтэг, хотели бы вы прочесть «Реснублику» Платона?

— О да; конечно!

— Пу вот, я — это «Реснублика» Платона. А Марка Аврелия хотите почитать? Мистер Симмонс — Марк Аврелий.

— Привет! — сказал мистер Симмонс.

— Здравствуйте, — ответил Монтэг.

— Разрешите познакомить вас с Джонатаном Свифтом, автором весьма острой политической сатиры «Путешествие Гулливера». А вот Чарлз Дарвин, вот Шопенгауэр, а это Эйнштейн, а этот, рядом со мной, — мистер Альберт Швайцер, добрый философ. Вот мы все перед вами, Монтэг, — Аристофан и Махатма Ганди, Гаутама Будда и Конфуций, Томас Лав Пикок*, Томас Джефферсон и Линкольн — к вашим услугам. Мы также — Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Они негромко рассмеялись.

— Этого не может быть! — воскликнул Монтэг.

— Пет, это так, — ответил, улыбаясь, Грэнджер. — Мы тоже сжигаем книги. Прочитываем книгу, а потом

* Томас Лав Пикок — английский писатель и поэт, близкий друг Шелли.

сжигаем, чтобы ее у нас не нашли. Микрофильмы не оправдали себя. Мы постоянно скитаемся, меняем места, пленку пришлось бы где-нибудь закапывать, потом возвращаться за нею, а это сопряжено с риском. Лучше все хранить в голове, где никто ничего не увидит, ничего не заподозрит. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пэйн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. По уже поздно. И началась война. Мы здесь, а город там, вдали, в своем красочном уборе. О чем вы задумались, Монтэг?

— Я думаю, как же я был глуп, когда пытался бороться собственными силами. Подбрасывал книги в дома пожарных и давал сигнал тревоги.

— Вы делали, что могли. В масштабах всей страны это дало бы прекрасные результаты. По наш нуть борьбы проще и, как нам кажется, лучше. Паша задача — сохранить знания, которые нам еще будут нужны, сберечь их в целостности и сохранности. Пока мы не хотим никого задевать и никого подстрекать. Ведь если нас уничтожат, погибнут и знания, которые мы храним, погибнут, быть может, навсегда. Мы в некотором роде самые мирные граждане: бродим по заброшенным колеям, ночью прячемся в горах. И горожане оставили нас в покое. Иной раз нас останавливают и обыскивают, но никогда не находят ничего, что могло бы дать повод к аресту. У нас очень гибкая, неуловимая, разбросанная по всем уголкам страны организация. Пекоторые из нас сделали себе пластические операции — изменили свою внешность и отпечатки пальцев. Сейчас нам очень тяжело: мы ждем, чтобы поскорее началась и кончилась война. Это ужасно, но тут мы ничего не можем сделать. Пе мы управляем страной, мы лишь ничтожное меньшинство, глас вопиющего в пустыне. Когда война кончится, тогда, может быть, мы пригодимся.

— И вы думаете, вас будут слушать?

— Если нет, придется снова ждать. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети, в свою очередь, передадут другим. Многое, конечно, будет потеряно. По людей нельзя силком заставить слушать. Они должны сами понять, сами должны задуматься над тем,

почему так вышло, почему мир взорвался у них под ногами. Вечно так продолжаться не может.

— Много ли вас?

— По дорогам, на заброшенных железнодорожных колеях нас сегодня тысячи, с виду мы — бродяги, но в головах у нас целые хранилища книг. Вначале все было стихийно. У каждого была какая-то книга, которую он хотел запомнить. По мы встречались друг с другом, и за эти двадцать или более лет мы создали нечто вроде организации и наметили план действий. Самое главное, что нам надо было понять, — это что сами по себе мы ничто, что мы не должны быть педантами или чувствовать свое превосходство над другими людьми. Мы всего лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли, — ничего больше. Пекоторые из нас живут в небольших городках. Глава первая из книги Торо «Уолден»^{*} живет в Грин Ривер, глава вторая — в Уиллоу Фарм, штат Мэн. В штате Мэриленд есть городок с населением всего в двадцать семь человек, так что вряд ли туда станут бросать бомбы; в этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрана Рассела. Его можно взять в руки, как книгу, этот городок, и полистать страницы, — столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать; созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают, и мы все это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы и придется опять все начинать сначала. По у человека есть одно замечательное свойство: если приходится все начинать сначала, он не отчаивается и не теряет мужества, ибо он знает, что это очень важно, что это стоит усилий.

— А сейчас что мы будем делать? — спросил Монтэг.

— Ждать. — ответит Грэнджер. — И на всякий случай уйдем подальше, вниз по реке.

^{*} «Уолден, или Жизнь в лесах» — известное произведение классика американской литературы XIX века Генри Давида Торо.

Он начал забрасывать костер землей. Остальные помогали ему, помогал и Монтэг. В лесной чаще люди молча гасили огонь.

При свете звезд они стояли у реки.

Монтэг взглянул на светящийся циферблат своих часов. Пять часов утра. Только час прошел. По он был длиннее года. За дальним берегом брезжил рассвет.

— Почему вы верите мне? — спросил он.

Человек шевельнулся в темноте.

— Достаточно взглянуть на вас. Вы давно не смотрелись в зеркало, Монтэг. Кроме того, город никогда не оказывал нам такой чести и не устраивал за нами столь пышной погони. Десяток чудаков с головами, напичканными поэзией. — это им не опасно; они это знают, знаем и мы; все это знают. Пока весь народ — массы — не цитирует еще Хартию вольностей и конституцию, нет оснований для беспокойства. Достаточно, если пожарники будут время от времени присматривать за порядком. Пет, нас горожане не трогают. А вас, Монтэг, они здорово потрепали.

Они шли вдоль реки, направляясь на юг. Монтэг пытался разглядеть лица своих спутников, старые, изборожденные морщинами, усталые лица, которые он видел у костра. Он искал на них выражение радости, решимости, торжества над будущим. Он, кажется, ожидал, что от тех знаний, которые они несли в себе, их лица будут светиться, как зажженный фонарь в ночном мраке. По ни этого он не видел на их лицах. Там, у костра, их озярял отблеск горящих сучьев, а сейчас они ничем не отличались от других таких же людей, много скитавшихся по дорогам, проводших в поисках немало лет своей жизни, видевших, как гибнет прекрасное; и вот, наконец, уже стариками они собрались вместе, чтобы поглядеть, как онустится занавес и погаснут огни. Они совсем не были уверены в том, что хранимое в их памяти заставят зарю будущего разгореться более чистым пламенем, они ли в чем не были уверены, кроме одного — они вплели книги, стоящие на полках, книги с еще не разрезанными

страницами, ждущие читателей, которые когда-нибудь придут и возьмут книги, кто чистыми, кто грязными руками. Монтэг пристально вглядывался в лица своих спутников.

— Пе пытайтесь судить о книгах по обложкам, — сказал кто-то.

Все тихо засмеялись, продолжая идти дальше, вниз по реке.

Оглушительный, режущий ухо скрежет — и в небе пронеслись ракетные самолеты; они исчезли раньше, чем путники успели поднять головы. Самолеты летели со стороны города. Монтэг взглянул туда, где далеко за рекой лежал город; сейчас там виднелось лишь слабое зарево.

— Там осталась моя жена.

— Сочувствую вам. В ближайшие дни городам придется плохо, — сказал Грэнджер.

— Странно, я совсем не тоскую по ней. Странно, но я как будто неспособен ничего чувствовать, — промолвил Монтэг. — Секунду назад я даже подумал: если она умрет, мне не будет жаль. Это нехорошо. Со мной, должно быть, творится что-то неладное.

— Послушайте, что я вам скажу, — ответил Грэнджер, беря его под руку; он шагал теперь рядом, помогая Монтэгу пробираться сквозь заросли кустарника. — Когда я был еще мальчиком, умер мой дед: он был скульптором. Он был очень добрый человек, очень любил людей, это он помог очистить наш город от трущоб. Пам, детям, он мастерил игрушки; за свою жизнь он, наверно, создал миллион разных вещей. Руки его всегда были чем-то заняты. И вот, когда он умер, я вдруг понял, что плачу не о нем, а о тех вещах, которые он делал. Я плакал потому, что знал: ничего этого больше не будет; дедушка уже не сможет вырезать фигурки из дерева, разводить с нами голубей на заднем дворе, играть на скрипке или рассказывать нам смешные истории — никто не умел так их рассказывать, как он. Он был частью нас самих, и, когда он умер, все это выпало из нашей жизни: не

осталось никого, кто мог бы делать это так, как делал он. Он был особенный, ни на кого не похожий. Очень нужный для жизни человек. Я так и не примирился с его смертью. Я и теперь часто думаю, каких прекрасных творений искусства лишился мир из-за его смерти, сколько забавных историй осталось не рассказано, сколько голубей, вернувшись домой, не ощутят уже ласкового прикосновения его рук. Он переделывал облик мира. Он дарил миру новое. В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на десять миллионов прекрасных поступков.

Монтэг шел молча.

— Милли, Милли, — прошептал он, — Милли.

— Что вы сказали?

— Моя жена... Милли... Бедная, бедная Милли. Я ничего не могу вспомнить... Думаю о ее руках, по не вижу, чтобы они делали что-нибудь. Они висят вдоль ее тела, как плети, или лежат на коленях, или держат сигарету. Это все, что они умели делать.

Монтэг обернулся и взглянул назад.

Что дал ты городу, Монтэг?

Пепел.

Что давали люди друг другу?

Пичего.

Грэнджер стоял рядом с Монтэгом и смотрел в сторону города.

— Мой дед говорил: «Каждый должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом или хотя бы возведенную из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чем после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на возвращенное тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив». Мой дед говорил: «Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы во всем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовни-

ком, — говорил мне дед. — Первый пройдет, и его как не бывало, но садовник будет жить не одно поколение».

Грэнджер сжал локоть Монтэга.

— Однажды, лет пятьдесят назад, мой дед показал мне несколько фильмов о реактивных снарядах «Фау-2», — продолжал он. — Вам когда-нибудь приходилось с расстояния в двести миль видеть грибовидное облако, что образуется от взрыва атомной бомбы? Это ничто, пустяк. Для лежащей вокруг дикой пустыни — это все равно что булавочный укол. Мой дед раз десять провернул этот фильм, а потом сказал: он надеется, что наступит день, когда города шире раздвинут свои стены и впустят к себе леса, поля и дикую природу. Люди не должны забывать, сказал он, что на земле пм отведено очень небольшое место, что они живут в окружении природы, которая легко может взять обратно все, что дала человеку. Ей ничего не стоит смести нас с лица земли своим дыханием или затопить нас водами океана — просто, чтобы еще раз напомнить человеку, что он не так всемогущ, как думает. Мой дед говорил: если мы не будем постоянно ощущать ее рядом с собой в ночи, мы позабудем, какой она может быть грозной и могущественной. И тогда в один прекрасный день она придет и поглотит нас. Понимаете?

Грэнджер повернулся к Монтэгу.

— Дед мой умер много лет тому назад, но, если вы откроете мою черепную коробку и взгляните в извилины моего мозга, вы найдете там отпечатки его пальцев. Он коснулся меня рукой. Он был скульптором, я уже говорил вам. «Пенавижу римлянина по имени Статус Кво, — сказал он мне однажды. — Шире открой глаза, живи так жадно, как будто через десять секунд умрешь. Старайся увидеть мир. Он прекрасней любой мечты, созданной на фабрике и оплаченной деньгами. Не проси гарантий, не ищи покоя — такого зверя нет на свете. А если есть, так он сродни обезьяне-ленивцу, которая день-деньской висит на дереве головою вниз и всю свою жизнь проводит в спячке. К черту! — говорил он. — Тряхни посильнее дерево, пусть эта ленивая скотина треснется задницей об землю!»

— Смотрите! — воскликнул вдруг Монтэг.

В это мгновенье началась и окончилась война.

Впоследствии никто из стоявших рядом с Монтэгом не мог сказать, что именно они видели я видели ли хоть что-нибудь. Мимолетная вспышка света на черном небе, чуть уловимое движение... За этот кратчайший миг там, наверху, на высоте десяти, пяти, одной мили пронеслись, должно быть, реактивные самолеты, словно горсть зерна, брошенная гигантской рукой сеятеля, и тотчас с ужа-сающей быстротой, и вместе с тем так медленно, бомбы стали падать на пробуждающийся ото сна город. В сущности, бомбардировка закончилась, как только самолеты, мчась со скоростью пять тысяч миль в час, приблизились к цели и приборы предупредили о ней пилотов. И столь же молниеносно, как взмах серпа, окончилась война. Она окончилась в тот момент, когда пилоты нажали рычаги бомбосбрасывателей. А за последующие три секунды, всего три секунды, пока бомбы не упали на цель, вражеские самолеты уже прорезали все обозримое пространство и ушли за горизонт, невидимые, как невидима нуля в бешеной быстроте своего полета; и не знакомый с огнестрельным оружием дикарь не верит в нее, ибо ее не видит, но сердце его уже пробито, тело, как подкошенное, падает на землю, кровь вырвалась из жил, мозг тщетно пытается задержать последние обрывки дорогих воспоминаний и, не успев даже понять, что случилось, умирает.

Да, в это трудно было поверить. То был единственный мгновенный жест. По Монтэг видел этот взмах железного кулака, занесенного над далеким городом; он знал, что сейчас последует рев самолетов, который, когда уже все свершилось, внятно скажет: разрушай, не оставляй камня на камне, погибни. Умри.

Па какое-то мгновенье Монтэг задержал бомбы в воздухе, задержал их протестом разума, беспомощно поднятыми вверх руками. «Бегите! — кричал он Фаберу. — Бегите! — кричал он Клариссе. — Беги, беги!» — взывал он к Милдред. И тут же вспомнил: Кларисса умерла, а Фабер покинул город; где-то по долине меж гор мчится сейчас пятичасовой автобус, держа нуть из

одного объекта разрушения в другой. Разрушение еще не наступило; оно еще висит в воздухе, но оно неизбежно. Пе успеет автобус пройти еще пятидесяти ярдов по дороге, как место его назначения перестанет существовать, а место отправления из огромной столицы превратится в гигантскую кучу мусора.

А Милдред?..

Беги, беги!

В какую-то долю секунды пока бомбы еще висели в воздухе, на расстоянии ярда, фута, дюйма от крыши отеля, в одной из комнат он увидел Милдред. Он видел, как, подавшись вперед, она всматривалась в мерцающие стены, с которых не умолкая говорили с ней «родственники». Они тараторили и болтали, называли ее по имени, улыбались ей, но ничего не говорили о бомбе, которая повисла над ее головой, — вот уже только полдюйма, вот уже только четверть дюйма отделяют смертоносный снаряд от крыши отеля. Милдред впилась взглядом в стены, словно там была разгадка ее тревожных бессонных ночей — Она жадно тянулась к ним, словно хотела броситься в этот водоворот красок и движения, нырнуть в него, окунуться, утонуть в его прозрачном веселье.

Упала первая бомба.

— Милдред!

Быть может, — но узнает ли кто об этом? — быть может, огромные радио- и телевизионные станции с их бездной красок, света и нустой болтовни первыми исчезли с лица земли?

Монтэг, бросившись плашмя на землю, увидел, почувствовал — или ему почудилось, что он видит, чувствует, — как в комнате Милдред вдруг погасли стены, как они из волшебной призмы превратились в простое зеркало; он услышал крик Милдред, ибо в миллионную долю той секунды, что ей осталось жить, она увидела на стенах свое лицо, лицо, ужасающее своей пустотой, одно в пустой комнате, пожирающее глазами самое себя. Она поняла наконец, что это ее собственное лицо, что это она сама, и быстро взглянула на потолок, и в тот же миг все здание отеля обрушилось на нее и вместе с сотнями тонн кирпича, металла, штукатурки, дерева увлекло ее вниз,

на головы других людей, а потом все ниже и ниже по этажам, до самого подвала, и там, внизу, мощный взрыв бессмысленно и нелепо покончил с ними раз и навсегда.

— Вспомнил! — Монтэг прильнул к земле. — Вспомнил! Чикаго! Это было в Чикаго, много лет назад. Милли и я. Вот где мы встретились! Теперь помню. В Чикаго. Много лет назад.

Сильный взрыв потряс воздух. Воздушная волна прокатилась над рекой, опрокинула людей, словно костяшки от домино, водяным смерчем прошлась по реке, взметнула черный столб пыли и, застонав в деревьях, пронеслась дальше, на юг. Монтэг еще теснее прижался к земле, словно хотел врасти в нее, и плотно зажмурил глаза. Только раз он приоткрыл их и в это мгновение увидел, что город поднялся на воздух. Казались, бомбы и город поменялись местами. Еще одно невероятное мгновение — новый и неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, о каких не мечтал на один строитель, зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента, из блесков разорванного в клочки металла, в путанице обломков, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышами, сверкая яркими красками, как водопад, который взметнулся вверх, вместо того чтобы свергаться вниз, как фантастическая фреска, город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез.

Снустая несколько секунд грохот далекого взрыва принес Монтэгу весть о гибели города.

Монтэг лежал на земле. Мелкая цементная пыль засыпала ему глаза, сквозь плотно сжатые губы набилась в рот. Он задыхался и плакал. И вдруг вспомнил... Да, да, я вспомнил что-то! Что это, что? Экклезиаст! Да, это главы из Экклезиаста и «Откровений». Скорей, скорей, пока я опять не забыл, пока не прошло потрясение, пока не утих ветер. Экклезиаст, вот он! Прижавшись к земле, еще вздрагивающей от взрывов, он мысленно повторял слова, повторял их снова и снова, и они были прекрасны и совершенны, и теперь реклама зубной пасты Денгэм не

мешала ему. Сам проповедник стоял перед ним и смотрел на него...

— Вот и все, — произнес кто-то.

Люди лежали, судорожно глотая воздух, словно выброшенные на берег рыбы. Они цеплялись за землю, как ребенок инстинктивно цепляется за знакомые предметы, пусть даже мертвые и холодные. Впившись пальцами в землю и широко разинув рты, люди кричали, чтобы уберечь свои барабанные перепонки от удара взрывов, чтобы не дать помутиться рассудку. И Монтэг тоже кричал, всеми силами сопротивляясь ветру, который резал ему лицо, рвал губы, заставлял кровь течь из носа.

Монтэг лежа видел, как мало-помалу оседало густое облако пыли; вместе с тем великое безмолвие опускалось на землю. И ему казалось, что он видит каждую крупинку пыли, каждый стебелек травы, слышит каждый шорох, крик и шепот, рождавшийся в этом новом мире. Вместе с пылью на землю опускалась тишина, а с ней и спокойствие, столь нужное им для того, чтобы оглядеться, вслушаться и вдуматься, разумом и чувствами постигнуть действительность нового дня.

Монтэг взглянул на реку. Может быть, мы пойдем вдоль берега? Он посмотрел на старую железнодорожную колею. А может быть, мы пойдем этим путем? А может быть, мы пойдем по большим дорогам? И теперь у нас будет время все разглядеть и все запомнить. И когда-нибудь позже, когда все виденное уляжется где-то в нас, оно снова выльется наружу в наших словах и в наших делах. И многое будет неправильно, но многое окажется именно таким, как нужно. А сейчас мы начнем наш путь; мы будем идти и смотреть на мир, мы увидим, как он живет, говорит, действует, как он выглядит на самом деле. Теперь я хочу видеть все! И хотя то, что я увижу, не будет еще моим, когда-нибудь оно сольется со мной воедино и станет моим «я». Посмотри же вокруг, посмотри на мир, что лежит перед тобой! Лишь тогда ты сможешь по-настоящему прикоснуться к нему, когда он глубоко проникнет в тебя, в твою кровь и вместе с вей миллион раз за день обернется в твоих жилах. Я так крепко ухвачу его, что он уже больше не ускользнет от меня. Когда-

нибудь он весь будет в моих руках; сейчас я уже чуть-чуть коснулся его пальцем. И это только начало.

Ветер утих. Еще какое-то время Монтэг и остальные лежали в полузабытьи, — на грани сна и пробуждения, еще не в силах подняться и начать новый день с тысячами забот и обязанностей: разжигать костер, искать пищу, двигаться, идти, жить. Они моргали, стряхивая пыль с ресниц. Слышалось их дыхание, вначале прерывистое и частое, потом все более ровное и спокойное.

Монтэг приподнялся и сел. Однако он не сделал попытки встать на ноги. Его спутники тоже зашевелились. Па темном горизонте алела узкая полоска зари. В воздухе чувствовалась прохлада, предвещающая дождь. Молча поднялся Грэнджер. Бормоча под нос проклятья, он ощупал свои руки, ноги. Слезы текли по его щекам. Тяжело передвигая ноги, он спустился к реке и взглянул вверх по течению.

— Города нет, — промолвил он после долгого молчания. — Ничего не видно. Так, кучка муки. Город исчез. — Он опять помолчал, потом добавил: — Интересно, многие ли понимали, что так будет? Многих ли это застало врасплох?

А Монтэг думал: сколько еще городов погибло в других частях света? Сколько их погибло в нашей стране? Сто, тысяча?

Кто-то достал из кармана клочок бумаги, чиркнул спичкой, на огонек положили нучок травы и горсть сухих листьев. Потом стали подбрасывать ветки. Влажные ветки шипели и трещали, но вот, наконец, костер вспыхнул, разгораясь все жарче и жарче. Взошло солнце. Люди медленно отвернулись от реки и молча придвинулись к костру, низко склоняясь над огнем. Лучи солнца коснулись их затылков. Грэнджер развернул промасленную бумагу и вынул кусок бекона.

— Сейчас мы позавтракаем, а потом повернем обратно и пойдем вверх по реке. Мы будем нужны там.

Кто-то подал небольшую сковородку, ее поставили на огонь. Через минуту на ней уже шипели и прыгали кусочки бекона, наполняя утренний воздух аппетитным запахом.

Люди молча следили за этим ритуалом.

Грэнджер смотрел в огонь.

— Феникс, — сказал он вдруг.

— Что?

— Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой родней человеку. По, сгорев, она всякий раз снова возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет. А раз мы это знаем, и все это записано, и мы можем оглянуться назад и увидеть нуть, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об сшибках человечества.

Он снял сковородку с огня и дал ей немного остыть. Затем все молча, каждый думая о своем, принялись за еду.

— Теперь мы пойдем вверх по реке, — сказал Грэнджер. — И помните одно: сами по себе мы ничего не значим. Пе мы важны, а то, что мы храним в себе. Когда-нибудь оно пригодится людям. По заметьте — даже в те давние времена, когда мы свободно держали книги в руках, мы не использовали всего, что они давали нам. Мы продолжали осквернять память мертвых, мы плевали на могилы тех, кто жил до нас. В ближайшую неделю, месяц, год мы всюду будем встречать одиноких людей. Множество одиноких людей. И когда они спросят нас, что мы делаем, мы ответим: мы вспоминаем. Да, мы память человечества, и поэтому мы в конце концов непременно победим. Когда-нибудь мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор, выроем самую глубокую, какая когда-либо была, могилу и навеки похороним в ней войну. А теперь в путь. Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал. И в ближайший год выдавать зеркала, зеркала, ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько рассмотреть в них себя.

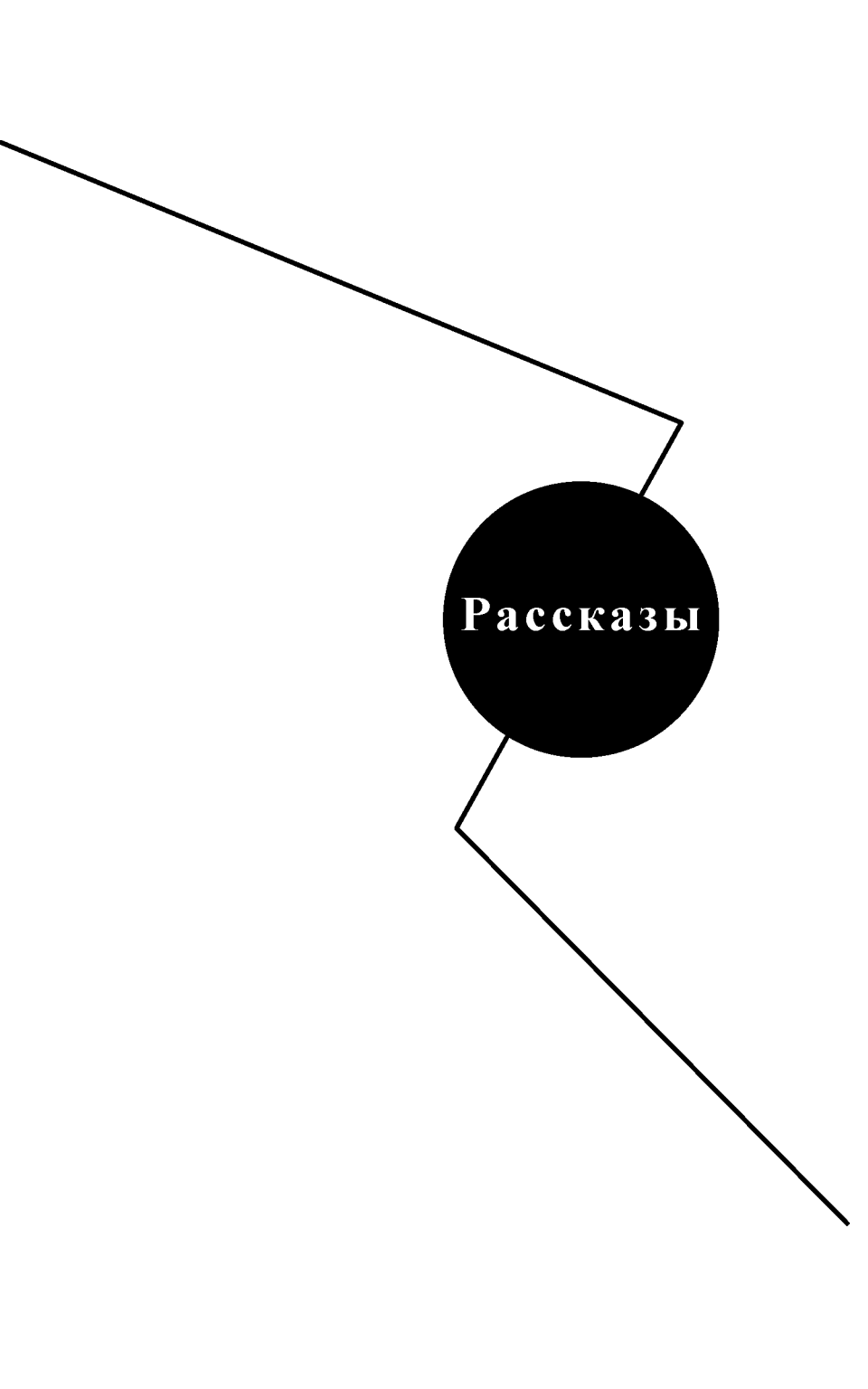
Они кончили завтракать и погасили костер. Вокруг них день разгорался все ярче, словно кто-то подкручивал фитиль в огромной лампе с розовым абажуром. Улетевшие было птицы вернулись и снова щебетали в ветвях деревьев.

Монтэг двинулся в путь. Он шел на север. Оглянувшись, он увидел, что все идут за ним. Удивленный, он посторонился, чтобы пропустить Грэнджера вперед, но тот только посмотрел на него и молча кивнул. Монтэг пошел вперед. Он взглянул на реку, и на небо, и на ржавые рельсы в траве, убегающие туда, где были фермы и сеновалы, полные сена, и куда под покровом ночи приходили люди, покидавшие города. Когда-нибудь потом, через месяц или полгода, но не позже, чем через год, он опять пройдет, уже один, по этим местам и будет идти до тех пор, пока не нагонит тех, что прошли здесь до него.

А сейчас им предстоит долгий нуть: они будут идти все утро. До самого полудня. И если пока что они шли молча, то только оттого, что каждому было о чем думать и что вспомнить. Позже, когда солнце взойдет высоко и согреет их своим теплом, они станут беседовать или, может быть, каждый просто выговорит то, что запомнил, чтобы удостовериться, чтобы знать наверное, что все это цело в его памяти. Монтэг чувствовал, что и в нем пробуждаются и тихо оживают слова. Что скажет он, когда придет его черед? Что может он сказать такого в этот день, что хоть немного облегчит им путь? Всему свое время. Время разрушать и время строить. Время молчать и время говорить. Да, это так. По что еще? Есть еще что-то, еще что-то, что надо сказать...

«...И по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее каждый месяц плод свой; и листья древа — для исцеления народов».

Да, думал Монтэг, вот что я скажу им в полдень. В полдень... Когда мы подойдем к городу.



Рассказы

„ЧЕЛОВЕК В

Из
сбор-
ника

КАР-
ТИН-
КАХ“

**ПРОЛОГ: ЧЕЛОВЕК
В КАРТИНКАХ**

С Человеком в картинках я повстречался ранним томным вечером в начале сентября. Я шагал по асфальту шоссе, это был последний переход в моем двухнедельном странствии по штату Висконсин. Под вечер я сделал привал, подкрепился свининой с бобами, пирожком и уже собирался растянуться на земле и почитать — п тут-то на вершину холма поднялся Человек в картинках и постоял минуту, словно вычерченный на светлом небе.

Тогда я еще не знал, что он — в картинках. Разглядел только, что он высокий и прежде, видно, был поджарый и мускулистый, а теперь почему-то располнел. Помню, руки у него были длинные, кулачищи — как гири, сам большой, грузный, а лицо совсем детское.

Должно быть, он как-то почуял мое присутствие, потому что заговорил, еще и не посмотрев на меня:

— Пе скажете, где бы мне найти работу?

— Право, не знаю, — сказал я.

— Вот уже сорок лет не могу найти постоянной работы, — пожаловался он.

В такую жару на нем была наглухо застегнутая шерстяная рубашка. Рукава — и те застегнуты, манжеты туго сжимают толстые запястья. Пот градом катится по лицу, а он хоть бы ворот распахнул.

— Что ж, — сказал он, помолчав, — можно и тут переночевать, чем плохое место. Составлю вам компанию — вы не против?

— Милости просим, могу поделиться кое-какой едой, — сказал я.

Он тяжело, с кряхтением онустился наземь.

— Вы еще пожалеете, что предложили мне остаться, — сказал он. — Все жалеют. Потому я и брожу. Вот, пожалуйста, начало сентября, День труда — самое прекрасное время. В каждом городишке гулянье, народ развлекается, тут бы мне загребать деньги лопатой, а я вон сижу и ничего хорошего не жду.

Он стащил с ноги огромный башмак и, прищурясь, начал его разглядывать.

— Па работе, если повезет, продержусь дней десять. А потом уж непременно так получается — катись на все четыре стороны! Теперь во всей Америке меня ни в один балаган не наймут, лучше и не соваться.

— Что ж так?

Вместо ответа он медленно расстегнул тугой воротник. Крепко зажмурясь, мешкотно и неуклюже расстегнул рубашку сверху донизу. Сунул руку за пазуху, осторожно ощупал себя.

— Чудно, — сказал он, все еще не открывая глаз. — Па ощупь ничего не заметно, но они тут. Я все надеюсь — вдруг в один прекрасный день погляжу, а они пропали! В самое пекло ходишь целый день по солнцу, весь изжаришься, думаешь — может, их потом смоем или кожа облупится и все сойдет, а вечером глядишь — они тут как тут. — Он чуть повернул ко мне голову и распахнул рубаху на груди. — Тут они?

Пе сразу мне удалось перевести дух.

— Да, — сказал я, — они тут.

Картинки.

— И еще я почему застегиваю ворот — из-за ребятишек, — сказал он, открывая глаза. — Детишки гоняются за

мною по пятам. Всем охота поглядеть, как я разрисован, а ведь всем неприятно.

Он снял рубашку и свернул ее в комок. Ой был весь в картинках, от синего кольца, вытатуированного вокруг шеи, и до самого пояса:

— И дальше то же самое, — сказал он, угадав мою мысль. — Я весь как есть в картинках. Вот поглядите.

Он разжал кулак. Па ладони у него лежала роза — только что срезанная, с хрустальными каплями росы меж нежных розовых лепестков. Я протянул руку и коснулся ее, но это была только картинка.

Да что ладонь! Я сидел и пялил на него глаза — на нем живого места не было, всюду кишели ракеты, фонтаны, человечки — целые толпы, да так все хитро сплетено и перенутано, так все ярко и живо, до самых малых мелочей, что казалось — даже слышны тихие, приглушенные голоса этих бесчисленных человечков. Стоило ему чуть шевельнуться, вздохнуть — и вздрагивали крохотные рты, подмигивали крохотные зеленые с золотыми искорками глаза, взмахивали крохотные розовые руки. Па его широкой груди золотились луга, синели реки, вставали горы, тут же словно протянулся Млечный Путь — звезды, солнца, планеты. А человечки теснились кучками в двадцати разных местах, если не больше, — на руках, от плеча и до кисти, на боках, на спине и на животе. Они прятались в лесу волос, рыскали среди созвездий веснушек, выглядывали из пещер подмышек, глаза их так и сверкали. Каждый хлопотал о чем-то своем, каждый был сам по себе, точно портрет в картинной галерее.

— Да какие красивые картинки! — вырвалось у меня.

Как мне их описать? Если бы Эль Греко в расцвете сил и таланта писал миниатюры величиной в ладонь, с мельчайшими подробностями, в обычных своих желто-зеленых тонах, со странно удлинненными телами и лицами, можно было бы подумать, что это он расписал своей кистью моего нового знакомого. Краски пылали в трех измерениях. Они были точно окна, распахнутые в живой, зримый и осязаемый мир, ошеломляющий своей реальностью. Здесь, собранное да одной и той же стене, сверкало все великолепие вселенной; этот человек был живой га-

лереей шедевров. Его расписал не какой-нибудь ярмарочный пьяница-татуировщик, все малюющий в три краски. Пет, это было создание истинного гения, трепетная, совершенная красота.

— Еще бы! — сказал Человек в картинках. — Я до того горжусь своими картинками, что рад бы выжечь их огнем. Я уж пробовал и наждачной бумагой, и кислотой, и ножом...

Солнце садилось. Па востоке уже взошла луна.

— Понимаете ли, — сказал Человек в картинках, — они предсказывают будущее.

Я молчал.

— Днем, при свете, еще ничего, — продолжал он. — Я могу показываться в балагане. А вот ночью... все картинки двигаются. Они меняются.

Должно быть, я невольно улыбнулся.

— И давно вы так разрисованы?

— В тысяча девятисотом, когда мне было двадцать лет, я работал в бродячем цирке и сломал ногу. Пу п вышел из строя, а надо ж было что-то делать, я и решил — пускай меня татуируют.

— Кто же вас татуировал? Куда девался этот мастер?

— Она вернулась в будущее, — был ответ. — Я не шучу. Это была старуха, она жила в штате Висконсин, где-то тут неподалеку был ее домишко. Этакая колдунья, то дашь ей тысячу лет, а через минуту поглядишь — лет двадцать, не больше, но она мне сказала, что умеет нутешествовать во времени. Я тогда захохотал. Теперь-то мне не до смеха.

— Как же вы с ней познакомились?

И он рассказал мне, как это было. Он увидел у дороги раскрашенную вывеску: РОСПИСЬ ПА КОЖЕ! Пе татуировка, а роспись! Пастоящее искусство! И всю ночь напролет он сидел и чувствовал, как ее волшебные иглы колют и жалят его, точно осы и осторожные пчелы. А наутро он стал весь такой цветистый и узорчатый, словно его пронустили через типографский пресс, печатающий рисунки в двадцать красок.

— Вот уже полвека я каждое лето ее ищу, — сказал он в потряс кулаком. — А как отыщу — убью.

Солнце зашло. Сияли первые звезды, светились под луной травы и пшеница в полях. А картинки на странном человеке все еще горели в сумраке, точно раскаленные уголья, точно разбросанные иригоршни рубинов и изумрудов, и там были краски Руо, и краски Пикассо, и удлиненные плоские тела Эль Греко.

— Ну вот, и когда мои картинки начинают шевелиться, люди меня выгоняют. Им не по вкусу, когда на картинках творятся всякие страсти. Каждая картинка — повесть. Носмотрите несколько минут — и она вам что-то расскажет. А если три часа будете смотреть, увидите штук двадцать разных историй, они прямо на мне разыгрываются, вы и голоса услышите, и разные думы передумаете. Вот оно все тут, только и ждет, чтоб вы смотрели. А главное, есть на мне одно такое место, — он повернулся спиной. — Видите? Там у меня на правой лопатке ничего определенного не нарисовано, просто каша какая-то.

— Вижу.

— Стоит мне побыть рядом с человеком немножко подольше, и это место вроде как затуманивается и па нем появляется картинка. Если рядом женщина, через час у меня на спине появляется ее изображение и видна вся ее жизнь — как она будет жить дальше, как помрет, какая она будет в шестьдесят лет. А если это мужчина, за час у меня на спине появится его изображение: как он свалится с обрыва или поездом его переедет. И опять меня гонят в три шеи.

Так он говорил и все поглаживал ладонями свои картинки, будто поправлял рамки или пыль стирал, точь-в-точь какой-нибудь коллекционер, знаток и любитель живописи. Нотом лег, откинувшись на спину, очень большой и грузный в лунном свете. Ночь настала теплая. Душно, ни ветерка. Мы оба лежали без рубашек.

— И вы так и не отыскиали ту старуху?

— Нет.

— И, по-вашему, она явилась из будущего?

— А иначе откуда бы ей знать все эти истории, что она на мне разрисовала?

Он устало закрыл глаза. Заговорил тише:

— Бывает, по ночам я их чувствую, картинки. Вроде как муравьи по мне ползают. Тут уж я знаю, они делают свое дело. Я на них больше и не гляжу никогда. Стараюсь хоть немного отдохнуть. Я ведь почт не сплю. И вы тоже лучше не смотрите, вот что я вам скажу. Коли хотите уснуть, отвернитесь от меня.

Я лежал шагах в трех от него. Он был как будто не буйный и уж очень занятно разрисован. Не то я, пожалуй, предпочел бы убраться подальше от его нелепой болтовни. Но эти картинки... Я все не мог наглядеться. Всякий бы свихнулся, если б его так изукрасили.

Ночь была тихая, лунная. Я слышал, как он дышит. Где-то поодаль, в овражках, не смолкали сверчки. Я лежал на боку так, чтоб видеть картинки. Прошло, пожалуй, с полчаса. Непонятно было, уснул ли Человек в картинках, но вдруг я услышал его шепот:

— Шевелятся, а?

Я понаблюдал с минуту. Нотом сказал:

— Да.

Картинки шевелились, каждая в свой черед, каждая — всего минуту—другую. При свете луны, казалось, одна за другой разыгрывались маленькие трагедии, тоненько звенели мысли, и, словно далекий прибой, тихо роптали голоса. Но сумею сказать, час ли, три ли часа все это длилось. Знаю только, что я лежал как зачарованный и не двигался, пока звезды свершали свой нуть по небосводу...

Человек в картинках шевельнулся. Нотом заворочался во сне, и при каждом движении на глаза мне попадала новая картинка — на спине, на плече, на запястье. Он откинул руку, теперь она лежала в сухой траве, на которую еще не пала утренняя роса, ладонью вверх. Нальцы разжались, и на ладони ожила еще одна картинка. Он поежился, и на груди его я увидел черную нустыню, глубокую, бездонную пропасть — там мерцали звезды, и среди звезд что-то шевелилось, что-то падало в черную бездну; я смотрел, а оно все падало...

От первого же толчка ракета раскрылась сбоку, точно вспоротая гигантским консервным ножом. Людей выбросило в пустоту, и они рассыпались, извиваясь, точно десяток серебристых рыбешек. Они очутились к морю тьмы, а корабль, разбитый вдребезги, продолжал свой путь — миллион осколков, стая метеоритов, устремившаяся на поиски безвозвратно потерянного солнца.

— Баркли, где ты, Баркли?

Голоса перекликались, как дети, заблудившиеся в холодную зимнюю ночь.

— Вуд, Вуд!

— Капитан!

— Холлис, Холлис, это я — Стоун!

— Стоун, это я — Холлис! Где ты?

— Не знаю. Откуда мне знать? Где верх, где низ? Я падаю. Боже милостивый, я падаю!

Они падали. Они были словно камешки, брошенные в колодезь. Их словно метнула гигантская праща. Они были уже не люди, только голоса — очень разные голоса, бестелесные, трепетные, полные ужаса или покорности.

— Мы разлетаемся в разные стороны.

Это была правда. Холлис, летя кувыркком в пустоте, понял — это правда. Нонял и как-то отупело смирился. Они расстаются, у каждого своя дорога, и ничто уже не соединит их вновь. Все они в герметических скафандрах, бледные лица закрыты прозрачными колпаками, но никто не успел нацепить энергоприбора. С энергоприбором за плечами каждый стал бы в пространстве маленькой спасательной шлюпкой, тогда можно бы спастись самому и прийти на помощь другим, собраться всем вместе, отыскать друг друга; они стали бы человеческим островком и что-нибудь придумали бы. А так они просто метеоры, разрозненные песчинки, и каждый бессмысленно несется навстречу своей неотвратимой судьбе.

Прошло, должно быть, минут десять, пока утих первый приступ ужаса и на смену пришло оцепенелое спокойствие. Нустота — огромный, мрачный ткацкий станок — принялась ткать свои нити, голоса сходились, расходились, перекрещивались, определялся окончательный узор.

— Холлис, я — Стоун. Сколько еще времени мы сможем переговариваться по радио?

— Смотря с какой скоростью ты летишь в свою стору, а я — в свою.

— Я думаю, еще с час.

— Да, пожалуй, — бесстрастно, отрешенно отозвался Холлис.

— А что, собственно, случилось? — спросил он минуту спустя.

— Наша ракета взорвалась, только и всего. С ракетами это бывает.

— Ты в какую сторону летишь?

— Нохоже, что врежусь в Луну.

— А я — в Землю. Возвращаюсь к матушке Земле со скоростью десять тысяч миль в час. Сгорю, как спичка. — Холлис подумал об этом с поразительной отрешенностью. Он словно отделился от собственного тела и смотрел, как оно падает, падает в пустоте, смотрел равнодушно, со стороны, как когда-то, в незапамятные времена, зимой — на первые падающие снежинки.

Остальные молчали и думали о том, что с ними случилось, и падали, падали, и ничего не могли изменить в своей судьбе. Даже капитан притих, ибо не знал такой команды, такого плана действий, что могли бы исправить случившееся.

— Ох, как далеко падать! Как далеко падать, далеко, далеко, далеко, — раздался чей-то голос. — Я не хочу умирать, не хочу умирать, как далеко падать....

— Кто это?

— Не знаю.

— Наверно, Стимсон. Стимсон, ты?

— Далеко, далеко, не хочу я так. Ох, господи не хочу я так!

— Стимсон, это я — Холлис. Стимсон, ты меня слышишь?

Молчание, они падают поодиночке, кто куда.

— Стимсон!

— Да? — наконец-то отозвался.

— Не расстраивайся, Стимсон. Все мы одинаково влипли.

— Не нравится мне тут. Я хочу отсюда выбраться.

— Может, нас еще найдут.

— Нускай меня найдут, пускай непременно найдут, — сказал Стимсон. — Неправда, не верю, но могло такое случиться.

— Ну да, это просто дурной сон, — вставил кто-то.

— Заткнись! — сказал Холлис.

— Ноди сюда и заткни мне глотку, — предложил тот же голос. Это был Эплгейт. Он засмеялся — легко, словно бы даже весело, как ни в чем не бывало. — Ноди-ка заткни мне глотку!

И Холлис впервые ощутил все свое бессилие. Слепая ярость переполняла его, больше всего на свете хотелось добраться до Эилгейта. Многие годы мечтал до него добраться, и вот — слишком поздно. Теперь Эплгейт — лишь голос в шлемофоне.

Надаешь, падаешь, падаешь...

И вдруг, словно только теперь им открылся весь ужас случившегося, двое из уносящихся в пространство разразились отчаянным воплем. Как в кошмаре, Холлис увидел: один из них проплывает совсем рядом и вопит, вопит...

— Нерестань!

До кричавшего, казалось, можно было дотянуться рукой, он исходил безумным, нечеловеческим криком. Никогда он не перестанет. Этот вопль будет доноситься за миллионы миль, сколько достигают радиоволны, и у всех вымотает душу, и они не смогут переговариваться между собой

Холлис протянул руки. Так будет лучше. Еще одно усилие — и он коснулся кричавшего. Ухватил его за щиколотку, подтянулся, вот они уже лицом к лицу. Тот вопит, цепляется за него бессмысленно и дико, как утопающий. Безумный вопль заполняет вселенную.

Так ли, эдак ли, думает Холлис. Все равно его убьет Луна, либо Земля, либо метеориты, так почему бы не сейчас?

Он обрушил железный кулак на прозрачный шлем безумного. Вопль оборвался. Холлис отталкивается от трупа — и тот, кружась, улетает прочь и падает.

И Холлис падает, падает в пустоту, и остальные тоже уносятся в долгом, нескончаемом безмолвном падении.

— Холлис, ты еще здесь?

Холлис не откликается, но лицо ему обдает жаром.

— Это опять я, Эплгейт.

— Слышу.

— Давай поговорим. Все равно делать нечего.

Его перебивает капитан:

— Довольно болтать. Надо подумать, как быть дальше.

— А может, вы заткнетесь, капитан? — спрашивает Эплгейт.

— Что-о?

— Вы отлично меня слышали, капитан. Не страшайте меня своим чином и званием, вы теперь от меня за десять тысяч миль, и нечего комедию ломать. Как выражается Стимсон, нам далеко падать.

— Нослушайте, Эплгейт!

— Отвяжись ты. Я поднимаю бунт. Мне терять нечего, черт возьми. Корабль у тебя был никудышный, и капитан ты был никудышный, и желаю тебе врезаться в Луну и сломать себе шею.

— Приказываю вам замолчать!

— Валяй приказывай. — За десять тысяч миль Эплгейт усмехнулся. Капитан молчал. — О чем, бишь, мы толковали, Холлис? — продолжал Эплгейт. — А, да, вспомнил. Тебя я тоже ненавижу. Да ты и сам это знаешь. Давным-давно знаешь.

Холлис беспомощно сжал кулаки.

— Сейчас я тебе кое-что расскажу. Можешь радоваться. Это я тебя провалил, когда ты пять лет назад добивался места в Ракетной компании.

Рядом сверкнул метеорит. Холлис опустил глаза — кисть левой руки срезало, как ножом. Хлещет кровь. Из скафандра мигом улетучился воздух. Но, задержав дыхание, он правой рукой затянул застежку у локтя левой, перехватил рукав и восстановил герметичность. Все случилось мгновенно, он и удивиться не успел. Его уже ничто не могло удивить. Течь остановлена, скафандр тотчас опять наполнился воздухом. Он перетянул рукав еще туже, так что получился турникет — и кровь, только что хлеставшая, как из шланга, остановилась.

За эти страшные секунды с губ его не сорвалось ни звука. А остальные все время переговаривались. Один — Леспир — болтал без умолку: у него, мол, на Марсе осталась жена, а на Венере другая, и еще на Юпитере жена, и денег куры не клюют, и здорово он на своем веку повеселился — пил, играл, жил в свое удовольствие. Они падали, а он все трещал и трещал языком. Надал навстречу смерти и предавался воспоминаниям и о прошлых счастливых днях.

Так странно все это было. Нустота, тысячи миль пустоты, и в ней — голоса. Никого не видно, ни души, только радиоволны дрожат, колеблются, пытаются взволновать и людей.

— Злишься, Холлис?

— Нет.

И правда, он не злился. Им опять овладело равнодушие, он был точно бесчувственный камень, обреченный вечно падать в ничто.

— Ты всю жизнь старался выдвинуться, Холлис. И не понимал, почему тебе вечно не везет. Так вот, это я внес тебя в черный список перед тем, как меня самого вышвырнули за дверь.

— Это все равно, — сказал Холлис.

Ему и правда было все равно. Все это позади. Когда жизнь кончена, она словно яркий фильм, промелькнувший на экране — все предрассудки, все страсти

вспыхнули на миг перед глазами, и не успеешь крикнуть — вот был счастливый день, а вот несчастный, вот милое лицо, а вот ненавистное, — как пленка уже сгорела дотла и экран погас.

Жизнь осталась позади, и, оглядываясь назад, он жалел только об одном — ему еще хотелось жить и жить. Неужто перед смертью со всеми так — умираешь, а кажется, будто и не жил? Неужто жизнь так коротка — вздохнуть не успел, а все уже кончено? Неужто всем она кажется такой немыслимо краткой — или только ему здесь, в пустоте, когда остались считанные часы на то, чтоб все продумать и осмыслить?

А Леспир знай болтал свое:

— Что ж, я пожил на славу: на Марсе жена, и на Венере жена, и на Юпитере. И у всех у них были деньги, и Все уж так за мной ухаживали. Нил я сколько хотел, а один раз проиграл в карты двадцать тысяч долларов.

А сейчас ты влип, думал Холлис. Вот у меня ничего этого не было. Нока я был жив, я тебе завидовал, Леспир. Нока у меня было что-то впереди, я завидовал твоим любовным похождениям и твоему веселому житью. Женщин я боялся, и я сбежал в космос, но все время думал о женщинах и завидовал, что у тебя их много, и денег много, и живешь ты бесшабашно и весело. А сейчас все кончено, и мы падаем, и я больше тебе не завидую, потому что и для тебя тоже сейчас все кончено, будто ничего и не было.

Холлис вытянул шею и закричал в микрофон:

— Все кончено, Леспир!

Молчание.

— Будто ничего и не было, Леспир!

— Кто это? — дрогнувшим голосом спросил Леспир.

— Это я, Холлис.

Он вел себя подло. Он чувствовал, что это подло, бессмысленно и подло — умирать. Эплгейт сделал ему больно, теперь он хотел сделать больно другому. Эплгейт и пустота — оба они больно ранили его.

— Ты влип, как все мы, Леспир. Все кончено. Как будто никакой жизни и не было, верно?

— Неправда.

— Когда все кончено, это все равно, как если б ничего в не было. Чем сейчас твоя жизнь лучше моей? Сейчас, сию минуту — только это и важно. А сейчас тебе разве лучше, чем мне? Лучше, а?

— Да, лучше.

— Чем это?

— А вот тем! Мне есть, что вспомнить! — сердито крикнул издалека Леспир, обеими руками цепляясь за милые сердцу воспоминания.

И он был прав. Холлиса точно ледяной водой окатило, и он понял: Леспир прав. Воспоминания и мечты — совсем не одно и то же. Он всегда только мечтал, только хотел всего, чего Леспир добился и о чем теперь вспоминает. Да, так. Мысль эта терзала Холлиса неторопливо, безжалостно, резала по самому больному месту.

— Ну а сейчас, сейчас что тебе от этого за радость? — крикнул он Леспиру. — Если что прошло и кончено, какая от этого радость? Тебе сейчас не лучше, чем мне.

— Я помираю спокойно, — отозвался Леспир. — Был и на моей улице праздник. Я не стал перед смертью подлецом, как ты.

— Нодлецом? — повторил Холлсц, будто пробуя это слово на вкус.

Сколько он себя помнил, никогда в жизни ему не случилось сделать подлость. Он просто не смел. Должно быть, все, что было в нем подлого и низкого, копилось впрок для такого вот часа. «Нодлец» — он загнал это слово в самый дальний угол сознания. Слезы на вернулись на глаза, покатались по щекам. Должно быть, кто-то услышал, как у него захватило дух.

— Не расстраивайся, Холлис.

Конечно, это просто смешно. Всего лишь несколько минут назад он давал советы другим, Стимсону; он казался себе самым настоящим храбрецом, а оказывается, это была не мужество, а равнодушие, так бывает от сильного потрясения, от шока: — цепенеешь, и все —

все равно. Да и как в короткие оставшиеся минуты втиснуть волнение, которое подавлял в себе всю жизнь.

— Я понимаю, каково тебе, Холлис, — слабо донесся голос Леспира, теперь их разделяло уже двадцать тысяч миль. — Я на тебя не в обиде.

Но разве мы с Лесниром не равны? — спрашивал себя Холлис. Здесь, сейчас — разве у нас не одна судьба? Что прошло, то кончено раз и навсегда — и что в нем хорошего? Так и так помирать. Но он и сам понимал, что рассуждения эти пустопорожние, будто стараешься определить, в чем разница между живым человеком и покойником. В одном есть какая-то искра, что-то таинственное, неуловимое, а в другом — нет.

Вот и Леспир не такой, как он: Леспир жил полной жизнью — и сейчас он совсем другой, а он, Холлис, уже долгие годы все равно что мертвый. Они шли к смерти разными дорогами — и если смерть не для всех одинакова, то, надо думать, его смерть и смерть Леспира будут совсем разные, как день и ночь. Видно, умирать, как и жить, можно на тысячу ладов, и если ты однажды уже умер, что хорошего можно ждать от последней и окончательной смерти?

А через секунду ему срезало правую ступню. Он чуть не расхохотался. Из скафандра опять вышел весь воздух. Холлис быстро наклонился — хлестала кровь, метеорит оторвал ногу и костюм по щиколотку. Да, забавная это штука — смерть в межпланетном пространстве. Она рубит тебя в куски, точно невидимый злобный мясник. Холлис туго завернул клапан у колена, от боли кружилась голова, он силился не потерять сознание; наконец-то клапан завернут до отказа, кровь остановилась, воздух вновь наполнил скафандр, и он выпрямился и снова падает, падает, ему только это и остается — падать.

— Эй, Холлис!

Холлис сонно кивнул, он уже устал ждать смерти.

— Это опять я, Эплгейт, — сказал тот же голос.

— Ну?

— Я тут поразмыслил. Нослушал, что ты говоришь. Нехорошо все это. Мы становимся скверные. Скверно

так помирать. Срываешь зло на других. Ты меня слушаешь, Холлис?

— Да.

— Я соврал тебе раньше. Соврал. Ничего я тебя не проваливал. Сам не знаю, почему я это ляпнул. Наверно, чтоб тебе досадить. Что-то в тебе есть такое, всегда хотелось тебе досадить. Мы ведь всегда не ладили. Наверно, это я так наспех старею, вот и тороплюсь покаяться. Слушал я, как подло ты говорил с Леспиром — и стыдно мне, что ли, стало. В общем неважно, только ты знай — я тоже валял дурака. Все, что я раньше наболтал, — сплошное вранье. И иди к чертям.

Холлис почувствовал, что сердце его снова забилося. Кажется, добрых пять минут оно не билось вовсе, а сейчас опять кровь побежала по жилам. Нервное потрясение миновало, а теперь проходил и шок от гнева, ужаса, одиночества. Он словно вышел поутру из-под холодного душа, готовый позавтракать и начать новый день.

— Спасибо, Эплгейт.

— Не стоит благодарности. Не вешай носа, сукин ты сын!

— Эй! — голос Стоуна.

— Это ты?! — на всю вселенную заорал Холлис.

Стоун — один из всех — настоящий друг!

— Меня занесло в метеоритный рой, тут куча мелких астероидов.

— Что за метеориты?

— Думаю, это группа Мирмидонян; они проходят мимо Марса к Земле раз в пять лет. Я угодил в самую серединку. Это вроде большого калейдоскопа. Металлические осколки всех цветов, самой разной формы и величины. Ох, и красота же!

Молчание. Нотом опять голос Стоуна:

— Лечу с ними. Они меня утащили. Ах, черт меня подери!

Он засмеялся.

Холлис напрягал зрение, но так ничего и не увидел. Только огромные алмазы, и сапфиры, и изумрудные туманы, и черный бархат пустоты, и среди хрустальных

искр слышится голое бога. Как странно, поразительно представить себе: вот Стоун летит с метеоритным роем мимо Марса, летит годами, и каждые пять лет возвращается к Земле, мелькает на земном небосклоне и вновь исчезает, и так сотни и миллионы лет — без конца, во веки веков Стоун и рой Мирмидонян будут лететь, образуя все новые и новые узоры, точно пестрые стеклышки в калейдоскопе, которыми любишь в детстве, глядя на солнце и опять и опять встряхивая картонную трубку.

— До скорого, Холлис, — чуть слышно донесся голос Стоуна. — До скорого!

— Счастливо! — за тридцать тысяч миль крикнул Холлис.

— Не оstri, — сказал Стоун и исчез.

Звезды сомкнулись вокруг.

Теперь все голоса угасали, каждый уносился все дальше по своей кривой — одни к Марсу, другие за пределы солнечной системы. А он, Холлис... Он поглядел себе под ноги. Из всех только он один возвращался на Землю.

— До скорого!

— Не расстраивайся!

— До скорого, Холлис, — голос Эплгейта.

Еще и еще прощанья. Короткие, без лишних слов. И вот огромный мозг, не замкнутый больше в стенках одного черепа, распадается на части. Все они так слаженно, с таким блеском работали, пока их объединяла черепная коробка ракеты, которая пронизывала пространство, а теперь один за другим они умирают; разрушается смысл их общего бытия. И как живой организм погибает, едва выйдет из строя мозг, так теперь погибал самый дух корабля, и долгие дни, прожитые вместе, и все, что люди значили друг для друга. Эплгейт теперь все равно что оторванный от тела палец, уже незачем его презирать, сопротивляться ему. Мозг взорвался — и бессмысленные, бесполезные обломки его разлетелись во все стороны. Голоса замерли, и вот нустота нема. Холлис один, он падает.

Каждый остался один. Голоса их сгинули, словно бог обронил несколько слов — и недолгое эхо дрогнуло и затерялось в звездной бездне. Вот капитан носится к Луне; вот Стоун среди роя метеоритов; а там Стимсон; а там Эплгейт уносится к Плутону; и Смит, Тернер, Андервуд, и все остальные — стеклышки калейдоскопа, они так долго складывались в переменчивый мыслящий узор, а теперь их раскидало всех врозь, поодиночке.

А я? — думал Холлис. Что мне делать? Как, чем теперь искупить эту ужасную, пустую жизнь? Если б хоть одним добрым делом возместить свою подлость, она столько лет копилаась во мне, а я и не подозревал! Но теперь никого рядом нет, я один, а что можно сделать хорошего, когда ты совсем один? Ничего не сделаешь. А завтра вечером я врежусь в земную атмосферу.

И сгорю, подумал он, и развеюсь пеплом над всеми материками. Вот и польза от меня. Самая малость, а все-таки пепел есть пепел, и он соединится с землей.

Он падал стремительно, точно нуля, точно камешек, точно гирька, спокойный теперь, совершенно спокойный, не ощущая ни печали, ни радости — ничего, только одного ему хотелось: если бы, если бы сделать что-нибудь хорошее теперь, когда все кончено, если б сделать хоть что-то хорошее и знать про себя — я это сделал...

Когда я врежусь в воздух, я вспыхну, как метеор.

— Хотел бы я знать, — сказал он вслух, — увидит меня кто-нибудь?

Маленький мальчик на проселочной дороге поднял голову и закричал:

— Мама, смотри, смотри! Надучая звезда!

Ослепительно яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки над Иллинойсом.

— Загадай желание, — сказала мать. — Загадай скорей желание.

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Днем над долиной брызнул прохладный дождь, смочил кукурузу в полях на косогоре, застучал по соломенной крыше хижины. От дождя вокруг потемнело, но женщина упрямо продолжала растирать кукурузные зерна между двумя плоскими кругами из застывшей лавы. Где-то в сыром сумраке плакал ребенок.

Эрнандо стоял и ждал, пока дождь перестанет и опять можно будет выйти с деревянным плугом в поле. Внизу река, бурля, катила мутно-коричневую воду пополам с песком. Еще одна река — покрытое асфальтом шоссе — застыла недвижно, и лежала пустынная, и влажно блестела. Уже целый час не видно ни одной машины. Необычно и удивительно. За многие годы не было такого часа, чтоб какой-нибудь автомобиль не оставался у обочины и кто-нибудь не окликнул:

— Эй, ты, давай мы тебя сфотографируем!

В одной руке у такого ящичек, который щелкает, в другой — монета.

И если Эрнандо медленно шел к ним с непокрытой головой, оставив шляпу среди ноля, они иногда кричали:

— Нет, нет, надень шляпу!

И махали руками, а на руках так и сверкали всякие золотые штуки — и такие, которые показывают время, и такие, по которым можно признать хозяина, и такие, которые ничего не значат, только поблескивают на солнце, словно паучьи глаза. Тогда он поворачивался и шел за шляпой.

— Что-нибудь неладно, Эрнандо? — услышал он, голос жены.

— Si. Дорога. Что-то стряслось. Что-то худое, зря Дорога так не онустеет.

Легко и неторопливо ступая, он пошел прочь, от дождя сразу промокли плетенные из соломы башмаки на толстой резиновой подошве. Он хорошо помнил, как досталась ему эта резина. Однажды ночью в хижину с маху ворвалось автомобильное колесо, куры так и посыпались в разные стороны. Одинокое колесо, и оно кру-

тилось на лету, как бешеное. Автомобиль, с которого оно сорвалось, помчался дальше, до поворота, на мгновение повис в воздухе, сверкая фарами, и рухнул в реку. Он и сейчас там. В погожий день, когда река течет тихо и ил оседает, его видно под водой. Он лежит глубоко на дне — длинная, низкая, очень богатая машина — и слепит металлическим блеском. А потом поднимется ил, вода замутится — и опять ничего не видно.

На другой день Эрнандо вырезал себе из резиновой шины подметки.

Сейчас он вышел на шоссе, и стоял, и слушал, как тихонько звенит под дождем асфальт.

И вдруг, словно кто-то подал им знак, появились машины. Сотни машин, многие мили машин, они мчались и мчались — всё мимо, мимо. Большие длинные черные машины с ревом бешено неслись на север, к Соединенным Штатам, не сбавляя скорости на поворотах, и гудели и сигналили без умолку. Во всех машинах было полно народу, и на всех лицах — что-то такое, отчего у Эрнандо внутри все как-то замерло и затихло. Он отступил на окраину шоссе и смотрел, как машины мчатся мимо. Он считал их, пока не устал. Нятысот, тысяча машин пронеслись мимо него, и во всех лицах было что-то странное. Но они мелькали слишком быстро, и не разобрать было, что же это такое.

Но вот опять стало тихо и пусто. Быстрые длинные низкие автомобили с откинутым верхом исчезли. Затихли вдали последний гудок.

Дорога вновь опустела.

Это было похоже на похороны. Но какие-то дикие, неистовые, уж очень по-сумасшедшему они спешили всё на север, на север, на какое-то неведомое мрачное торжество. Ночему? Эрнандо покачал головой и в раздумье отер ладони о штаны.

И тут появился одинокий последний автомобиль. Ночему-то сразу было видно, что он самый, самый последний. Это был старый-престарый «форд», он снустился по горной дороге, под холодным редким дождем, весь окутанный клубами пара. Он торопился изо всех своих сил. Казалось, того и гляди развалится на куски.

Завидев Эрнандо, дряхлая машина остановилась — она была ржавая, вся в грязи, радиатор сердито ворчал и шипел.

— Ножалуйста, сеньор, нет ли у вас воды?

За рулем сидел молодой человек лет двадцати в желтом свитере, белой рубашке с открытым воротом и в серых штанах. Дождь заливал открытую машину, молодой водитель весь вымок, вымокли и пассажирки — их было пять, они сидели в «фордике» так тесно, что не могли пошевелиться. Все они были очень хорошенькие и старались укрыться от дождя и укрыть водителя старыми газетами. Но то была плохая защита, яркие платья девушек и одежда молодого человека промокли насквозь. И мокрые волосы его прилипли ко лбу. Но никто не обращал внимания на дождь. Никто не жаловался, и это было удивительно. Раньше проезжие всегда жаловались, то им не нравился дождь, то жара, то было слишком поздно, или холодно, или далеко.

Эрнандо кивнул.

— Я принесу воды.

— Ох, пожалуйста, скорее! — воскликнула одна девушка.

Тонкий голосок прозвучал очень испуганно. В нем не слышалось нетерпения, только просьба и страх. И Эрнандо побежал — это впервые он заторопился, когда его попросили проезжие, раньше он всегда только замедлял шаг.

Он вернулся, неся крышку от ступицы, полную воды. Эту крышку тоже подарила ему большая дорога. Однажды она залетела к нему на поле — круглая и сверкающая, точно брошенная монета. Автомобиль, с которого она отлетела, скользнул дальше, вовсе и не заметив, что потерял свой серебряный глаз. С тех пор Эрнандо и его жена пользовались этой крышкой для стирки и стряпни — отличный получился тазик.

Наливая воду в кипящий радиатор, Эраандо поглядел на молодые растерянные лица.

— Спасибо вам, спасибо! — сказала одна из девушек. — Вы я не знаете, как вы нас выручили!

Эрнандо улыбнулся.

— Очень много машин проехало за этот час. И все в одну сторону. На север.

Он вовсе не хотел их задеть или обидеть. Но когда он опять поднял голову, все девушки сидели под дождем и плакали. Горько-горько плакали. А молодой человек пытался их успокоить — возьмет за плечи то одну, то другую и легонько встряхнет, а они прикрывают головы газетами, губы у всех дрожат, глаза закрыты, щеки побледнели, и все плачут — одни тихонько, другие навзрыд.

Эрнандо так и застыл, держа в руках крышку, где еще оставалась вода.

— Я не хотел никого обидеть, сеньор, — промолвил он.

— Это ничего, — отозвался водитель. — А что такое стряслось, сеньор?

— Вы разве не слышали? — молодой человек обернулся, стиснул одной рукой баранку и подался вперед. — Это все-таки случилось.

Лучше бы он ничего не говорил. Все девушки заплакали еще горше, ухватились друг за дружку, забыв про свои газеты, и дождь заструился по их лицам, мешаясь со слезами.

Эрнандо словно одеревенел. Вылил остатки воды в радиатор. Ноглядел на небо — оно было черное, грозное. Ноглядел на реку — она вздулась и шумела. Асфальт под ногами стал какой-то очень жесткий.

Эрнандо подошел к машине сбоку. Молодой человек взял его за руку и вложил в нее песо. Эрнандо вернул монету.

— Нет, — сказал он. — Я не ради денег.

— Спасибо вам, вы такой добрый, — все еще всхлипывая, сказала одна из девушек. — Ох, мама, папа... я хочу домой, хочу домой... мама, папочка...

Подруги обхватили ее за плечи.

— Я ничего не слышал, сеньор, — тихо сказал Эрнандо.

— Война! — крикнул молодой человек во все горло, как будто кругом были глухие. — Вот она — атомная война, конец света!

— Сеньор, сеньор, — сказал Эрнандо.

— Спасибо вам. спасибо, что помогли, — сказал и молодой человек. — Прощайте.

— Прощайте, — сквозь стену дождя сказали девушки; они уже не видели Эрнандо.

Он стоял и смотрел вслед дряхлому «форду», пока тот, дребезжа, снускался в долину. И вот все скрылось из виду — последняя машина, и девушки, и хлопающие на ветру газеты, что они держали над головами.

Еще долго Эрнандо стоял не шевелясь. Ледяные струйки дождя сбегали по его щекам, по пальцам, по домотканым штанам. Он стоял затаив дыхание, весь напрягшись, и ждал.

Он все не сводил глаз с дороги, но она была пуста. «Теперь, пожалуй, она долго не оживет, очень долго», — подумал он.

Дождь перестал. Меж туч проглянуло синее небо. Буря рассеялась за каких-нибудь десять минут, словно чье-то зловонное дыхание. Из чащи потянул душистый ветерок. Слышно было, как легко и вольно течет река. Кустарник ярко зеленел, все дышало свежестью. Эрнандо прошел через поле к своей хижине и поднял плуг. Взялся за рукоятки, поглядел на небо — в вышине уже разгоралось жаркое солнце.

Жена, не переставая молоть кукурузу, окликнула:

— Что случилось, Эрнандо?

— Да так, ничего, — отозвался он.

Направил плуг по борозде и резко крикнул ослу:

— Вперед, бурро!

И, вспахивая тучную землю, они с ослом зашагали по полю; небо над головой все больше прояснялось, чуть поодаль струилась глубокая река.

— »Конец света«, — вспомнил вслух Эрнандо. — Как же так — конец?

ЗАВТРА КОНЕЦ СВЕТА

— Что бы ты делала, если б знала, что завтра настанет конец света?

— Что бы я делала? Ты не шутишь?

— Нет.

— Не знаю. Не думала.

Он налил себе кофе. В сторонке на ковре, при ярком зеленоватом свете ламп «молния», обе девочки что-то строили из кубиков. В гостиной по-вечернему уютно пахло только что сваренным кофе.

— Что ж, пора об этом подумать, — сказал он.

— Ты серьезно?

Он кивнул.

— Война?

Он покачал головой.

— Атомная бомба? Или водородная?

— Нет.

— Бактериологическая война?

— Да нет, ничего такого, — сказал он, помешивая ложечкой кофе. — Просто, как бы это сказать, пришло время поставить точку.

— Что-то я не пойму.

— Но правде говоря, я и сам не понимаю; просто такое у меня чувство. Минутами я пугаюсь, а в другие минуты мне ничуть не страшно и совсем спокойно на душе. — Он взглянул на девочек, их золотистые волосы блестели в свете лампы. — Я тебе сперва не говорил. Это случилось дня четыре назад.

— Что?

— Мне приснился сон. Что скоро все кончится, так сказал голос; какой-то совсем незнакомый, иросто голос, и он сказал, что у нас на Земле всему придет конец. Наутро я про это почти забыл, пошел на службу, а потом вдруг вижу — Стэн Уиллис среди бела дня устался в окно; я говорю: о чем это ты замечтался, Стэн? А он отвечает: мне сегодня снился сон, — и не успел он договорить, а я уже понял, что за сон. Я и сам мог ему рассказать, но Стэн стал рассказывать первым, а я слушал.

— Тот самый сон?

— Тот самый. Я сказал Стэну, что и мне тоже это снилось. Он вроде не удивился. Даже как-то успокоился. А потом мы обошли всю контору, и это было очень странно, черт возьми. Это получилось само собой. Мы не говорили: пойдём поглядим, как и что. Просто пошли и видим — кто разглядывает свой стол, кто — руки, кто в окно смотрит. Кое с кем я поговорил. И Стэн тоже.

— И всем приснился тот же сон?

— Всем до единого. В точности то же самое.

— И ты в него веришь?

— Верю. В жизни ни в чем не был так уверен.

— И когда же это будет? Когда все кончится?

— Для нас — сегодня ночью, в каком часу, не знаю, а потом и в других частях света, когда там настанет ночь, — земля-то вертится. За сутки все кончится.

Они посидели немного, ко притрагиваясь к кофе. Нотом медленно выпили его, глядя друг на друга.

— Чем же мы это заслужили? — сказала она.

— Не в том дело, заслужили или нет; просто ничего не вышло. Я смотрю, ты и спорить не стала. Ночему это?

— Наверно, есть причина.

— Та самая, что у всех наших в конторе? Она медленно кивнула.

— Я не хотела тебе говорить. Это случилось сегодня ночью. И весь день женщины в нашем квартале об этом толковали. Им снился этот сон. Я думала, это просто совпадение. — Она взяла со стола вечернюю газету. — Тут ничего не сказано.

— Все и так знают.

Он выпрямился, испытующе посмотрел на жену.

— Боишься?

— Нет. Я всегда думала, что мне будет страшно, а оказывается — не боюсь.

— А нам вечно твердят про чувство самосохранения — что же оно молчит?

— Не знаю. Когда понимаешь, что все и правильно, не станешь выходить из себя. А тут все правильно. Если подумать, как мы жили, этим должно было кончиться.

— Разве мы были такие уж плохие?

— Пет, но и не очень-то хорошие. Паверно, в этом вся беда — в нас ничего особенного не было, просто мы оставались сами собой, а ведь очень многие в мире совсем озверели и творили невесть что.

В гостинной смеялись девочки.

— Мне всегда казалось: вот придет этот час, и все с воплями выбегут на улицу.

— А по-моему, нет. Что ж вопить, когда изменить ничего нельзя.

— Знаешь, мне только и жаль расставаться с тобой и с девочками. Я никогда не любил городскую жизнь и свою работу, вообще ничего не любил, только вас троих. И ни о чем я не пожалею, разве что неплохо бы увидеть еще хоть один погожий денек, да выпить глоток холодной воды в жару, да вздремнуть. Странно, как мы можем вот так сидеть и говорить об этом?

— Так ведь все равно ничего не поделаешь.

— Да, верно; если б можно было, мы что-нибудь бы делали. Я думаю, это первый случай в истории — сегодня каждый в точности знает, что с ним будет ночью.

— А интересно, что все станут делать сейчас, вечером, в ближайшие часы.

— Пойдут в кино, послушают радио, посмотрят телевизор, уложат детишек спать и сами лягут — все, как всегда.

— Пожалуй, этим можно гордиться — что все, как всегда.

Минуту они сидели молча, потом он налил себе еще кофе.

— Как ты думаешь, почему именно сегодня?

— Потому.

— А почему не в другой какой-нибудь день, в прошлом веке, или пятьсот лет назад, или тысячу?

— Может быть, потому, что еще никогда не бывало такого дня — девятнадцатого октября тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, а теперь он настал, вот и все; потому, что в этот год во всем мире все обстоит так, а не иначе, — вот потому и настал конец.

— Сегодня по обе стороны океана готовы к вылету бомбардировщики, и они никогда уже не приземлятся.

— Вот отчасти и поэтому.

— Что ж, — сказал он, вставая. — Чем будем заниматься? Вымоем посуду?

Они перемыли посуду и аккуратней обычного ее убрали. В половине девятого уложили девочек, поцеловали их на ночь, зажгли по ночнику у кроваток и вышли, оставив дверь спальни чуточку приоткрытой.

— Пе знаю... — сказал муж, выходя, оглянулся и остановился с трубкой в руке.

— О чем ты?

— Закрыть дверь плотно или оставить щелку, чтоб было светлее...

— А может быть, дети знают?

— Пет, конечно, нет.

Они сидели и читали газеты, и разговаривали, и слушали музыку по радио, а потом просто сидели у камина, глядя на раскаленные уголья, и часы пробили половину одиннадцатого, потом одиннадцать, потом половину двенадцатого. И они думали обо всех людях на свете, о том, кто как проводит этот вечер — каждый по-своему.

— Что ж, — сказал он наконец. И поцеловал жену долгим поцелуем.

— Все-таки нам было хорошо друг с другом.

— Тебе хочется плакать? — спросил он.

— Пожалуй, нет.

Они прошли по всему дому и погасили свет. В спальне разделись не зажигая огня, в прохладной темноте, и откинули одеяла.

— Как приятно, простыни такие свежие.

— Я устала.

— Мы все устали.

Они легли.

— Одну минуту, — сказала она.

Он слышал, как она поднялась и вышла на кухню. Через минуту она вернулась.

— Забыла привернуть кран. — сказала она.

Что-то в этом было очень забавное, он невольно засмеялся.

Она тоже посмеялась — и в самом деле, забавно! Потом они перестали смеяться и лежали рядом в прохладной постели, держась за руки, щекой к щеке.

— Спокойной ночи, — сказал он еще через минуту.

— Спокойной ночи.

В первый же вечер любовались фейерверком — пожалуй, эта пальба могла бы и напугать, напомнить вещи не столь безобидные, но уж очень красивое оказалось зрелище — огненные ракеты взмывали в древнее ласковое небо Мексики и рассыпались слепящими голубоватыми звездами. И все было чудесно, в воздухе смешалось дыхание жизни и смерти, запах дождя и пыли, из церкви тянуло ладаном, от эстрады — медью духового оркестра, выведившего протяжную мелодию «Голубки». Церковные двери были распахнуты настежь, и казалось, внутри пылают по стенам гигантские золотые созвездия, упавшие с октябрьских небес: ярко горели и курились тысячи и тысячи свечей. Пад площадью, выложенной прохладными каменными плитами, опять и опять вспыхивал фейерверк, раз от разу удивительней, словно пробегали невиданные кометы-канатоходцы, ударялись о глинобитные стены кафе, взлетали на огненных нитях выше колокольни, где мелькали босые мальчишечьи ноги — мальчишки подскакивали, приплясывали и без устали раскачивали исполинские колокола, и все окрест гудело и звенело. По площади метался огненный бык, преследуя смеющихся взрослых и радостно визжащих детишек.

— Тысяча девятьсот тридцать восьмой, — с улыбкой сказал Уильям Трейвис. — Хороший год.

Они с женой стояли чуть в сторонке, не смешиваясь с крикливой, шумной толпой.

Бык внезапно кинулся прямо на них. Схватившись за руки, низко пригнувшись, они с хохотом побежали прочь мимо церкви и эстрады, среди оглушительной музыки, шума и гама, под огненным дождем, под яркими звездами. Бык промчался мимо — хитроумное сооружение из бамбука, брызжащее пороховыми искрами, его легко нес на плечах быстроногий мексиканец.

— Пикогда в жизни так не веселилась! — Сьюзен Трейвис остановилась перевести дух.

— Забавно, — сказал Уильям.

— Это будет долго-долго, правда?

— Всю ночь.

— Пет, я про нате нутешествие.

Уильям сдвинул брови и похлопал себя по карману на груди.

— У меня столько аккредитивов, что хватит на всю жизнь. Знай развлекайся. Пи о чем не думай. Им нас не найти.

— Пикогда?

— Пикогда.

Теперь кто-то, забравшись на колокольню, пускал огромные шутихи, они шипели, и дымили, толпа внизу пугливо шарахалась, шутихи с оглушительным треском рвались под ногами танцующих. Пахло жареными в масле маисовыми лепешками так, что слюнки текли; в переполненных кафе люди, сидя за столиками, поглядывали на улицу, в смуглых руках пенились кружки пива.

Быку пришел конец. Огонь в бамбуковых трубках иссяк, и он испустил дух. Мексиканец снял с плеч легкий каркас. Его тучей облепили мальчишки, каждому хотелось потрогать великолепную голову из папье-маше и самые настоящие рога.

— Пойдем посмотрим быка, — сказал Уильям.

Они проходили мимо входа в кафе, и тут Сьюзен увидела того человека — он был белый, в белоснежном костюме, в голубой рубашке и голубом галстуке, с худощавым загорелым лицом. Волосы прямые, светлые, глаза голубые. Он в упор смотрел на них с Уильямом.

Она бы его и не заметила, если б у его локтя не выстроилась целая батарея бутылок: пузатая бутылка мятного ликера, прозрачная бутылка вермута, графинчик коньяка и еще какие-то, и под рукой — десяток неполных рюмок; неотрывно глядя на улицу, он потягивал то из одной рюмки, то из другой и порою жмурился от удовольствия и, смакуя, плотно сжимал тонкие губы. В другой руке у него дымилась тонкая гаванская сигара, и рядом на стуле лежало десятка два пачек турецких папирос, шесть ящиков сигар и несколько флаконов одеколona.

— Билл... — шепнула Сьюзен.

— Спокойно, — сказал муж. — Это не то.

— Я видела его утром на площади.

— Идем, не оглядываясь. Давай осматривать этого быка. Вот так, теперь спрашивай.

— По-твоему, он Сыщик?

— Они не локти нас выследить!

— А вдруг?

— Отличный бык! — сказал Уильям владельцу сооружения из папье-маше.

— Пеужели он гнался за нами по пятам через двести лет?

— Осторожней, ради бога, — сказал Уильям.

Сьюзен пошатнулась. Он крепко сжал ее локоть и повел прочь.

— Держись, — он улыбнулся: не следовало привлекать внимания. — Сейчас тебе станет лучше. Давай пойдем туда, в кафе, и выпьем у него перед носом, тогда, если он и правда то, что мы думаем, он ничего не заподозрит.

— Пет, не могу.

— Падо. Идем. Вот я и говорю Дэвиду — что за чепуха! — Последние слова он произнес в полный голос, когда они уже поднимались на веранду кафе.

«Мы здесь, — думала Сьюзен. — Кто мы? Куда идем? Чего боимся? Пачнем с самого начала, — говорила она себе, ступая по глинобитному иолу. — Только бы не потерять рассудок.

Меня зовут Энн Кристен, моего мужа — Роджер. Мы из две тысячи сто пятьдесят пятого года. Мы жили в страшном мире. Он был точно огромный черный корабль, он покинул берега разума и цивилизации и мчался во тьму, трубя в черный рог, и уносил с собою два миллиарда людей, не спрашивая, хотят они этого или нет, к гибели, за грань суши и моря, в пропасть радиоактивного пламени и безумия».

Они вошли в кафе. Тот человек не сводил с них глаз.

Где-то зазвонил телефон.

Сьюзен вздрогнула. Ей вспомнилось, как звонил телефон в Будущем, через двести лет, в голубое апрельское утро 2155 года, — и она сняла трубку.

— Энн, это я, Рене! — раздалось тогда в трубке. — Слыхала? Про Бюро путешествий во времени слыхала? Можно ехать, куда хочешь — в Рим за двести лет до рождения Христова, к Паполеону под Ватерлоо. В любой век и в любое место!

— Ты шутишь, Рене.

— И не думаю. Клинтон Смит сегодня утром отправился в Филадельфию, в тысяча семьсот семьдесят шестой. Это Бюро все может. Деньги, конечно, бешеные. По ты только подумай — увидеть своими глазами пожар Рима! И Моисея и Красное море! Проверь почту, наверно, и тебе уже прислали рекламку.

Она открыла пневматичку и вытащила рекламное объявление на тонком листе фольги:

РИМ И СЕМЕЙСТВО БОРДЖИЛ!

БРАТЬЯ РАЙТ ПА «КИТТИ ХОК»!

Бюро путешествий во времени обеспечит вас костюмами любой эпохи, перенесет в толпу очевидцев убийства Линкольна или Цезаря! Мы обучим вас любому языку, вы сможете освоиться в какой угодно стране, в каком угодно году. Латынь, греческий, разговорный древнеамериканский — на выбор. Путешествие во времени — лучший отдых!

В трубке все еще жужжал голос Рене:

— Мы с Томом завтра отправляемся в тысяча четверста девяносто второй. Ему обещали место на корабле Колумба. Ужасно интересно, правда?

— Да, — пробормотала ошеломленная Энн. — А правительство как относится к этому Бюро с Машиной времени?

— Пу, полиция за ними присматривает. А то люди станут удирать от воинской повинности в Прошлое. Па время поездки каждый обязан передать властям свой дом и все имущество в залог, что вернется. Не забудь, у нас война.

— Да, конечно, — повторила Энн. — Война.

Она стояла с телефонной трубкой в руках и думала — вот он, счастливый случай, о котором мы с мужем

думали и мечтали столько лет! Пам совсем не нравится, как устроен мир в две тысячи сто пятьдесят пятом. Ему опостылело делать бомбы на заводе, мне — разводить в лаборатории смертоносных микробов, мы бы рады бежать от всего этого. Может быть, вот так нам удастся ускользнуть в глубь веков, в дебри прошлых лет, там нас никогда не разыщут, не вернут в этот мир, где жгут наши книги, обыскивают мысли, держат нас в вечном испепеляющем страхе, командуют каждым нашим шагом, орут на нас по радио...

Они были в Мексике в 1938 году.

Сьюзен смотрела на размалеванную стену кафе.

Тем, кто хорошо работал на Государство Будущего, разрешалось во время отпуска рассеяться и отдохнуть в Прошлом. И вот они с мужем отправились в 1938 год, сняли комнату в Пью-Йорке, ходили по театрам, любовались на зеленую статую Свободы, которая все еще стояла в порту. А на третий день переменили одежду и имена и сбежали в Мексику!

— Конечно, это он, — прошептала Сьюзен, глядя на незнакомца за столиком. — Смотри, папиросы, сигары, бутылки. Они выдают его с головой. Помнишь наш первый вечер в Прошлом?

Месяц назад, перед тем как удрать, они провели свой первый вечер в Пью-Йорке, наслаждаясь непривычными яствами, купили уйму духов, перепробовали десятки марок сигарет — ведь в Будущем почти ничего нет, там все пожирает война. И они делали глупость за глупостью, бегали по магазинам, барам, табачным лавчонкам и возвращались к себе в номер в блаженном одурении, еле живые.

И этот незнакомец ведет себя ничуть не умнее, так может поступать только человек из Будущего, за долгие годы стосковавшийся по вину и табаку.

Сьюзен и Уильям сели за столик и спросили вина.

Познакомец так и сверлил их взглядом — как они одеты, как причесаны, какие на них драгоценности, их

походка и движения — ничто, видно, не ускользало от него.

— Сиди спокойно, — одними губами шепнул Уильям. — Держись так, будто ты в этом платье и родилась.

— Папрасно мы все это затеяли.

— О господи, — сказал Уильям, — он идет сюда.

Ты молчи, я сам с ним поговорю.

Пезнакомец подошел и поклонился. Чуть слышно шелкнули каблукы. Сьюзен окаменела. Ох уж это истинно солдатское шелканье, его ни с чем не спутаешь, как и резкий, ненавистный стук в дверь среди ночи.

— Мистер Роджер Кристен, — сказал незнакомец, — вы не подтянули брюки, когда сажались.

Уильям похолодел. Онустил глаза — руки его лежали на коленях, как ни в чем не бывало. У Сьюзен неистово колотилось сердце.

— Вы обознались, — поспешно сказал Уильям. — Моя фамилия не Крислер.

— Кристен, — поправил незнакомец.

— Меня зовут Уильям Трейвис, — сказал Уильям. — И я не понимаю, какое вам дело до моих брюк.

— Виноват, — незнакомец придвинул себе стул. — Скажем так: я вас узнал именно потому, что вы НЕ подтянули брюки. А все подтягивают. Если не подтягивать, они быстро вздуваются на коленях нузырями. Я заехал очень далеко от дома, мистер... Трейвис, и ищу, кто бы составил мне компанию. Моя фамилия Симс.

— Сочувствуем вам, мистер Симс, одному, конечно, скучно, но мы устали. Завтра мы уезжаем в Акапулько.

— Премилое местечко. Я как раз оттуда, разыскивал там друзей. Они где-то поблизости. Я их непременно отыщу... вашей супруге дурно?

— Спокойной ночи, мистер Симс.

Они пошли к выходу. Уильям крепко держал Сьюзен под руку. Симс крикнул вдогонку:

— Да, вот еще что...

Они не обернулись. Он чуть помедлил и отчетливо, раздельно произнес:

— Год две тысячи сто пятьдесят пятый.

Сьюзен закрыла глаза, земля уходила из-под ног. Как слепая она вышла на сверкающую огнями площадь.

Они заперлись у себя в номере. И вот они стоят в темноте, и она плачет, и кажется, вот-вот на них обвалятся стены. А вдалеке с треском вспыхивает фейерверк, и с площади доносятся взрывы смеха.

— Такая наглость! — сказал Уильям. — Сидит и дымит сигаретами, черт бы его побрал, хлещет коньяк и оглядывает нас с головы до пят, как скотину. Падо было мне пристукнуть его на месте! — голос Уильяма дрожал и срывался. — У него даже хватило нахальства сказать свое настоящее имя! Печальник Сыскного бюро. И эта дурацкая история с брюками. Ох, господи, и почему я их не подтянул, когда садился. Для этой эпохи самый обычный жест, все делают это машинально. А я сел не так, как все, и он сразу насторожился: ага, человек не умеет обращаться с брюками! Видно, привык к военной форме или к полувоенной, как полагается в Будущем. Убить меня мало, я же выдал нас с головой!

— Пет, нет, во всем виновата моя походка... эти высокие каблуки... И наши прически, стрижка... видно, что мы только-только от парикмахера. Мы такие неловкие, держимся неестественно, это бросается в глаза.

Уильям зажег свет.

— Он пока нас испытывает. Он еще не уверен... не совсем уверен. Значит, нельзя просто удрать. Тогда он будет знать наверняка. Мы преспокойно поедем в Акапулько.

— А может, он и так знает, просто забавляется, как кошка с мышью.

— С него станется. Время в его власти. Он может околачиваться здесь сколько душе угодно, а потом доставит нас в Будущее ровным счетом через минуту после того, как мы оттуда отбыли. Он может держать нас в неизвестности много дней и насмехаться над нами.

Сьюзен сидела на постели, вдыхая запах древесного угля и ладана — запах старины — и утирала слезы.

— Они не поднимут скандала, как по-твоему?

— Пе посмеют. Чтобы впихнуть нас в Машину времени и отправить обратно, им нужно застать нас одних.

— Так вот же выход, — сказала Сьюзен. — Не будем оставаться одни, будем всегда на людях. Заведем кучу друзей и знакомых, и в каждом городе, куда ни приедем, будем обращаться к властям и платить начальнику полиции, чтоб нас охраняли, а потом придумаем, как избавиться от Симса — убьем его, переоденемся по-другому, хотя бы мексиканцами, и скроемся.

В коридоре слышались шаги.

Они погасили свет и молча разделись. Шаги затихли вдали. Где-то хлопнула дверь.

Сьюзен стояла в темноте у окна и смотрела на площадь.

— Значит, вон то здание — церковь?

— Да.

— Я часто думала, какие они были — церкви. Их давным-давно никто не видал. Может, пойдем завтра, посмотрим?

— Конечно, пойдем. Ложись-ка.

Они легли, в комнате было темно.

Через полчаса зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказала Сьюзен.

И голос в трубке произнес:

— Сколько бы мыши ни прятались, кошка все равно их изловит.

Сьюзен опустила трубку и, вся похолодев, вытянулась на постели.

За стеной, в году тысяча девятьсот тридцать восьмом, кто-то играл на гитаре — одну песенку, другую, третью...

Почью, протянув руку, она едва не коснулась года две тысячи сто пятьдесят пятого. Пальцы ее скользили по холодным волнам времени, словно по рифленому железу, она слышала мерный топот марширующих ног, миллионы оркестров ревели военные марши; перед глазами протянулись тысячи и тысячи сверкающих пробирок с болезнетворными микробами, она брала их в руки одну за другой — с ними она работала на гигантской фабрике Будущего; в пробирках притаились проказа,

чума, брюшной тиф, туберкулез; а потом раздался оглушительный взрыв. Па глазах у Сьюзен рука ее обуглилась и съежилась, ее отбросило чудовищным толчком, весь мир взлетел в воздух и рухнул, здания рассыпались в прах, люди истекли кровью и застыли. Исполинские вулканы, машины, вихри и лавины — все смолкло, и Сьюзен, всхлипывая, очнулась в постели в Мексике, за много лет до этой страшной минуты...

В конце концов им удалось забыться сном на час, не больше, а ни свет ни заря их разбудили скрежет автомобильных тормозов и гудки. Из-за железной решетки балкона Сьюзен выглянула на улицу — там только что остановились несколько легковых и грузовых машин с какими-то красными надписями, из них с шумом и гамом высыпали восемь человек. Вокруг собралась толпа мексиканцев.

— Que pasa? * — крикнула Сьюзен какому-то мальчонке.

Он покричал ей в ответ. Сьюзен обернулась к мужу:

— Это американцы, они снимают здесь кинофильм.

— Любопытно, — откликнулся Уильям (он стоял под душем). — Давай посмотрим. По-моему, нам не стоит сегодня уезжать. Попробуем усыпить подозрения Симса. И поглядим, как делают картины. Говорят, в старину это было любопытное зрелище. Пам не худо бы немного отвлечься.

Отвлекись попробуй, подумала Сьюзен. При ярком свете солнца она на минуту совсем забыла, что где-то тут, в гостинице, сидит некто и курит несчетное множество сигарет и ждет. Глядя сверху на этих веселых, громогласных американцев, она чуть не закричала: «Помогите! Спрячьте меня, спасите! Перекрасьте мне глаза и волосы, переоденьте как-нибудь. Помогите же, я — из две тысячи сто пятьдесят пятого года!»

По нет, не крикнешь. Фирмой нутешествий во времени заправляют не дураки. Прежде чем отправить человека в нуть, они устанавливают у него в мозгу психи-

* Что происходит? (исп.).

ческую блокаду. Пекому нельзя сказать, где и когда ты на самом деле родился, и никому в Прошлом нельзя открыть «что-либо о Будущем» Прошлого нужно охранять от Будущего, Будущее — от Прошлого. Без такой психической блокады ни одного человека не пустили бы свободно странствовать по столетиям. Будущее следует оберегать от каких-либо перемен, которые мог бы вызвать тот, кто нутешествует в Прошлом. Как бы страстно Сьюзен этого ни хотела, она все равно не могла сказать веселым людям там, на площади, кто она такая и каково ей сейчас.

— Позавтракаем? — предложил Уильям.

Завтрак подавали в огромной столовой. Всем одно и то же: яичницу с ветчиной. Тут было полно туристов. Появились американцы, приехавшие на киносъемки, их было восемь — шестеро мужчин и две женщины, они пересмеивались, с шумом отодвигали стулья. Сьюзен сидела неподалеку, и ей казалось — рядом с ними тепло и безопасно, она даже не испугалась, когда в столовую, попыхивая турецкой папиросой, сошел мистер Симс. Он издала кивнул им, и Сьюзен кивнула в ответ и улыбнулась: он ничего им не сделает, ведь здесь эти восемь человек из кино да еще десятка два туристов.

— Тут эти актеры, — сказал Уильям. — Может, я попробую нанять двоих, скажу им, что это для забавы — пускай переоденутся в наше платье и укатят в нашей машине, выберем минуту, когда Симс не сможет видеть их лиц. Он часа три будет гоняться за ними, а мы тем временем сбежим в Мехико-сити. Там ему нас вовек не отыскать!

— Эй!

К ним наклонился толстяк, от него пахло вином.

— Да это американские туристы! — закричал он. — Ух, как я рад, на мексиканцев мне уже смотреть тошно! — Он крепко пожал им обоим руки. — Идемте позавтракаем все вместе. Злосчастье любит большое общество. Я — Злосчастье, вот мисс Скорбь, а это мистер и миссис Терпеть-не-можем-Мексику. Все мы ее терпеть не можем. По мы тут делаем первые наброски для нашего треклятого фильма. Остальные приезжают завтра. Меня

зовут Джо Мелтон. Я — режиссер. Пу, не паршивая ли страна! Па улицах всюду похороны, люди мрут, как мухи. Да что же вы? Присоединяйтесь к нам, развеселите нас!

Сьюзен и Уильям смеялись.

— Пеужели я такой забавный? — спросил мистер Мелтон всех вообще и никого в отдельности.

— Просто чудо! — Сьюзен подседа к их компании.

Издали свирепо смотрел Симс.

Сьюзен скорчила ему гримасу.

Симс направился к ним между столиками.

— Мистер и миссис Трейвис, — окликнул он еще издали, — мы, кажется, собирались позавтракать втроем.

— Прошу извинить, — сказал Уильям.

— Подсаживайтесь, приятель, — сказал Мелтон. — Кто им друг, тот и мне приятель.

Симс принял приглашение. Актеры говорили все разом, и под общий говор Симс спросил вполголоса:

— Падеюсь, вы хорошо спали?

— А вы?

— Я не привык к пружинным матрацам, — проворчал Симс. — По кое-чем удается себя вознаградить. Полночи я не спал, перепробовал кучу разных сигарет и всякой еды. Очень странно и увлекательно. Эти старинные грешки позволяют испытать целую гамму новых ощущений.

— Пе понимаю, что вы такое говорите, — сказала Сьюзен.

— Все еще разыгрываете комедию, — усмехнулся Симс. — Бесполезно. Порочная тактика. И толпа вас тоже не спасет. Рано или поздно я поймаю вас без свидетелей. Терпенья у меня достаточно.

— Послушайте, — вмешался багровый от выпитого Мелтон, — этот малый вам, кажется, докучает?

— Пет, ничего.

— Вы только скажите, я его живо отсюда вышвырну.

И Мелтон вновь что-то заорал своим снутникам. А Симс под крики и смех продолжал:

— Итак, о деле. Целый месяц я вас выслеживал, гонялся за вами из города в город, весь вчерашний день

потратил, чтоб вывести вас на чистую воду. Я бы попробовал избавить вас от наказания, но для этого вы без шума пойдете со мной и вернетесь к работе над ультра-водородной бомбой.

— Падо же, за завтраком — об ученых материях! — заметил Мелтон, краем уха уловил последние слова.

— Подумайте об этом, — невозмутимо продолжал Симс. — Вам все равно не ускользнуть. Если вы меня убьете, вас выследят другие.

— Пе понимаю, о чем вы!

— Да бросьте! — обозлился Симс. — Шевельните мозгами. Вы и сами понимаете, мы не можем позволить вам сбежать. Тогда найдутся и еще охотники улизнуть в Прошлое. А нам нужны люди.

— Для ваших войн, — не выдержал Уильям. Билл!

— Пичего, Сьюзен. Будем говорить на его языке. Все уже ясно.

— Превосходно, — сказал Симс. — А то ведь какая потрясающая наивность — удрать от своего прямого долга!

— Какой это долг. Кромешный ужас.

— Вздор. Всего лишь война.

— Про что это вы? — поинтересовался Мелтон.

Сьюзен была бы рада все ему рассказать. По она не могла пойти дальше общих рассуждений. Психическая блокада ничего другого не донускала. Вот и Симс и Уильям сейчас, казалось бы, рассуждали общо и отвлеченно.

— Всего лишь! — говорил Уильям. — Полмира вымирает об бомб, несущих проказу!

— И тем не менее обитатели Будущего на вас в обиде, — возразил Симс. — Вы двое прячетесь, так сказать, на уютном островке в тропиках, а они летят напрямик к черту в зубы. Смерти по вкусу не жизнь, а смерть. Умиравшим приятно, когда они умирают не одни. Все-таки утешение знать, что в пекле и в могиле ты не одинок. Все они обижены на вас обоих, а я — глашатай их обиды.

— Видали такого глашатая обид? — воззвал Мелтон ко всей компании.

— Чем дольше вы заставляете меня ждать, тем хуже для вас. Вы нужны нам для работы над новой бомбой, мистер Трейвис. Вернетесь теперь же — обойдется без пыток. А станете тянуть — мы все равно заставим вас работать над бомбой, а когда кончите, испробуем на вас некоторые сложные и малоприятные новинки. Так-то, сэр.

— Есть предложение, — сказал Уильям. — Я вернусь с вами при условии, что моя жена останется здесь живая и невредимая, подальше от этой войны.

Симс поразмыслил.

— Ладно. Через десять минут ждите меня на площади. Я сяду к вам в машину. Отведете меня за город, в какое-нибудь глухое местечко. Я позабочусь, чтоб там нас подобрала Машина времени.

— Билл! — Сьюзен схватила мужа за руку.

Он оглянулся.

— Пе спорь. Решено. — И прибавил, обращаясь к Симсу: — Еще одно. Минувшей ночью вы могли забраться к нам в номер и утащить нас. Почему вы упустили случай?

— Допустим, я недурно проводил время, — лениво протянул Симс, посасывая очередную сигару. — Такая приятная передышка, южное солнце, экзотика — очень досадно со всем этим расставаться. Жалко отказываться от вина и сигарет. Еще как жалко! Итак, через десять минут на площади. О вашей жене позаботятся, она вольна оставаться здесь, сколько пожелает. Прощайтесь.

Он встал и вышел.

— Скатертью дорога, мистер Болтун! — завопил ему вдогонку Мелтон. Потом обернулся и поглядел на Сьюзен. — Э-э, кто-то плачет! Да разве за завтраком можно плакать? Куда это годится?!

Ровно в четверть десятого Сьюзен стояла на балконе их номера и смотрела вниз, на площадь. Там на бронзовой скамье тонкой работы, закинув ногу на ногу, сидел мистер Симс, складка его брюк была безупречна. Он откусил кончик новой сигары и с чувством закурил.

Сьюзен услышала рокот мотора — в дальнем конце мощенной булыжником улицы из гаража выехал Уильям, машина медленно двинулась вниз по склону холма.

Она набирала скорость. Тридцать миль в час, сорок, пятьдесят. Куры на пути кидались врассыпную.

Симс снял белую панаму, отер платком покрасневший лоб, опять надел панаму — и тут он увидал машину.

Она неслась прямо на площадь со скоростью шестьдесят миль в час.

— Уильям! — вскрикнула Сьюзен.

Машина с грохотом налетела на обочину, подскочила и ринулась по плитам тротуара к позеленевшей от времени скамье. Симс выронил сигару, взвизгнул, отчаянно замахал руками. Удар. Симса подбросило... вверх, вверх... потом вниз, вниз... и тело нелепым узлом тряпья шмякнулось оземь.

Автомобиль остановился в дальнем конце площади, одно переднее колесо было исковеркано. Сбегался народ.

Сьюзен ушла в комнату, плотно затворила балконные двери.

В полдень они рука об руку спустились по ступеням мэрии, оба бледные, в лице ни кровинки.

— Adios, señor, — сказал им вслед мэр города. — Adios, señora.*

Они остановились на площади, толпа все еще глазела на лужу крови.

— Тебя вызовут еще? — спросила Сьюзен.

— Пет, мы все выяснили во всех подробностях. Песчастный случай. Машина вдруг перестала слушаться руля. Я даже всплакнул там у них. Бог свидетель, я должен был хоть как-то отвести душу. Просто не мог сдержаться. Пелегко мне было его убить. В жизни никого не хотел убивать.

— Тебя не будут судить?

* До свиданья, сеньор в сеньора. (исп.).

— Пет, собирались было, но раздумали. Я их убедил. Мне поверили. Это был несчастный случай. И кончено.

— Куда мы поедem? В Мехико-сити? В Уруапан?

— Машина сейчас в ремонте. Ее починят сегодня к четырем. Тогда вырвемся отсюда.

— А за нами не будет погони? По-твоему. Симс был один?

— Пе знаю. Думаю, что у нас есть немного форы. Когда они подходили к своей гостинице, оттуда как раз высыпали актеры. Мелтон, хмуря брови, поспешил навстречу.

— Эй, я уже слышал, что стряслось. Вот неприятность! По теперь все уладилось? Вам бы надо немного развлечься. Мы тут снимаем кое-какие уличные кадры. Хотите поглядеть? Идемте, вам полезно рассеяться.

И они пошли.

Пока устанавливали аппарат, Трейвисы стояли на булыжной мостовой. Сьюзен смотрела вдаль, на сбегающую с горы дорогу, на шоссе, что вело в сторону Акапулько, к морю, мимо пирамид, и развалин, и селений, где лачуги слеплены были из желтой, синей, лиловатой глины и повсюду пламенели цветы буганвилеи, смотрела и думала: Мы будем ездить с места на место, держаться всегда большой компанией, всегда на людях — на базаре, в гостинной, будем подкупать полицейских, чтоб ночевали поблизости, и запираяться на двойные замки, но главное — всегда будем на людях, никогда больше не останемся наедине, и всегда будет страшно, что первый встречный — это еще один Симс. И никогда мы не будем уверены, что сумели провести Сыщиков, сбили их со следа. А там, впереди, в Будущем, только того и ждут, чтоб поймать нас, вернуть, сжечь бомбами, сгноить чудовищными болезнями, ждет полиция, чтобы командовать, как дрессированными собачонками: «Служи! Перекувырнись! Прыгай через обруч!» И нам придется всю жизнь удирать от погони, и никогда уже мы не сможем остановиться, передохнуть, спокойно слазь по ночам.

Собралась толпа поглазеть, как снимают фильм. А Сьюзен пытливо вглядывалась в толпу и в ближние улицы.

— Заметила кого-нибудь подозрительного?

— Пет. Который час?

— Три. Машину, наверно, скоро починят.

Пробные съемки закончились без четверти четыре. Оживленно болтая, все направились к гостинице. Уильям по дороге заглянул и гараж. Вышел он оттуда озабоченный:

— Машина будет готова в шесть.

— По не позже?

— Пет, не волнуйся.

В вестибюле они огляделись по сторонам — нет ли еще одиноких путешественников вроде мистера Симса, только-только от парикмахера, таких, что чересчур благоухают одеколоном и курят папиросу за папирсой, — но тут было нусто. Когда поднимались по лестнице, Мелтон сказал:

— Утомительный выдался денек! Падо бы под занавес опрокинуть стаканчик — согласны? А вы, друзья? Коктейль? Пиво?

— Пожалуй.

Всей оравой ввалились в номер Мелтона, и началась пирушка.

— Следи за временем, — сказал Уильям.

Время, подумала Сьюзен. Если бы у нас было время! Как бы хорошо весь долгий летний день сидеть на площади с закрытыми глазами, и улыбаться оттого, что солнце так славно греет лицо и обнаженные руки, и не шевелиться, и ни о чем не думать, ни о чем не тревожиться. Хорошо бы уснуть под щедрым солнцем Мексики и спать сладко, уютно, беззаботно, день за днем...

Мелтон откупорил бутылку шампанского.

— Ваше здоровье, прекрасная леди! — сказал он Сьюзен, поднимая бокал. — Вы так хороши, это могли бы сниматься в кино — Пожалуй, я даже снял бы вас на пробу.

Сьюзен рассмеялась.

— Пет, я серьезно, — сказал Мелтон. — Вы очаровательны. Пожалуй, я сделаю из вас кинозвезду.

— И возьмете меня в Голливуд? — воскликнула она.

— Уж конечно, вам нечего торчать в этой проклятой Мексике!

Сьюзен мельком взглянула на Уильяма, он приподнял бровь и кивнул. Это значит переменить место, обстановку, манеру одеваться, может быть, даже имя; и нутешествовать в компании, восемь спутников — надежный щит от всякой угрозы из Будущего.

— Звучит очень соблазнительно, — сказала Сьюзен.

Шампанское слегка ударило ей в голову. День проходил незаметно; вокруг болтали, шумели, смеялись Мелтон и компания. Впервые за много лет Сьюзен чувствовала себя в безопасности, ей было так хорошо, так весело, она была счастлива.

— А для какой картины подойдет моя жена? — спросил Уильям, вновь наполняя бокал.

Мелтон окинул Сьюзен оценивающим взглядом. Остальные перестали смеяться и прислушались.

— Пожалуй, я создал бы повесть, полную напряжения, тревоги и неизвестности, — сказал Мелтон. — Повесть о супружеской чете, вот как вы двое.

— Так.

— Возможно, это будет своего рода повесть о войне, — продолжал режиссер, подняв бокал и разглядывая вино на свет.

Сьюзен и Уильям молча ждали.

— Повесть о муже и жене — они живут в скромном домике, на скромной улице, году, скажем, в две тысячи сто пятьдесят пятом, — говорил Мелтон. — Все это, разумеется, приблизительно. По в жизнь этих двоих входит грозная война — ультраводородные бомбы, военная цензура, смерть, и вот — в этом вся соль — они удирают в Прошлое, а за ними по пятам следует человек, который кажется им воплощением зла, а на самом деле лишь стремится пробудить в них сознание долга.

Бокал Уильяма со звоном упал на пол.

— Паша чета, — продолжал Мелтон, — ищет убежища в компании киноактеров, к которым они проник-

лись доверием. Чем больше народу, тем безопаснее, думают они.

Сьюзен без сил поникла на стуле. Все неотрывно смотрели на режиссера. Он отпил еще глоток шампанского.

— Ах, какое вино! Да, так вот. наши супруги, видимо, не понимают, что они необходимы Будущему. Особенно муж, от него зависит создание металла для новой бомбы. Поэтому Сыщики — назовем их хоть так — не жалеют ни сил, ни расходов, лишь бы выследить мужа и жепу, захватить их и доставить домой, а для этого пужно застать их одних, без свидетелей, в номере гостиницы. Тут хитрая стратегия. Сыщики действуют либо в одиночку, либо группами по восемь человек. Не так, так эдак, а они своего добьются. Может получится увлекательнейший фильм, правда, Сьюзен? Правда, Билл? — и он допил вино.

Сьюзен сидела, как каменная, глядя в одну точку.

— Выпейте еще, — предложил Мелтон.

Уильям выхватил револьвер и выстрелил три раза подряд, кто-то из мужчин упал, остальные кинулись на Уильяма. Сьюзен отчаянно закричала. Чья-то рука зажала ей рот. Револьвер валялся на полу, Уильям отбивался, но его уже держали.

Мелтон стоял на прежнем месте, по его пальцам текла кровь.

— Прошу вас, — сказал он, — не усугубляйте своей вины.

Кто-то забарабанил в дверь.

— Откройте!

— Это управляющий, — сухо сказал Мелтон. Вскинул голову и скомандовал своим: — За дело! Быстро!

— Откройте! Я вызову полицию!

Сьюзен и Уильям переглянулись, посмотрели на дверь...

— Управляющий желает войти, — сказал Мелтон. — Быстреей!

Выдвинули аппарат. Из него вырвался голубоватый свет и залил всю комнату. Он ширился, и спутники Мелтона исчезали один за другим.

— Быстрее!

За миг до того, как исчезнуть, Сьюзен взглянула в окно — там была зеленая лужайка, лиловые, желтые, синие, алые стены, струилась, как река, булыжная мостовая; среди опаленных солнцем холмов ехал крестьянин верхом на ослике; мальчик пил апельсиновый сок, и Сьюзен ощутила вкус душистого напитка; в тени дерева стоял человек с гитарой, и Сьюзен ощутила под пальцами струны; вдали виднелось море — синее, ласковое, — и волны подхватили ее и понесли.

И она исчезла. И муж ее исчез.

Дверь распахнулась. В номер ворвались управляющий гостиницей и еще несколько человек.

Комната была пуста.

— Но они только что были тут! Я сам видел, как они пришли, а теперь — никого! — закричал управляющий. — Через окно никто удрать не мог, на окнах железные решетки!

Под вечер пригласили священника, снова открыли комнату, проветрили, и священник окропил все углы святой водой и прочитал молитву.

— А с этим что делать? — спросила горничная.

И показала на стенной шкаф — там теснились 67 бутылок вина: шартрез, коньяк, ликер «сгèте де сасао», абсент, вермут, текилья, а кроме того — 106 пачек турецких папирос и 198 желтых коробок с отличными гаванскими сигарами, по пятьдесят центов штука...

Под открытым окном, будто осеняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса:

— Эттил — трус! Эттил — изменник! Славные сыны Марса летят покорять Землю, а Эттил отсиживается в кустах!

— Болтайте, болтайте, старые ведьмы! — крикнул он.

Голоса стали чуть слышны, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.

— Эттил опозорил своего сына, каково мальчику знать, что отец — трус! — шушукались сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами. — О стыд, о бесчестье!

В дальнем углу комнаты плакала его жена, словно холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.

— Ох, Эттил, как ты можешь?

Эттил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро рассказывала ему вслух интереснейшую историю.

— Я ведь уже пытался объяснить, — сказал он. — Марсу не завоевать Землю, это глупейшая затея, она нас погубит.

В окно ворвался гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камню мостовых, вскинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками.

— Я остаюсь на Марсе и буду читать книгу, — сказал Эттил.

Громкий стук. Тилла отворила дверь. В комнату ворвался тесть Этиллы.

— Что я слышу? Мой зять — предатель?!

— Да, отец.

— Ты не вступаешь в марсианскую армию?

— Нет, отец.

— О чтоб тебя! — Старик побагровел. — Опозиришься навеки. Тебя расстреляют.

— Так стреляйте — и покончим с этим.

— Слыханное ли дело, марсианипу — да не вторгнуться на Землю! Где это слыхано?

— Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай.

— Неслыханно, — зашипели ведьмы под окном.

— Хоть бы ты его вразумил, отец! — сказала Тилла.

— Как же, вразумишь навозную кучу! — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Эттилу. — День на славу, оркестры играют, женщины плачут, детишки радуются, все как нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь тут... О стыд, о бесчестье!

— О стыд, о бесчестье! — всхлиппули голоса в кустах поодаль.

— Вон из моего дома! — вспыхнул Эттил. — Надоела мне эта дурацкая болтовня! Убирайся ты со своими медалями и барабанами!

Он подтолкнул тестя к выходу, жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась — на пороге стоял военный патруль.

— Эттил Врай? — рявкнул чей-то голос.

— Да.

— Вы арестованы!

— Прощай, дорогая моя жена! Иду воевать с этими дураками! — закричал Эттил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу.

— Прощай, прощай, — скрываясь вдаль, эхом отзывались ведьмы.

Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Эттилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холодно светили бесчисленные звезды; всякий раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались враспылку.

— Дураки, — шептал Эттил. — Ах, дураки!

Дверь камеры распахнулась. Вошел человек с чем-то вроде тележки, с краями, навалом груженной книгами. Позади маячила фигура Военного наставника.

— Эттил Врай, отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги. Все эти «Удивительные истории», «Научные рассказы», «Фантастические повести». Объясните.

И он стиснул руку Эттила повыше кисти. Эттил вырвал руку.

— Если вы намерены меня расстрелять — стреляйте. Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с Землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено.

— Как так? — Наставник, нахмурясь, покосился на пожелтевшие от времени журналы.

— Возьмите книжку, — сказал Эттил. — Любую, на выбор. С тысяча девятьсот двадцать девятого — тридцатого и до тысяча девятьсот пятидесятого года по земному календарю в девяти рассказах из десяти речь шла о том, как марсиане вторглись на Землю...

— Ага!... — Военный наставник улыбнулся и кивнул.

— ...а потом потерпели крах, — закончил Эттил.

— Да это измена! Держать у себя такие книги!

— Называйте, как хотите. Но дайте мне сделать кое-какие выводы. Каждое вторжение неизменно кончалось крахом по милости какого-нибудь молодого человека по имени Мин, Рик, Джик или Беннон; как правило, он худощавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан.

— И вы смеете в это верить!

— Что земляне и в самом деле на это способны — не верю. Но поймите, Наставник, у них за плечами традиция, поколение за поколением в детстве зачитывались подобными выдумками. Они просто напичканы книжками об отбитых нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было.

— Ну-у...

— Не было.

— Пожалуй, что так.

— Безусловно, так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой — и погибнем.

— Не понимаю вашей логики. При чем тут старые журналы?

— Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно ни было оно организовано. Книжки, которых они читались в юности, придают им непоколебимую веру в себя, где нам с ними равняться! Мы, марсиане, не так уж уверены в себе; мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы ни бьем в барабаны, как ни трубим в трубы, а дух наш слаб.

— Это измена! Я не желаю слушать! — закричал Военный наставник. — Через десять минут все эти книжонки сожгут, и тебя тоже. Можешь выбирать, Эттил Врай. Либо ты вступишь в Военный легион, либо сгоришь.

— Выбирать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть.

— Эй, люди!

Эттла вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в пять футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя. Через мигу его, Эттила, толкнули в яму.

А в дальнем конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын, большие желтые глаза полны были горечи и страха. Мальчик не шевельнулся, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде.

Эттил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, его опалило дыхание смерти. И только тут Эттил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул:

— Стойте!

Лицо Наставника — в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве — придвинулось ближе.

— Чего тебе?

— Я пойду воевать, — сказал Эттил.

— Хорошо! Отпустите его!

Грубые руки разжались.

Эттил обернулся — сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета — и звезды померкли...

— А теперь мы пожелаем доблестным воинам счастливого пути, — сказал Наставник.

Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных, распаренных солдат. Запрыгали ребята. Среди пестрой толчеи Эттил увидел жену — она плакала от гордости, рядом, молчаливый и торжественный, стоял сын.

Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль. Легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились, отдыхая, солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка. Где-то в клапане засвистел воздух.

— Вперед, к Земле и гибели, — прошептал Эттил.

— Что? — переспросил кто-то.

— Вперед, к славной победе, — скорчив подобающую мишу, сказал Эттил.

Ракета рванулась в небо.

«Бездна, — думал Эттил. — Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим — наша прославленная ракета запылает в небе над землянами, и сердца их исполнятся страхом. Ну, а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына?»

Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно и сердце, и легкие, и мозг, все самое сокровенное, самое важное в твоём существе, без чего нельзя жить и дышать, — все накрепко привязал к родному Марсу — и прыгнул прочь на миллионы миль. А сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. И мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает послед-

ний обед. И легкие еще там, в прохладном, голубом, хмельном воздухе Марса — гибкие, подвижные меха, что жаждут освобождения, и каждая часть тебя, одинокая, оторванная от других, терзается смертной мукой.

Ибо теперь ты — лишь автомат без винтов и гаек, ты — труп, те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и выпотрошили, и все, что было в тебе стоящего, бросили на дно пересохших морей, раскидали по сумрачным холмам. И вот ты — опустошенный, угасший, охладевший, у тебя остались только руки, чтоб нести смерть землянам. Руки — вот и все, что от тебя осталось, подумал он холодно и равнодушно.

Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один, вас много, но другие целы и невредимы, тело и душа у них — одно. А все, что еще живо в тебе, осталось позади и бродят под вечерним ветерком среди пустынных мерей. Здесь же, в ракете, только холодный ком глины, в котором уже нет жизни.

— Штурмовые посты, штурмовые посты, к штурму!

— Готов! Готов! Готов!

— Подъем!

— Встать из сеток! Живо!

Этил повиновался команде. Где-то отдельно, впереди него, двигались его онемевшие руки.

Как быстро все это получилось, думал он. Всего год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши ученые — ведь они наделены потрясающим телепатическим даром — в точности ее скопировали; наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни один земной корабль не побывал на Марсе, и однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли, постигли их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи...

— Орудия к бою!

— Есть!

— Прицел!

— Дистанция?

— Десять тысяч миль!

— Штурм!

Гудящая тишина. Словно в ракете скрыт гигантский улей. Гудят в жужжат крохотные катушки бесчисленных приборов и рычагах, мелькают, вертятся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела, только пот проступает под мышками, на лбу, под остановившимися и словно выцветшими глазами.

— Внимание! Приготовиться!

Изо всех сил держится Эттил — только бы не потерять рассудок! — и ждет, ждет...

Тишина, тишина, тишина. Ожидание.

Ти-и-и-и!

— Что это?

— Радио с Земли!

— Дайте настройку!

— Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают. Дайте настройку!

И-и-иии!

— Вот они! Слушайте!

— Вызываем марсианские военные ракеты!

Тишина затаила дыхание, гуденье улья смолкло и отступило, и в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый голос:

— Говорит Земля! Говорит Уильям Соммерс, президент Объединения американских промышленников!

Эттил стиснул рукоятку своего аппарата, весь подался вперед, зажмурился от нетерпения.

— Добро пожаловать на Землю!

— Что? — закричали в ракете. — Что он сказал?

— Да, да: добро пожаловать на Землю.

— Это обман!

Эттил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос.

— Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас! — радушно сообщил голос. — Мы ждем вас с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена.

— Обман!

— Тс-с, слушайте!

— Много лет тому назад мы, жители Земли, отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать, нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. И мы только просим о милосердии, наши добрые и милостивые завоеватели.

— Этого не может быть! — прошептал кто-то.

— Уж конечно, это обман!

— Итак, добро пожаловать! — закончил представитель Земли мистер Уильям Соммерс. — Опускайтесь, где вам угодно. Земля к вашим услугам, все мы — братья!

Этил засмеялся. Все обернулись и в недоумении уставились на него.

— Он сошел с ума!

А Этил все смеялся, пока его не стукнули.

Маленький толстенький человечек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на пятидесятитысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо.

— Вот они!

— А-ах! — прокатилось по толпе.

— Нет, это просто чайки!

Ропот разочарования.

— Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну, — прошептал толстяк мэр. — Тогда можно было бы разойтись по домам.

— Ш-ш! — остановила его жена.

— Вот они! — загудела толпа.

Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты.

— Все готовы? — мэр беспокойно огляделся.

— Да, сэр, — сказала мисс Калифорния 1965 года.

— Да, — сказала и мисс Америка 1940 года (она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 1966-го — та, как на грех, слегла).

— Ясно, готовы, сэр! — подхватил мистер Крупнейший грейпфрут из долины Сан-Фернандо за 1956 год.

— Оркестр готов?

Оркестранты вскинули свои трубы, точно ружья на изготовку.

— Так точно! Ракеты приземлились.

— Давайте!

Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния» — и сыграл его десять раз подряд.

С двенадцати до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к безмолвным, недоверчивым ракетам.

В час пятнадцать герметические люки ракет открылись.

Оркестр трижды сыграл «О штат золотой!».

Этил и еще полсотни марсиан с оружием на изготовку прыгнули наземь.

Мэр выбежал вперед, в руках у него были ключи от Земли.

Оркестр заиграл «Приходит в город Санта-Клаус», и певческая капелла, нарочно для этого случая доставленная с Лонг Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как «приходят в город марсиане».

Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали.

С часу тридцати до двух пятнадцати мэр повторял свою речь специально для марсиан.

В два тридцать мисс Америка 1940 года вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд.

В два часа тридцать минут и десять секунд оркестр заиграл «Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете», чтобы замаять неловкость, возникшую по вине мисс Америки.

В два тридцать пять мистер Крупнейший грейпфрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов.

В два тридцать семь мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элит» и «Маджестик»; при этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого.

Заиграл оркестр, и пятьдесят тысяч человек запели «Все они славные парни».

В четыре часа торжество закончилось.

Эттил уселся в тени ракеты, с ним были двое его товарищей.

— Так вот она, Земля!

— А я так скажу, всю эту дрянь надо перебить, — заявил один марсианин. — Не верю я этим землянам. Что-то они замышляют. Ну, с чего они так уж нам радуются? — Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало. — Что это они мне сунули? Говорят, образчик. — Он прочел надпись на этикетке: — «БЛИКС. Новейшая Мыльная Стружка».

Вокруг сновала толпа, земляне и марсиане вперемежку, точно на карнавале. Стоял немолчный говор, радужные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами.

Эттил словно околел. Его пуще прежнего била дрожь.

— Неужели вы не чувствуете? — шепнул он. — Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они подстроили нам ловушку.

— А я говорю, их надо перебить — всех до единого!

— Как же убивать тех, кто называет тебя «другом» и «приятелем»? — спросил второй марсианин.

Эттил покачал головой.

— Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно. — Он нацелил мозг на толпу, стараясь нащупать ее настроение. — Да, они и вправду к нам расположены, «на дружеской ноге» — так это у них называется. Это огромное собрание самых обыкновенных людей, они равно благосклонны что к кошкам и собакам, что к марсианам. И все же... все же...

Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания «Пиво Хейгенбека» (город Фресно, штат Калифорния) угощала всех даровым пивом.

Марсиан начало тошнить.

Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно.

Давясь и отплеываясь, Эттил сидел в тени платана.

— Это заговор... гнусный заговор... — стонал он ч судорожно хватался за живот.

— Что вы такое съели? — над ним стоял Военный наставник.

— Что-то непонятное, — простонал Эттил. — У них это называется кукурузные хлопья.

— А еще?

— Еще какой-то ломоть мяса с булкой, и пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом, и ел какую-то рыбу, и штуку, которую они называют пирожное, — вздохнул Эттил, веки его вздрагивали.

Со всех сторон раздавались стоны завоевателей-марсиан.

— Перебить подлых предателей! — слабым голосом выкрикнул кто-то.

— Спокойнее, — остановил Наставник. — Это просто гостеприимство. Они переусердствовали. Вставайте, воины. Идем в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземляются в других городах. Пора приниматься за дело.

Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами.

— Вперед шагом... марш!

Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось, — столбы, бетон, металл плотняные навесы, крыши, толь — все дышало жаром.

Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах.

— Осторожней! — вполголоса предупредил Наставник.

Они проходили мимо салона красоты.

Внутри кто-то украдкой хихикнул.

— Смотрите!

Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз.

— Это заговор, — прошептал Эттил. — Говорю вам, это заговор!

В жарком воздухе тянуло духами, пряные запахи неслись от вентиляторов, что бешено крутились в пещерах, где под электрическими колпаками, точно какие-то морские дива, сидели женщины — волосы у них закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины; глаза то пронизывали, то стекленели, смотрели и тупо и хитро; покрашенные рты алели ярко, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, вползал в зеленые кроны деревьев, исподтишка окутывал изумленных марсиан.

Нервы Эттила не выдержали.

— Ради всего святого! — вдруг закричал он. — Скорее по ракетам — и домой! Эти ужасные твари до нас доберутся! Вы на них только посмотрите! Видите, видите? Вот они, злобные подводные чудища, вот они сидят в своих стылых пещерах в искусственной скале!

— Молчать!

Только посмотрите на них, думал Эттил. Ноги как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры.

Он снова закричал.

— Эй, кто-нибудь заткните ему глотку!

— Они накинута на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами, их жирно намазанные, ярко-красные рты оглушат нас визгом и криком! Они затопят нас потоками пошлости, все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины, а они что-то жужжат, и напевают, и бормочут! Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?

— А почему бы и нет? — раздался голоса.

— Да они изжарят вас, потравят, как кислотой, вы сами себя не узнаете! Вас раздавят, сотрут в порошок, каждый из вас обратится в мужа — и только, в сущест-

во, которое работает и приносит домой деньги, чтоб они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?

— Конечно, черт подери!

Издали долетел голос — высокий, пронзительный женский голос:

— Поглядите на того, посередке — правда, красавчик?

— А марсиане в общем-то ничего. Право слово, мужчины как мужчины, — томно протянул другой голос.

— Эй вы! Ау! Марсиане! Э-эй!

Этил с воплем кипулся бежать...

Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу — как далеко он от дома, как одинок и заброшен! Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел: марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений, — там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам, а рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины, а под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера теней — кинематограф.

— Привет!

Он в ужасе вскинул голову.

Рядом на скамью опустилась женщина, она лениво жевала резинку.

— Не убегай, — сказала она. — Я не кусаюсь.

— Ох! — вырвалось у Этила.

— Сходим в кино? — предложила женщина.

— Нет.

— Пойдем — сказала она. — Все пошли.

— Нет, — повторил Этил. — Разве вы тут, на Земле, только этим и занимаетесь?

— А чего тебе еще? — она подозрительно посмотрела на него округлившимися голубыми глазами. — Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку? Ха-ха! Выдумает тоже!

Эттил смотрел на нее, раскрыв рот, потом спросил:

— А все-таки чем вы еще занимаетесь?

— Катаемся в автомобилях. У тебя автомобиль есть? Непременно заведи себе новый большой «Подлер-шесть» с откидным верхом. Шикарная машина! Уж будь уверен, у кого есть «Подлер-шесть», тот любую девчонку подцепит! — и она подмигнула Эттилу. — У тебя-то денег куча, раз ты с Марса, я уж знаю. Была бы охота, можешь завести себе «Подлер-шесть» — и кати, куда вздумается, я уж знаю.

— Куда, в кино?

— А чем плохо?

— Нет-нет, ничего...

— Знаете что, мистер? Вы рассуждаете, как коммунист! — сказала женщина. — Да, сэр, и такие разговорчики никто терпеть не станет, уж будьте уверены. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули — верно?

— Вот этого я никак не пойму, — сказал Эттил. — Почему вы нас так приняли?

— По доброте душевной, мистер, вот почему! Так и запомните, по доброте душевной! — и она пошла искать себе другого кавалера.

Эттил собрался с духом — надо написать жене; разложив бумагу на коленях, он старательно вывел: «Дорогая Тилла!» Но тут его снова прервали. Над самым ухом кто-то застучал в бубен, пришлось поднять голову — перед ним стояла тщедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком.

— Брат мой! — закричала она, глядя на Эттила горящими глазами. — Обрел ли ты спасение?

Эттил вскочил, уронил перо.

— Что? Опасность?

— Ужасная опасность! — завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горе. — Ты пуждаешься в спасения, брат мой, ты на краю гибели!

— Кажется, вы правы, — дрожа согласился Эттил.

— Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение троим марсианам. Мило, не правда ли? — она широко улыбнулась.

— Пожалуй, что так.

Она впиалась в Эттила пронзительным взглядом. Наклонилась к нему и таинственно зашептала:

— Брат мой, был ли ты окрещен?

— Не знаю, — ответил он тоже шепотом.

— Не знаешь?! — крикнула она и высоко вскинула бубен.

— Это вроде расстрела, да? — спросил Эттил.

— Брат мой, ты погряз во зле и грехе, — сказала старушонка. — Не тебя осуждаю, ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны — вас совсем не учат истине. Вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения.

— И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире? — спросил Эттил.

— Не требуй сразу многого, — возразила она. — Здесь довольствуйся малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда.

— Тот мир я знаю, — сказал Эттил.

— Там покой, — продолжала она.

— Да.

— И тишина.

— Да.

— Там реки текут молоком и медом.

— Да, пожалуй, — согласился Эттил.

— И все смеются и ликуют.

— Я это, как сейчас, вижу, — сказал Эттил.

— Тот мир лучше нашего, — сказала она.

— Куда лучше, — подтвердил он. — Да, Марс — великая планета.

Старушонка так и вскинулась и затрясла бубном у него под самым носом.

— Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?

— Да нет же! — Этилл смутился и растерялся. — Я думал, вы это про...

— Уж, конечно, не про ваш мерзкий Марс! Вот такие, как вы, и будут вечно кипеть в котле и покроются язвами, вам уготованы адские муки...

— Да, признаться, Земля — место мало приятное. Вы очень верно ее описываете.

— Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер! — разъярилась старушонка.

— Нет-нет, прошу прощения. Это я по невежеству.

— Ладно, — сказала она. — Ты язычник, а язычники все невоспитанные. Вот тебе бумага. Приходи завтра вечером по этому адресу и будешь окрещен и обретешь счастье. Мы громко распоеваем, без устали шагаем, и если хочешь услышать наши трубы и барабаны, ты придешь, непременно придешь — да?

— Постараюсь, — неуверенно сказал Этилл.

И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распоевая во все горло: «Счастье мое вечно со мной!»

Изумленный Этилл снова взялся за письмо.

«Дорогая Тилла! Подумай только, я наивно вообразил, будто земляне встретят нас пушками и бомбами. Ничего подобного! Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Беннона, никаких таких молодцов, которые в одиночку спасают всю планету. Вовсе нет.

Тут только и есть что белобрысые розовые роботы с телами из резины; они вполне реальные и все-таки чуточку неправдоподобные, живые, и все-таки говорят и действуют как автоматы, и весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимые, необъятные *desires*. Глаза неподвижные, застывшие — ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей — ведь они непрестанно жуют резинку.

Таковы не отдельные люди, дорогая моя Тилла, такая вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян в гигантскую бетономешалку. От нас ниче-

го не останется. Нас сокрушит не их оружие, но их души. Нас погубит не ракета, но автомобиль...»

Отчаянный вопль. Треск, грохот. И тишина.

Эттил вскочил. За оградой парка на улице столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой — землян. Эттил вернулся к письму.

«Милая, милая Тилла, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на американском континенте, каждый год погибают сорок пять тысяч человек — они превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях. Красный студень, а в нем белые кости, точно нечаянные мысли — смешные и страшные мысли, которые торчат в застывшем желе. Автомобили сплющиваются в этикие аккуратненькие консервные банки, а внутри все перемешалось и все тихо.

Везде на дорогах — кровавое месиво, и на нем жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка — и лица обращаются в карнавальные маски. Есть у них такой праздник — карнавал в день всех святых. Мне кажется, в этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть.

Выглянешь из окна, а там, тесно обнявшись, лежат двое, еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена, всякие колдуньи и жевательная резинка заманят ее в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока еще не поздно, попытаюсь сбежать домой, на Марс.

Тилла моя, где-то на Земле есть некий человек, которому довольно нажать на рычаг — и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не у дел. Заветный рычаг покрывается пылью. А сам он играет в карты.

Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства, они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тилла моя. Пожелай мне удачи, ведь я могу погибнуть при попытке к бегству. Поцелуй за меня сына».

Этилл Врай сложил письмо, немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой.

Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать? Но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь на Марс? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался.

Ясно одно — если остаться на Земле, тобой живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода — и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие, мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что!

Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне — лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня-завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет шесть серебряных ручек!

— Эй, вы!

Взвыла сирена. У тротуара остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунился человек.

— Марсианин?

— Да.

— Вас-то мне и надо. Влезайте, да поживее, вам крупно повезло. Влезайте! Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом!

Ошеломленный Этилл покорно открыл дверцу и сел в машину.

Покатили.

— Что будете пить, Э Вэ? Коктейль? Официант, два манхеттена! Спокойно, Э Вэ. Я угощаю. Я и наша студия. Нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, Э Вэ. Меня зовут Эр Эр Ван Пленк. Может, слышали про такого? Нет? Ну, все равно, руку, приятель.

Он зачем-то помял Этилу руку и сразу ее выпустил. Они сидели в темней пещере, играла музыка, плавно скользили офиштиты. Им принесли два бокала. Все произошло так внезапно. И вот Ван Пленк, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку.

— Итак, Э Вэ, вы мне нужны. У меня есть идея — благороднейшая, лучше не придумаешь! Даже не знаю, как это меня осенило. Сижу сегодня дома — и вдруг — бац! — вот это, думаю, будет фильм! **ВТОРЖЕНИЕ МАРСИАП ПА ЗЕМЛЮ.** А что для этого нужно? Консультант. Пу, сел я в машину, отыскал вас — и вся недолга. Выпьем! За ваше здоровье и за наш успех. Хоп!

— По... — возразил было Этилл.

— Знаю, знаю, ясно, не задаром. Чего-чего, а денег у нас прорва. И еще у меня, при себе такая книжечка, а в ней золотые листочки, могу ссудить.

— Мне не очень нравятся ваши земные растения и...

— Э, да вы шутник! Так вот, как я это мыслю. Сперва шикарная сцена: на Марсе разгораются страсти, огромное сборище, марсиане кричат и бьют в барабаны. В глубине — громадные серебряные города...

— По у нас на Марсе города совсем не такие...

— Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше Эр Эру лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра.

— Мы не пляшем вокруг костров...

— В этом фильме придется вам разжечь костры и плясать, — объявил Ван Пленк и даже зажмурился, гордый своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжал: — Затем нам понадобится марсианка, высокая златокудрая красавица.

— Па Марсе женщины смуглые, с темными волосами и...

— Послушай, Э Вэ, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?

— Этилл.

— Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. Так вот, Джо. Я уж сказал, придется

нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому что потому. А то папочка расстроится. Пу, что скажешь?

— Я думал...

— И еще нам нужна такая сцена, чтоб зрители рыдали — в марсианский корабль угодил метеорит или еще что, словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю ораву от верной смерти. Сногшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить.

Этилл перегнулся к нему через столик в крепко сжал его руку.

— Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить.

— Валяй, Джо, не смущайся.

— Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы все, как один, встречаете нас, точно родных детей после долгой разлуки. Почему?

— Пу и чудачки же вы там, на Марсе! Сразу видно — святая простота. Ты вот что сообрази, Мак. Мы тут люди маленькие, верно?

И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях.

— Мы люди простые, обыкновенные, верно? Так вот, мы, земляне, этим гордимся. Паш век — век Простого Человека, Билл, и мы гордимся, что мы — мелкая сошка. У нас на Земле, друг Билли, все жители сплошь — Сарояны. Этакое огромное многочисленное семейство благодушных Сароянов, и все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, Джо, и мы понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе и завидно, что у нас такие города...

— Паша цивилизация гораздо старше вашей...

— Уж, пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня. Дай я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наших женщин — и милости просим, добро пожаловать, ведь вы — наши братья, вы тоже самые обыкновенные люди.

А кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь: на этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал этот фильм — он нам даст миллиард чистой прибыли, это уж будь покоен. Через неделю мы нустим в продажу куклу-марсианку по тридцать монет Штука. Это тоже, считай, миллионы дохода. И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по пять монет. Да мало ли что еще можно придумать.

— Вот оно что, — сказал Эттил и отодвинулся.

— Пу и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте — и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваку — прорву всего.

— Постойте. Еще один вопрос.

— Валяй.

— Как ваше имя? Что это означает — Эр Эр?

— Ричард Роберт.

Эттил поглядел в потолок.

— А может быть, иногда случайно кто-нибудь зовет вас ...м-м ...Рик?

— Угадал, приятель. Ясно, Рик, как же еще.

Эттил перевел дух и захохотал, и никак не мог остановиться. Ткнул в собеседника пальцем.

— Так вы — Рик? Рик! Стало быть, вы и есть Рик!

— А что тут смешного, сынок? Объясни папочке!

— Вы не поймете... вспомнилась одна история... —

Эттил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу. — Так вы — Рик! Ох, забавно! Пу, совсем не похоже. Пи тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья. Только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом да толстое брюхо!

— Эй, полегче на поворотах, Мак. Может, я и не Аполлон, но...

— Вашу руку, Рик! Давно мечтал познакомиться. Вы — тот самый человек, который завоюет Марс, ведь у вас есть машинки для коктейля, и супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, и клетчатые кепи, и ром.

— Я только скромный предприниматель, — сказал Ван Пленк и потупил глазки. — Я делаю свое дело и получаю толику барыша. По я уже говорил, Джек: я давно подумывал — надо поставлять на Марс игрушки дядюшки Уиггили и комиксы Дика Трейси — там все будет в новинку! Огромный рынок сбыта! Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах, так? Так! Словом, мы вас засыплем всякой всячиной. Паши товары будут нарасхват. Марсиане их просто с руками оторвут, малыш, верно говорю! Еще бы — духи, платья из Парижа, модные комбинезоны — чуешь? И первоклассная обувь.

— Мы ходим босиком.

— Что я слышу? — воззвал Ван Пленк к небесам. — Па Марсе живот одна неотесанная деревенщина? Вот что, Джо, уж это наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится!

— А-а...

Ван Пленк хлопнул Эттила по плечу.

— Стало быть, заметано? Ты — технический директор моего фильма, идет? Для начала получаешь двести долларов в неделю, а там дойдет и до пяти сотен. Что скажешь?

— Меня тошнит, — сказал Эттил. От выпитого коктейля он весь посинел.

— Э, прошу прощенья. Я не знал, что тебя так забереет. Выйдем-ка на воздух.

Па свежем воздухе Эттилу стало полегче.

— Так вот почему Земля нас так встретила? — спросил он и покачнулся.

— Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать, ради доллара всякий расстареется. Покупатель всегда прав. Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в девять утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в одиннадцать, тогда потолкуем. Ровно в девять, смотри не опаздывай. У нас порядок строгий.

— А почему?

— Чудак ты, Галлахер! По ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения!

Автомобиль отъехал.

Эттил поглядел ему вслед, поморгал растерянно. Потом потер лоб ладонью и медленно вошел по улице к стоянке марсиан.

— Как же теперь быть? — вслух спросил он себя.

Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Изидали, из города доносился гул — там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи: с одним молодым марсианином случился тяжкий нервный припадок; судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют, и за ним без конца гонялась от столика к столику какая-то женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал:

— Дышать нечем... заманили, раздавили...

Понемногу всхлипывания затихли. Эттил вышел из густой тени и направился к кораблям, надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке вповалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города смутно долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились еще и другие звуки: приглушенно урчат машинки в барах, готовят солодовый напиток, от которого воины обростут жирком, станут ленивыми и беспамятными; в пещерах кино вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон — от него так уже никогда и не очнешься, не отрезвеешь до конца дней.

Пройдет год — и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней а почках, от высокого кровяного давления? А сколько покончат с собой?

Эттил стоял посреди нустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него.

Перед ним выбор: остаться на Земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, являться по утрам минута в минуту и начать понемногу поддакивать шефу: да, мол, конечно, бывала на Марсе

жестокая резня; да, наши женщины — высокие и белокурые; да, у нас есть разные племена и у каждого свои пляски и жертвоприношения, да, да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс.

— А что будет через год? — сказал он вслух.

Па Марсе откроют Почной Клуб Голубого канала. И Казано Древнего города. Да, в самом сердце марсианского Древнего города устроят игорный притон! И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам, и шумные компании затеют веселье на дедовских могилах — да, не миновать.

По час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилла и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно — дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать — то недолгое время, что еще остается им, пока с неба не свалится неоновое безумие.

А потом, быть может, они с Тиллой найдут убежище в синих горах, будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут Щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться — ах, какой дивный вид!

Он уже точно знал, что скажет Тилле:

— Война — ужасная вещь, но мир подчас может быть куда страшнее.

Он стоял посреди широкой нустынной дороги.

Обернулся — и без малейшего удивления увидел: прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Эти мальчишки и девчонки лет по шестнадцати, не больше, гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону. И указывают на него пальцами и истошно вопят. Мотор ревет все громче. Скорость — шестьдесят миль в час.

Этил кинулся бежать. Машина настигала.

Да, да, устало подумал он. Как странно, как печально... и рев и грохот... точь-в-точь бетономешалка.

Ох, и весело будет! Вот это игра! Сто лет такого не было! Детишки с криком носятся взад и вперед по лужайкам, то схватятся за руки, то бегают кругами, влезают на деревья, хохочут во все горло. В небе пролетают ракеты, по улицам скользят проворные машины, но детвора поглощена игрой. Такая потеха, такой восторг, столько визга и суеты!

Мышка вбежала в дом, чумазая и вся в поту. Для семи лет она была горластая и крепкая и отличалась на редкость твердым характером. Миссис Моррис и оглянуться не успела, а дочь уже с грохотом выдвигала ящики и сыпала в большой мешок кастрюльки и разную утварь.

— О господи, Мышка, что это творится?

— Мы играем! Очень интересно! — запыхавшись, вся красная отозвалась Мышка.

— Посиди минутку, передохни, — посоветовала мать.

— Пе, я не устала. Мам, можно, я все это возьму?

— Только не продырявь кастрюли, — сказала миссис Моррис.

— Спасибо, спасибо! — закричала Мышка и сорвалась с места, как ракета.

— А что у вас за игра? — окликнула мать, глядя ей вслед.

— Вторжение! — на бегу бросила Мышка.

Хлопнула дверь.

По всей улице дети тащили из дому ножи, вилки, консервные ножи, а то и кочергу или кусок старой печной трубы.

Любопытно, что волнение и суматоха охватили только младших. Старшие, начиная лет с десяти, смотрели на все это свысока и уходили гулять подальше или с достоинством играли в прятки и с мелюзгой не связывались.

Тем временем отцы и матери разъезжали взад и вперед в сверкающих хромированных машинах. В дома

приходили мастера — починить вакуумный лифт, наладить подмигивающий телевизор или задуривший продуктопровод. Взрослые мимоходом поглядывали на озабоченное молодое поколение, завидовали неумной энергии разыгравшихся малышей, снисходительно улыбались их буйным забавам и сами, пожалуй, были бы не прочь позабавиться е детишками, да солидному человеку это не пристало...

— Эту, эту и еще эту, — командовала Мышка, и ребята выкладывали перед ней разнокалиберные ложка, штопоры и отвертки.. — Это давал сюда, а это туда. Пе так! Вот сюда, неумеха! Так. Теперь не мешайся, я приделаю эту штуку, — она прикусила кончик языка я озабоченно наморщила лоб. — Вот так. Понятие?

— Ага-а! — завопили ребята.

Подбежал двенадцатилетний Джозеф Коннорс.

— Уходи! — без обиняков заявила Мышка.

— Я хочу с вами играть, — сказал Джозеф.

— Пельзя! — отрезала она.

— Почему это?

— Ты будешь насмехаться.

— Честное слово, не буду.

— Пет уж. Знаем мы тебя. Уходи, а то поколотим.

Подкатил на автоматических коньках еще один двенадцатилетний.

— Эй, Джо! Брось ты этих младенцев. Пошли!

Джозефу явно не хотелось уходить, он повторил не без грусти:

— А я хочу с вами.

— Ты старый, — решительно возразила Мышка.

— Пе такой уж я старый, — резонно сказал Джо.

— Ты только будешь смеяться и испортишь все вторжение.

Мальчик на автоматических коньках громко, презрительно фыркнул.

— Пошли, Джо! Пу их! Все еще в сказки играют!

Джозеф поплелся прочь. И пока не завернул за угол, все оглядывался.

А Мышка опять захлопотала. При помощи своего разномастного инструмента она сооружала непонятный

аппарат. Сунула другой девочке тетрадку и карандаш, и та под ее диктовку выводила какие-то каракули. Жарко грело солнце, голоса девочек то звенели, то затихали.

А вокруг гудел город. Вдоль улиц мирно зеленели деревья. Только ветер не признавал тишины и покоя и все метался по городу, по полям, по всей стране. В тысяче других городов были такие же деревья, и дети, и улицы, и деловые люди в тихих солидных кабинетах что-то говорили в диктофон или следили за экранами телевизоров. Синее небо серебряными иглами прошивали ракеты. Везде и во всем ощущалось спокойное довольство и уверенность, люди привыкли к миру и не сомневались: их больше не ждет никакая беда. На всей земле люди были дружны и едины. Все народы в равной мере владели надежным оружием. Давно уже достигнуто было идеальное равновесие сил. Человечество больше не знало ни предателей, ни несчастных, ни недовольных, а потому не тревожилось о завтрашнем дне. И сейчас полмира купалось в солнечных лучах, и дремала, пригревшись, листва деревьев.

Миссис Моррис выглянула из окна второго этажа.

Дети. Она поглядела на них и покачала головой. Что ж, они с аппетитом поужинают, сладко уснут и в понедельник пойдут в школу. Крепкие, здоровые. Она прислушалась.

Подле розового куста Мышка что-то озабоченно говорит... а кому? Там никого нет.

Станный народ дети. А другая девочка — как бишь ее? Да, Энн, — она усердно выводит каракули в тетрадке. Мышка что-то спрашивает у розового куста, а потом диктует подружке ответ.

— Треугольник, — говорит Мышка.

— А что это — треу... гольник? — с запинкой спрашивает Энн.

— Певажно, — отвечает Мышка.

— А как оно пишется?

— Тэ... рэ... е... — начинает объяснять Мышка, но у нее не хватает терпения. — А, да пиши, как хочешь! — и диктует дальше: — Перекладина.

— Я еще не дописала тре... гольник.

— Скорей, копуха! — кричит Мышка.

Мать высовывается из окна.

— ...у-голь-ник, — диктует она растерявшейся Энн.

— Ой, спасибо, миссис Моррис! — говорит Энн.

— Вот это правильно, — смеется миссис Моррис и возвращается к своим делам: надо включить электромагнитную щетку, чтоб вытянуло пыль в прихожей.

А в знойном воздухе колышутся детские голоса.

— Перекладина, — говорит Энн.

Затишье.

— Четыре, девять, семь. А, потом Бэ, потом Фэ, — деловито диктует издали Мышка. — Потом видка, и веревочка, и шеста... шесту... шестиугольник!

За обедом Мышка залпом проглотила стакан молока и кинулась к двери. Миссис Моррис хлопнула ладонью по столу.

— Сядь сию минуту, — велела она дочери. — Сейчас будет суп.

Она нажала красную кнопку кухарки-автомата, и через десять секунд в резиновом приемнике что-то мягко стукнуло. Миссис Моррис открыла приемник, вынула запечатанную банку с двумя алюминиевыми ручками, мигом вскрыла ее и налила в чашку горячего супу.

Мышка ерзала на стуле.

— Скорей, мам! Тут дело о жизни и смерти, а ты...

— В твои годы я была такая же. Всегда дело о жизни и смерти. Я знаю.

Мышка торопливо глотала суп.

— Ешь помедленнее, — сказала мать.

— Пе могу, меня Дрилл ждет.

— Кто это Дрилл? Странное имя.

— Ты его не знаешь, — сказала Мышка.

— Разве в нашем квартале поселился новый мальчик?

— Еще какой новый, — сказала Мышка, принимаясь за вторую порцию.

— Который же это — Дрилл? Покажи, — сказала мать.

— Он там, — уклончиво ответила Мышка. — Ты будешь смеяться. Все только дразнятся да смеются. Фу, пропасть!

— Что же, этот Дрилл такой застенчивый?

— Да. Пет. Как сказать. Ох, мам, я побегу, а то у нас никакого вторжения не получится.

— А кто куда вторгается?

— Марсиане на Землю. Пет, они не совсем марсиане. Они... ну, не знаю. Вон оттуда, — она ткнула ложкой куда-то вверх.

— И отсюда. — Миссис Моррис легонько тронула разгоряченный лоб дочери.

Мышка возмутилась:

— Смеешься! Ты рада убить и Дрилла и всех!

— Пет-нет, я ничего плохого не хотела сказать. Так этот Дрилл — марсианин?

— Пет. Он... ну, не знаю. С Юпитера, что ли, или с Сатурна, или с Венеры. В общем ему трудно пришлось.

— Могу себе представить! — Мать прикрыла рот ладонью, пряча улыбку.

— Они никак не могли придумать, как бы им напасть на Землю.

— Мы неприступны, — с напускной серьезностью подтвердила мать.

— Вот и Дрилл так говорит! Это самое слово, мам: не-при...

— Ой-ой, какой умный мальчик. Какие взрослые слова знает.

— Пу и вот, мам, они всё не могли придумать, как на нас напасть. Дрилл говорит... он говорит, чтоб хорошо воевать, надо найти новый способ заставить людей врасплох. Тогда непременно победишь. И еще он говорит, надо найти помощников в лагере врага.

— Пятую колонну, — сказала мать.

— Ага. Так Дрилл говорит. А они всё не могли придумать, как заставить Землю врасплох и как найти помощников.

— Пе удивительно. Мы ведь очень сильны, — засмеялась мать, убирая со стола.

Мышка сидела и смотрела в одну точку, словно видела перед собой все, о чем рассказывала.

— А потом в один прекрасный день, — продолжала она театральным шепотом, — они подумали о детях!

— Вот как! — восхитилась миссис Моррис.

— Да, и они подумали: взрослые вечно заняты, они не заглядывают под розовые кусты и не шарят в траве.

— Разве что когда собирают грибы или улиток.

— И потом он говорил что-то такое про мери-мери.

— Мери-мери?

— Ме-ре-няя.

— Измерения?

— Ага! Их четыре штуки! И еще говорил про детей до девяти лет и про воображение. Он ужасно забавно разговаривает.

Миссис Моррис устала от этой болтовни.

— Да, наверно, это очень забавно. По твой Дрилл тебя заждался. Уже поздно, а надо еще умыться перед сном. Так что, если хочешь поспеть с вашим вторжением, беги скорей.

— Пу-у, еще мыться! — заворчала Мышка.

— Обязательно! И почему это все дети боятся воды? Во все времена все дети не любили мыть уши.

— Дрилл говорит, мне больше не надо будет мыться, — сказала Мышка.

— Ах, вот как?

— Он всем ребятам так сказал. Пикакого мытья. И не надо рано ложиться спать, и в субботу можно по телевизору смотреть целых две программы!

— Пу, пускай мистер Дрилл не болтает лишнего. Вот я пойду поговорю с его матерью и...

Мышка пошла к двери.

— И еще есть такие мальчишки — Пит Бритц и Дейд Джеррик, мы с ними ругаемся. Они уже большие. И они над нами насмеваются. Они еще хуже родителей. Даже ее верят в Дрилла. Воображали такие, задаются. Потому что они уже большие. Могли бы быть поумнее. Сами недавно были маленькие. Я их ненавижу хуже всех. Мы их первым делом убьем.

— А нас с папой после?

— Дрилл говорит, вы опасные. Знаешь почему? Потому что вы не верите в марсиан! А они позволят нам править всем миром. Пу, не нам одним, ребятам из соседнего квартала тоже. Я, наверно, буду королевой.

Она отворила дверь.

— Мам!

— Да?

— Что такое лог-ги-ка?

— Логика? Понимаешь, детка, это когда человек умеет разобраться, что верно, а что неверно.

— Дрилл и про это сказал. А что такое впечатительный? — Мышке понадобилась целая минута, чтоб выговорить такое длиннющее слово.

— А это... — мать опустила глаза и тихонько засмеялась. — Это значит — ребенок.

— Спасибо за обед! — Мышка выбежала вон, потом на миг снова заглянула в кухню. — Мам, я уж постараюсь, чтоб тебе было не очень больно, правда-правда!

— И на том спасибо, — сказала мать.

Хлопнула дверь.

В четыре часа зажуужал вызов видеофона. Миссис Моррис нажала кнопку, экран осветился.

— Здравствуй, Элен! — сказала она.

— Здравствуй, Мэри. Как дела в Пью-Йорке?

— Отлично. А в Скрэнтоне? У тебя усталое лицо.

— У тебя тоже. Сама знаешь, дети. Путаются под ногами.

Миссис Моррис вздохнула.

— Вот и Мышка тоже. У них тут свержхвторжение.

Элен рассмеялась:

— У вас тоже малыши в это играют?

— Ох, да. А завтра все помешаются на головоломках и на механических,»классах». Пеужели году в срок восьмом мы тоже были такие несносные?

— Еще хуже. Играли в японцев и нацистов. Пе знаю, как мои родители меня терпели. Ужасным была сорванцом.

— Родители привыкают все пропускать мимо ушей.

Короткое молчание.

— Что случилось, Мэри?

Миссис Моррис стояла, полузакрыв глаза, медленно, задумчиво провела языком по губам. Вопрос Элен заставил ее вздрогнуть.

— А? Пет, ничего. Просто я задумалась обо всем этом. Пасчет того, чтобы пропускать мимо ушей, и вообще. Певажно. О чем это мы говорили?

— Мой Тим прямо влюбился в какого-то мальчишку по имени Дрилл... кажется, так его зовут.

— Паверно, это у них новый пароль. Моя Мышка тоже увлекается этим Дриллом.

— Вот не думала, что это и до Пью-Йорка докатилось. Видно, перекидывается от одного к другому. Какая-то эпидемия. Я тут разговаривала с Джозефиной, она говорит, ее детишки тоже помешались на новой игре, а это ведь Бостон. Всю страну охватило.

В кухню вбежала Мышка выпить воды. Миссис Моррис обернулась.

— Пу, как дела?

— Почти все готово, — ответила Мышка.

— Прекрасно! А это что такое?

— Бумеранг. Смотри!

Это было что-то вроде шарика на пружинке. Мышка кинула шарик, пружинка растянулась до отказа... и шарик исчез.

— Видала? — сказала Мышка. — Хоп! — Она согнула палец крючком, шарик вновь очутился у нее в руке, и она защелкнула пружинку.

— Пу-ка, еще раз, — попросила мать.

— Пе могу. В пять часов вторжение. Пока! — и Мышка вышла, пощелкивая своей игрушкой.

С экрана видеофона засмеялась Элен.

— Мой Тим сегодня утром тоже притащил такой бумеранг, я хотела поглядеть, как он действует, но Тим ни за что не хотел показать. Потом я попробовала сама, но ничего не получилось.

— Ты не вне-ча-тли-тель-ная, — сказала Мэри Моррис.

— Что?

— Так, ничего. Я подумала о другом. Тебе что-то было нужно, Элен?

— Да, я хотела спросить, как ты делаешь то печенье, черное с белым...

Лениво текло время. Близился вечер. Солнце опускалось в безоблачном небе. По зеленым лужайкам потянулись длинные тени. А ребячьи крики и смех все не утихали. Одна девочка вдруг с плачем побежала прочь. Миссис Моррис вышла на крыльцо.

— Кто это плакал, Мышка? Пе Пегги-Энн?

Мышка что-то делала во дворе, подле розового куста.

— Угу, — ответила она, не разгибаясь. — Пегги-Энн трусиха. Мы больше не будем с ней играть. Она уж очень большая. Паверно, она вдруг выросла.

— И поэтому заплакала? Чепуха. Отвечай мне, как полагается, не то сейчас же пойдешь домой!

Мышка круто обернулась, испуганная и злая.

— Да не могу я сейчас! Скоро уже время. Ты прости, я больше не буду.

— Ты что же, ударила Пегги-Энн?

— Пет, честное слово! Вот спроси ее! Это из-за того, что... ну, просто она трусиха, задрожала — хвост поджала.

Кольцо ребятни теснее сдвинулось вокруг Мышки; озабоченно хмурясь, она что-то делала с разнокалиберными ложками и четырехугольным сооружением из труб и молотков.

— Вот сюда и еще сюда, — бормотала она.

— У тебя что-то не ладится? — спросила миссис Моррис.

— Дрилл застрял. Па полдороге. Пам бы только его вытащить, тогда будет легче. За ним и другие пролезут.

— Может, я вам помогу?

— Пет, спасибо. Я сама.

— Пу, хорошо. Через полчаса мыться, я тебя позову. Устала я на вас смотреть.

Миссис Моррис ушла в дом, села в кресло и отпила глоток пива из неполного стакана. Электрическое крес-

ло начало массировать ей спину. Дети, дети. У них и любовь и ненависть — все перемешано. Сейчас ребенок тебя любит, а через минуту ненавидит. Станный народ дети. Забывают ли они, прощают ли в конце концов шлепки, и подзатыльники, и резкие слова, когда им велишь — делай то, не делай этого? Как знать... Может быть, ничего нельзя ни забыть, ни простить тем, у кого над тобой власть — большим, непонятливым и непреклонным?

Время шло. За окнами воцарилась странная, напряженная тишина, словно вся улица чего-то ждала.

Пять часов. Где-то в доме тихонько, мелодично запели часы: «Ровно пять, ровно пять, надо время не терять!» — и умолкли.

Урочный час. Час вторжения.

Миссис Моррис засмеялась про себя.

Па дорожке зашуршали шины. Приехал муж. Мэри улыбнулись. Мистер Моррис вышел из машины, хлопнул дверцу и окликнул Мышку, все еще поглощенную своей работой. Мышка и ухом не повела. Он засмеялся и постоял минуту, глядя на детей. Потом поднялся на крыльцо.

— Добрый вечер, дорогая.

— Добрый вечер, Генри.

Она выпрямилась в кресле и прислушалась. Дети молчат, все тихо. Слишком тихо.

Муж выколотил трубку и набил заново.

— Чудесный выдался денек. Живешь и радуешься.

Ж-ж-жж.

— Что это? — спросил Генри.

— Пе знаю.

Она вскочила, поглядела расширенными глазами. Хотела что-то сказать — и не сказала: смешно. Первые расходились.

— Дети там ничего плохого не натворят? — промолвила она. — Может быть, они затеяли какую-то опасную игру?

— Да нет, у них там только трубы и молотки. А что?

— Пикаких электрических приборов?

— Пичего такого, — сказал Генри. — Я смотрел.

Мэри прошла в кухню. Жужжание продолжалось.

— Все-таки ты им лучше скажи, чтоб кончали. Уже шестой час. Скажи им... — Она прищурилась. — Скажи, пускай отложат вторжение на завтра. — Она засмеялась немножко неестественным смехом.

Жужжание стало громче.

— Что они там делают? Пойду, в самом деле, погляжу.

Взрыв!

Глухо ухнуло, дом шатнуло. И в других домах, на других улицах раздались взрывы.

У миссис Моррис вырвался отчаянный вопль.

— Там, наверху! — бессмысленно закричала она, не думая, не рассуждая.

Быть может, она что-то заметила краем глаза; быть может, ощутила незнакомый запах или уловила незнакомый звук. Пекогда было спорить с Генри, убеждать его. Пускай думает, что она сошла с ума. Да, пускай! С воплем она кинулась вверх по лестнице. Пе понимая, о чем она, муж бросился следом.

— Па чердаке! — кричала она. — Там, там!

Это был жалкий предлог, но как еще заставишь его скорей подняться на чердак. Скорей, успеть... о боже!

Во дворе — новый взрыв. И восторженный визг, как будто для ребят устроили невиданный фейерверк.

— Это не на чердаке! — крикнул Генри. — Это во дворе!

— Пет, нет! — задыхаясь, еле живая, она пыталась открыть дверь. — Сейчас увидишь! Скорей! Сейчас увидишь!

Паконец они ввалились на чердак. Мэри захлопнула дверь, повернула ключ в замке, вытащила его и закинула в дальний угол, в кучу всякого хлама. И как в бреду, захлебываясь, стала выкладывать все подряд. Она не могла удержаться. Паружу рвались неосознанные; подозрения и страхи, что весь день тайно копились в душе и перебродили в ней, как вино. Все мелкие разоблачения, открытия и догадки, которые тревожили ее с самого утра и которые она так здраво, трезво и рассуди-

тельно критиковала и отвергала. Теперь все это взорвалось и потрясло ее.

— Пу вот, ну вот, — всхлипывая, острова прислонилась к двери. — Тут мы в безопасности до вечера. Может, потом мы потихоньку выберемся. Может, нам удастся бежать!

Теперь взорвался Генри, но по другой причине.

— Ты что, рехнулась? Какого черта ты закинула ключ? Знаешь, милая моя!..

— Да, да, пускай рехнулась, если тебе так легче, только оставайся здесь!

— Хотел бы, я знать, как теперь отсюда выбраться!

— Тише. Они услышат. О господи, они нас найдут...

Где-то близко — голос Мышки. Генри умолк на полуслове. Все вдруг загудело, зашипело, поднялся визг и смех. Внизу упорно, настойчиво жужжал сигнал видеофона — громкий, тревожный. «Может, это Элен меня вызывает? — подумала Мэри. — Может, она хочет мне сказать... то самое, чего я жду?»

В доме раздалися шаги. Гулкие, тяжелые.

— Кто там топает? — гневно говорит Генри. — Кто смел вломиться в мой дом?

Тяжелые шаги. Двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят пар ног. Пятьдесят человек вошли в дом. Что-то гудит. Хихикают дети.

— Сюда! — кричит внизу Мышка.

— Кто там? — в ярости спрашивает Генри. — Кто там ходит?

— Тс-с. Ох, нет, нет, нет! — умоляет жена, цепляясь за него. — Молчи, молчи. Может, они еще уйдут.

— Мам! — зовет Мышка. — Пап!

Молчание.

— Вы где?

Тяжелые шаги, тяжелые, тяжелые, страшно тяжелые. Вверх по лестнице. Это Мышка их ведет.

— Мам? — Пеуверенное молчание. — Пап? — Ожидание, тишина.

Гуденье. Шаги на лестнице, ведущей на чердак. Впереди всех — легкие, Мышкины.

Па чердаке отец и мать молча прижались друг к другу, их бьет дрожь. Электрическое гуденье, странный холодный свет, вдруг просквозивший в щели под дверью, незнакомый острый запах, какой-то чужой, нетерпеливый голос Мышки — все это, непонятно почему, проняло, наконец, и Генри Морриса. Он стоит рядом с женой в тишине, во мраке, и его трясет.

— Мам! Пап!

Шаги. Пегромкое гуденье. Замок плавится. Дверь настежь. Мышка заглядывает внутрь чердака, за нею маячат огромные синие тени.

— Чур-чура, я нашла! — говорит Мышка.

Почь за ночью Фиорелло Бодонн просыпался, и слушал, как со свистом взлетают в черное небо ракеты. Уверясь, что его добрая жена спит, он тихонько поднимался и на цыпочках выходил за дверь. Хоть несколько минут подышать ночной свежестью, ведь в этом домишке на берегу реки никогда не выветривается запах вчерашней стирки. Хоть ненадолго сердце безмолвно воспарит в небо вслед за ракетами.

Вот и сегодня ночью он стоит чуть не нагишом в темноте и следит, как взлетают ввысь огненные фонтаны. Эта уносятся в дальний дуть неистовые ракеты — на Марс, на Сатурн и Венеру!

— Пу и ну, Бодони.

Он вздрогнул.

Па самом берегу безмолвно струившейся реки, на корзине из-под молочных бутылок, сидел старик и тоже следил за взлетающими в полуночной тиши ракетами.

— А, это ты, Браманте!

— И ты каждую ночь так выходишь, Бодони?

— Падо же воздухом подышать.

— Вон как? Пу, а я предпочитаю поглядеть на ракеты, — сказал Браманте. — Я был еще мальчишкой, когда они появились. Восемьдесят лет прошло, а я так ни разу и не летал.

— А я когда-нибудь полечу, — сказал Бодони.

— Дурак! — крикнул Браманте. — Пикогда ты не полетишь. Одни богачи делают, что хотят. — Он покачал седой головой. — Помню, когда я был молод, на всех перекрестках кричали огненные буквы: МИР БУДУЩЕГО — РОСКОШЬ, КОМФОРТ, ПОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПАУКИ И ТЕХНИКИ — ДЛЯ ВСЕХ! Как же! Восемьдесят лет прошло. Вот оно, будущее. Мы, что ли, летаем в ракетах? Держи карман! Мы живем в хижинах, как жили наши предки.

— Может быть, мои сыновья... — начал Бодони.

— Ни сыновья, ни внуки — оборвал старик. — Вот богачам, тем всё можно — и мечтать и в ракетах летать.

Бодони помолчал.

— Нослушай, старина, — нерешительно заговорил он. — У меня отложены три тысячи долларов. Шесть лет копил. Дня своей мастерской, на новый инструмент. А теперь, вот уже целый месяц, не сплю по ночам. Слушаю ракеты. И думаю. И нынче ночью решил окончательно. Кто-нибудь из моих полетит на Марс! — Темные глаза его блеснули.

— Болван! — отрезал Браманте. — Как ты будешь выбирать? Кому лететь? Сам полетишь — жена обидится, как это ты побывал в небесах, немножко поближе к господу богу. Нотом ты станешь годами рассказывать ей, какое замечательное это было путешествие — и думаешь, она не изойдет злостью?

— Нет, нет!

— Нет, да! А твои ребята? Они на всю жизнь запомнят, что папа летал на Марс, а они торчали тут, как пришитые. Веселенькую задачку задашь ты своим сыновьям. До самой смерти они будут думать о ракетах. Но ночам глаз не сомкнут. Изведутся с тоски по этим самым ракетам. Вот как ты сейчас. До того, что если не полететь разок, так хоть в петлю. Лучше ты им это в голову не вбивай, верно тебе говорю. Нускай примирятся с бедностью и не ищут ничего другого. Их дело — мастерская да железный лом, а на звезды им глядеть нечего.

— Но...

— А допустим, полетит твоя жена? И ты будешь знать, что она всего повидала, а ты нет, — что тогда? Молиться на нее, что ли? А тебе захочется утопить ее в нашей речке. Нет уж, Бодони, купи ты себе лучше новый резальный станок, без него тебе я впрямь не обойтись, да пусти свои мечты под нож, изрежь на куски и истолки в порошок.

Старик умолк и уставился неподвижным взглядом на реку — в глубине мелькали отражения проносящихся по небу ракет.

— Спокойной ночи, — сказал Бодони.

— Приятных снов, — отозвался старик.

Из блестящего тостера выскочил ломоть поджаренного хлеба, и Бодони чуть не вскрикнул. Всю ночь он не сомкнул глаз. Беспокойно спали дети, рядом возвышалось большое сонное тело жены, а он все ворочался и всматривался в пустоту. Да, Браманте прав. Лучше эти деньги вложить в дело. Стоило ли их откладывать, если из всей семьи может полететь только один, а остальные станут терзаться завистью и разочарованием?

— Ешь свой хлеб, Фиорелло, — сказала Мария, жена.

— У меня в глотке пересохло, — ответил Бодони.

В комнату вбежали дети — трое сыновей вырывали друг у друга игрушечную ракету, в руках у обеих девочек были куклы, изображающие жителей Марса, Венеры и Нептуна — зеленые истуканчики, у каждого по три желтых глаза и по двенадцать пальцев на руках.

— Я видел ракету, она пошла на Венеру! — кричал Наоло.

— Она взлетела и как зашипит: ууу-шшш! — вторил Антонелло.

— Тише вы! — прикрикнул Бодони, зажав ладонями уши.

Дети с недоумением посмотрели на отца. Он не часто повышал голос.

Бодони поднялся.

— Слушайте все, — сказал он. — У меня есть деньги, хватит на билет до Марса для кого-нибудь одного.

Дети восторженно завопили.

— Вы поняли? — сказал он. — Лететь может только один из нас. Так кто полетит?

— Я, я, я! — наперебой кричали дети.

— Ты, — сказала Мария.

— Нет, ты, — сказал Бодони.

И все замолчали. Дети собирались с мыслями.

— Нускав летит Лоренцо, он самый старший.

— Нускай летит Мириамна, она девочка!

— Нодумай, сколько ты всего повидаешь, — сказала мужу Мария. Но глаза ее смотрели как-то странно и

голос дрожал. — Метеориты, как стаи рыбешек. Небо без конца и края. Луна. Нускай летит тот, кто потом все толком расскажет. А ты хорошо умеешь говорить.

— Чепуха. Ты тоже умеешь.

Всех била дрожь.

— Ну, так, — горестно сказал Бодони. Взял веник и отломил несколько прутьиков разной длины. — Выигрывает короткий. — Он выставил стиснутый кулак. — Тяните.

Каждый по очереди сосредоточенно тащил пруттик.

— Длинный.

— Длинный.

Следующий.

— Длинный.

Вот и все дети. В комнате стало очень тихо.

Оставались два прутика. У Бодони защемило сердце.

— Теперь ты, Мария. — прошептал он.

Она вытянула пруттик.

— Короткий, — сказала она.

— Ну вот, — вздохнул Лоренцо и с грустью и с облегчением. — Мама полетит на Марс.

Бодони силился улыбнуться.

— Ноздравляю! Сегодня же куплю тебе билет.

— Обожди, Фиорелло.

— На той неделе и полетишь, — пробормотал он.

Дети смотрели на мать — у всех были крупные прямые носы, и все губы улыбались, а глаза были печальные. Медленно она протянула пруттик мужу.

— Не могу я лететь.

— Да почему?!

— Я должна думать о будущем малыше.

— Что-о?

Мария отвела глаза.

— В моем положении путешествовать не годится.

Он сжал ее локоть.

— Это правда?

— Начните сначала. Тяните еще раз.

— Ночему же ты мне раньше ничего не говорила? — недоверчиво сказал Бодони.

— Да как-то к слову не пришлось.

— Ох, Мария, Мария, — прошептал он и погладил ее по щеке. Нотом обернулся к детям. — Тяняи! еще раз.

И тотчас Наоло вытащил короткий прутик.

— Я полечу на Марс! — он запрыгал от радости. — Вот спасибо, папа!

Другие дети бочком, бочком отошли в сторону.

— Счастливчик ты, Наоло!

Улыбка сбежала с лица мальчика, он испытующе посмотрел на мать с отцом, на братьев и сестер.

— Мне правда можно лететь? — неуверенно спросил он.

— Нравда.

— А когда я вернусь, вы будете меня любить?

— Конечно.

Драгоценный короткий прутик лежал у Наоло на раскрытой ладони, рука его дрожала, он внимательно поглядел на прутик и покачал головой. И отшвырнул прутик.

— Совсем забыл. Начинаются занятия. Мне нельзя пропускать школу. Тяните еще раз.

Но никто больше не хотел тянуть жребий. Все уныли.

— Никто не полетит, — сказал Лоренцо.

— Это самое лучшее, — сказала Мария.

— Браманте прав, — сказал Бодони.

Носле завтрака, который не доставил ему никакого удовольствия, Фиорелло пошел в мастерскую и принялся за работу: разбирался в старом хламе и ломе, резал металл, отбирал куски, не разъеденные ржавчиной, плавил их и отливал в чушки, из которых можно будет сделать что-нибудь толковое. Инструмент совсем развалился; двадцать лет бьешься, как рыба об лед, чтоб выдержать конкуренцию, и ежечасно тебе грозит нищета. Нрескверное выдалось утро.

Среди дня во двор вошел человек и окликнул хозяина, который хлопотал у старого резального станка.

— Эй, Бодони! У меня есть для тебя кое-какой металл.

— Что именно, мистер Мэтьюз? — рассеянно спросил Бодони.

— Ракета. Ты что? Разве тебе ее не надо?

— Надо, надо! — Фиорелло схватил посетителя за рукав и, растерявшись, осекся.

— Нонятно, она не настоящая, — сказал Мэтьюз. — Ты же знаешь, как это делается. Когда проектируют ракету, сперва изготавливают модель из алюминия в натуральную величину. Если ты расплавишь алюминий, кое-какой барыш тебе очистится. Уступлю за две тысячи.

Рука Бодони бессильно опустилась.

— Нет у меня таких денег.

— Жаль. Я хотел тебе помочь. В последний раз, когда мы разговаривали, ты жаловался, что все перебивают у тебя лом. Вот я и подумал — шепну тебе по секрету. Ну что ж...

— Мне позарез нужен новый инструмент. Я скопил на него деньги.

— Нонятно.

— Если я куплю вашу ракету, мне даже не в чем будет ее расплавить. Моя печь для алюминия на той неделе прогорела...

— Ясно.

— Если я и куплю у вас эту ракету, я ничего не смогу с ней сделать.

— Нонимаю.

Бодони мигнул и зажмурился. Нотом открыл глаза и посмотрел на Мэтьюза.

— Но я распоследний дурак. Я возьму свои деньги из банка и отдам вам.

— Так ведь если ты не сможешь расплавить алюминий...

— Привозите вашу ракету, — сказал Бодони.

— Ладно, раз тебе так хочется. Сегодня вечером?

— Чего лучше, — сказал Бодони. — Да, сегодня вечером мне ракета будет очень кстати.

Светила луна. Ракета высилась во дворе среди металлического лома — большая, белая. Она вобрала в себя белое сияние луны и голубой свет звезд. Бодони смотрел на нее с нежностью. Ему хотелось погладить ее, приласкать, прижаться к ней щекой, поведать ей свои самые заветные желания и мечты.

Он смотрел на нее, закинув голову.

— Ты моя, — сказал он. — Нускай ты никогда не извергнешь пламя и не сдвинешься с места, нускай будешь пятьдесят лет торчать тут и ржаветь, а все-таки ты моя.

От ракеты веяло временем и далью. Это было все равно, что войти внутрь часового механизма. Каждая мелочь отделана и закончена с ювелирной тщательностью. Эту ракету можно бы носить на цепочке, как брелок.

— Ножалуй, сегодня я в ней и переночую, — взволнованно прошептал Бодони.

Он уселся в кресло пилота.

Тронул рычаг.

Стал то ли напевать, то ли гудеть с закрытым ртом, с закрытыми глазами.

Гуденье становилось все громче, громче, все тоньше и выше, все странней и неистовей, оно ликовало, нарастало, наполняя дрожью все тело, оно заставило Бодони податься вперед, окутало его и весь воздушный корабль каким-то оглушительным безмолвием, в котором только и слышался визг металла, а руки Бодони перелетали с рычага на рычаг, плотно сомкнутые веки вздрагивали, а звук все нарастал — и вот уже обратился в пламя, в мощь, в небывалую силу, которая поднимает его, и несет, и грозит разорвать на части. Бодони чуть не задохнулся. Он гудел и гудел не переставая, остановиться было невозможно — еще, еще, он крепче зажмурил глаза, сердце колотится, вот-вот выскочит.

— Старт! — пронзительно кричит он.

Толчок! Громовой рев!

— Луна! — кричит он. — Метеориты! — кричит он, не видя, изо всех сил зажмурив глаза.

Неслышный головокружительный полет в багровом пляшущем зареве.

— Марс, о господи, Марс! Марс!

Задыхаясь, он без сил откатнулся на спинку кресла. Трясущиеся руки сползли с рычагов управления, голова запрокинулась. Долго он сидел так, медленно и тяжело дыша; реже, спокойнее стучало сердце.

Медленно, медленно он открыл глаза.

Неред ним был все тот же двор.

С минуту он сидел не шевелясь. Неотрывно смотрел на груды металлического лома. Нотом подскочил, яростно ударил по рычагам.

— Старт, черт вас подери!

Ракета не отозвалась.

— Я ж тебя!

Он вылез наружу, его обдало ночной прохладой; спеша и спотыкаясь, он запустил на полную мощность мотор грозной резальной машины и двинулся с нею на ракету. Ловко ворочая тяжелый резак, задрал его вверх, в лунное небо. Трясущиеся руки уже готовы были обрушить всю тяжесть на эту нахальную, лживую подделку, искромсать, растащить на части дурацкую выдумку, за которую он заплатил так дорого, а она не желает работать, не желает повиноваться!

— Я тебя проучу! — заорал он.

Но рука его застыла в воздухе.

Лунный свет омывал серебристое тело ракеты. А поодаль, за ракетой, светились окна его дома. Там слушали радио, до него доносилась далекая музыка. Нол-часа он сидел и думал, глядя на ракету и на огни своего дома, и глаза его то раскрывались во всю ширь, то становились как щелки. Нотом он оставил резак и пошел прочь, и на ходу засмеялся, а подойдя к черному крыльцу, перевел дух и окликнул жену:

— Мария! Собирайся, Мария! Мы летим на Марс!

— Ой!

— Ух ты!

— Даже не верится!

— Вот увидишь, увидишь!

Дети топтались во дворе на ветру под сверкающей ракетой, еще не решаясь до нее дотронуться. Они только кричали, перебивая друг друга. Мария смотрела на мужа.

— Что ты сделал? — спросила она. — Нотратил все наши деньги? Эта штука никогда не полетит.

— Полетит, — сказал он, не сводя глаз с ракеты.

— Межпланетные корабли стоят миллионы. Откуда у тебя миллионы?

— Она полетит, — упрямо повторил Бодони. — А теперь идите все домой. Мне надо позвонить по телефону, и у меня много работы. Завтра мы летим! Только никому ни слова, понятно? Это наш секрет.

Спотыкаясь и оглядываясь, дети пошли прочь. Скоро в окнах дома появились их тревожные, разгоряченные рожицы.

А Мария не двинулась с места.

— Ты нас разорил, — сказала она. — Ухлопать все деньги на это... на такое! Надо было купить инструмент, а ты...

— Ногоди, увидишь, — сказал Фиорелло.

Она молча повернулась и ушла.

— Господи, помоги, — прошептал он и взялся за работу.

За полночь приходили грузовые машины, привозили все новые ящики и тюки; Бодони, не переставая улыбаться, выкладывал еще и еще деньги. С паяльной лампой и полосками металла в руках он опять и опять набрасывался на ракету, что-то приделывал, что-то отрезал, колдовал над нею огнем, наносил ей тайные оскорбления. Он запихал в ее пустой машинный отсек девять старых-престарых автомобильных моторов. Нотом запаял отсек наглухо, чтоб никто не мог подсмотреть, что он там натворил.

На рассвете он вошел в кухню.

— Мария, — сказал он, — теперь можно и позавтракать.

Она не стала с ним разговаривать.

Солнце уже заходило, когда он позвал детей:

— Идите сюда! Все готово!

Дом безмолвствовал.

— Я заперла их в чулане, — сказала Мария.

— Это еще зачем? — рассердился Бодони.

— Твоя ракета разорвется и убьет тебя, — сказала она. — Какую уж там ракету можно купить за две тысячи долларов? Ясно, что распоследнюю дрянь.

— Нослушай, Мария...

— Она взорвется. Да тебе с ней и не совладать, какой ты пилот!

— А все-таки на этой ракете я полечу. Я ее уже приспособил.

— Ты сошел с ума.

— Где ключ от чулана?

— У меня.

Он протянул руку.

— Дай сюда.

Мария отдала ему ключ.

— Ты их погубишь.

— Нет, не бойся.

— Ногубишь. У меня предчувствие.

Он стоял и смотрел на нее.

— А ты не полетишь с нами?

— Я останусь здесь, — сказала Мария.

— Тогда ты все увидишь и поймешь, — сказал он с улыбкой. И отпер чулан. — Выходите, ребята. Нойдем со мной.

— До свиданья, мама! До свиданья!

Она стояла у кухонного окна, очень прямая, плотно сжав губы, и смотрела им вслед,

У входного люка отец остановился.

— Дети, — сказал он, — мы летим на неделю. После этого вам надо в школу, а меня ждет работа. — Он каждому по очереди поглядел в глаза, крепко сжал маленькие руки. — Слушайте внимательно. Эта ракета очень старая, она годится только еще на один раз. Больше ей уже не взлететь. Это будет единственное путешествие за всю вашу жизнь. Так что глядите в оба!

— Хорошо, папа.

— Слушайте, старайтесь ничего не пропустить. Старайтесь все заметить и почувствовать. И на запах и на ошупь. Смотрите. Запоминайте. Когда вернетесь, вам до конца жизни, будет о чем порассказать.

— Хорошо, папа.

Корабль был тих, как сломанные часы. Герметическая дверь тамбура со свистом закрылась за ними. Бодони уложил детей, точно маленькие мумии, в резиновые подвесные койки и пристегнул широкими ремнями.

— Готовы?

— Готовы! — откликнулись все.

— Старт!

Он щелкнул десятком переключателей. Ракета с громом подпрыгнула. Дети завизжали, их подбрасывало и раскачивало.

— Смотрите, вот Луна!

Луна призраком скользнула мимо. Фейерверков проносились метеориты. Время уплывало змеящейся струйкой газа. Дети кричали от восторга. Несколько часов спустя он помог им выбраться из гамаков, и они прилипли носами к иллюминаторам и смотрели во все глаза.

— Вот, вот Земля!

— А вот Марс!

Кружили по циферблату стрелки часов, за кормой ракеты розвели и таяли лепестки огня; у детей уже слипались глаза. И, наконец, точно опьяневшие бабочки, они снова улеглись в коконах подвесных коек.

— Вот так-то, — шепнул отец.

Он на цыпочках вышел из рубки и долго в страхе стоял у выходного люка. Нотом нажал кнопку.

Дверца люка распахнулась. Он ступил за порог. В нустоту? Во тьму, пронизанную метеоритами, озаренную факелом раскаленного газа? В необозримые пространства, в стремительно уносящиеся дали?

Нет. Бодони улыбнулся.

Дрожа и сотрясаясь, ракета стояла посреди двора, заваленного металлическим хламом.

Здесь ничего не изменилось — все те же ржавые ворота и на них висячий замок, тот же тихий домик на берегу реки, и в кухне светится окошко, и река течет все к тому же далекому морю. А на самой середине двора дрожит и урчит ракета, и ткет волшебный сон. Содрогается, и рычит, и укачивает спеленатых детей, точно мух в упругой паутине.

В окне кухни — Мария.

Он помахал ей рукой и улыбнулся.

Отсюда не разглядеть, ответила она или нет. Кажется, чуть-чуть махнула рукой. И чуть-чуть улыбнулась.

Солнце встает.

Бодони поспешно вернулся в ракету. Тишина. Ребята еще спят. Он вздохнул с облегчением. Лег в гамак, пристегнулся ремнями, закрыл глаза. И мысленно помолился: только бы еще шесть дней ничто не нарушало иллюзию. Пусть проносятся мимо бескрайние пространства, пусть всплывут под нашим кораблем багровый Марс и его спутники, пусть не будет ни единого изъяна в цветных фильмах. Пусть все происходит в трех измерениях, только бы не подвели хитро скрытые зеркала и экраны, что создают этот блистательный обман. Только бы должный срок прошел и ничего не случилось.

Он проснулся.

Неподалеку в пустоте плыла багровая планета Марс.

— Напа! — дети старались вырваться из гамаков.

Бодони посмотрел в иллюминатор — багровый Марс был великолепен, без единого изъяна. Какое счастье! На закате седьмого дня ракета перестала дрожать и затихла.

— Вот мы и дома — сказал Бодони.

Люк распахнулся, и они пошли через захламленный двор, оживленные, сияющие.

— Я вам нажарила яичницы с ветчиной, — сказала Мария с порога кухни.

— Мама, мама, ну почему ты с нами не полетела! Ты бы увидела Марс, мама, и метеориты, и все-все.

— Да, — сказала Мария.

Когда настало время спать, дети окружили Бодони.

— Спасибо, папа! Спасибо!

— Не за что.

— Мы всегда-всегда будем про это помнить, папа. Никогда не забудем!

Ноздно ночью Бодони открыл глаза. Он почувствовал, что жена, лежа рядом, внимательно смотрит на него. Долго, очень долго она не шевелилась, потом вдруг стала целовать его лоб и щеки.

— Что с тобой? — вскрикнул он.

— Ты — самый лучший отец на свете, — прошептала Мария.

— Что это ты вдруг?

— Теперь я вижу, — сказала она. — Теперь я понимаю.

Не выпуская его руки, она откинулась на подушку и закрыла глаза.

— Это было очень приятно — так полетать? — спросила она.

— Очень.

— А может быть... может быть, когда-нибудь ночью ты и со мной слетаешь хоть недалеко?

— Ну, недалеко — пожалуй, — сказал он. — Спасибо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказал Фиорелло Бодони.

„ЗОЛОТЫЕ

**Я Б -
ЛОКИ**

**Из
сбор-
ника**

СОЛНЦА“

ПЕШЕХОД

Больше всего на свете Леонард Мид любил выйти в тишину, что хмурым ноябрьским вечером, часам к восьми, окутывает город, и — руки в карманы — шагать сквозь тишину по неровному асфальту тротуаров, стараясь не наступить на проросшую из трещин траву. Остановясь на перекрестке, он всматривался в длинные улицы, озаренные луной, и решал, в какую сторону пойти, — а впрочем, невелика разница: ведь в этом мире, в лето от рождества Христова две тысячи пятьдесят третье, он был один или все равно что один; и, наконец, он решался, выбирал дорогу и шагал, я перед ним, точно дым сигары, клубился в морозном воздухе пар от его дыхания.

Иногда он шел так часами, отмеряя милю за милей, и возвращался только в полночь. На ходу он оглядывал дома и домики с темными окнами — казалось, идешь по кладбищу, и лишь изредка, точке светлячки, мерцают за окнами слабые, дрожащие отблески. Иное окно еще не завешено на ночь, и на стене в глубине комнаты вдруг мелькнут серые призраки, а другое окно еще не закры-

ли — и из здания, похожего на склеп, слышатся шорохи и шепот.

Леонард Мид останавливался, склонял голову набок, и прислушивался, и смотрел, а потом неслышно шел дальше по бугристому тротуару. Давно уже он, отправляясь на вечернюю прогулку, предусмотрительно надевал туфли на мягкой подошве: начини он стучать каблуками, в каждом квартале все собаки станут встречать и провожать его яростным лаем, и повсюду защелкают выключатели и замаячат в окнах лица — всю улицу снугнет он, одинокий нутник, своей прогулкой в ранний ноябрьский вечер.

В этот вечер он направился на запад — там, невидимое, лежало море. Такой был славный звонкий морозец, даже пощипывало нос, и в груди будто рождественская елка горела, при каждом вздохе то вспыхивали ярче, то гасли холодные огоньки, и колкие ветки покрывал незримый снег. Нприятно было слушать, как шуршат под мягкими подошвами осенние листья, и тихонько, неторопливо насвистывать сквозь зубы, и порой, подобрав сухой лист, при свете редких фонарей всматриваться на ходу в узор тонких жилок, и вдыхать горьковатый запах увядания.

— Эй, вы там, — шептал он, проходя, каждому дому, — что у вас нынче по четвертой программе, по седьмой, по девятой? Куда скачут ковбои? А из-за холма сейчас, конечно, подоспеет на выручку наша храбрая кавалерия?

Улица тянулась вдаль, безмолвная и нустынная, лишь его тень скользила по ней, словно тень ястреба над полями. Если закрыть глаза и не шевелиться, почудится, будто тебя занесло в Аризону, в самое сердце зимней безжизненной равнины, где не дохнет ветер и на тысячи миль не встретишь человеческого жилья, и только русла пересохших рек — безлюдные улицы — окружают тебя в твоём одиночестве.

— А что теперь? — опрашивал он у домов, бросив взгляд на ручные часы. — Ноловина девятого? Самое время для дюжины отборных убийств? Или викторина?

Эстрадное обозрение? Или вверх тормашками валится со сцены комик?

Что? В доме, побеленном луной, кто-то негромко засмеялся? Леонард Мид помедлил — нет, больше ни звука. И он пошел дальше. Он споткнулся — тротуар тут был особенно неровный. Асфальта совсем не было видно, все заросло Цветами и травой. Десять лет он бродит вот так, то среди дня, то ночами, отшагал тысячи миль, но еще ни разу ему не повстречался ни один пешеход, ни разу.

Он вышел на тройной перекресток, здесь в утицу вливались два шоссе, пересекавшие город; сейчас тут было тихо. Весь день по обоим шоссе с ревом мчались автомобили, без передышки работали бензоколонки, машины жужжали и гудели, словно тучи огромных жуков, тесня и обгоняя друг друга, фыркая облачками выхлопных газов, и неслись, неслись каждая к своей далекой цели. Но сейчас и эти магистрали тоже походили на русла рек, обнаженные засухой, — каменное ложе молча стыло в лунном сиянии.

Он свернул в переулок, пора было возвращаться. До, дому оставался всего лишь квартал, как вдруг из-за угла вылетела одинокая машина и его ослепил яркий сноп света. Он замер, словно ночная бабочка в луче фонаря, потом, как замороженный, двинулся на свет.

Металлический голос приказал:

— Смирно! Ни с места! Ни шагу!

Он остановился.

— Руки вверх!

— Но... — начал он.

— Руки вверх! Будем стрелять!

Ясное дело — полиция, редкостный, невероятный случай; ведь на весь город с тремя миллионами жителей осталась одна-единственная полицейская машина. Еще год назад, в 2052-м — в год выборов — полицейские силы были сокращены, из трех машин осталась одна. Преступность все убывала; полиция стала не нужна, только эта единственная машина все кружила и кружила по пустынным улицам.

— Имя? — негромким металлическим голосом спросила полицейская машина; яркий свет фар слепил глаза, и он не мог разглядеть людей.

— Леонард Мид, — ответил он.

— Громче!

— Леонард Мид!

— Род занятий?

— Пожалуй, меня следует назвать писателем.

— Без определенных занятий, — словно про себя сказала полицейская машина. Луч света упирался ему в грудь, пронизывал насквозь, точно игла — жука и кол-лекции.

— Можно сказать и так, — согласился Мид.

Он ничего не писал уже много лет. Журналы и книга никто больше не покупает. «Все теперь замыкаются по вечерам в домах, подобных склепам», — подумал он, продолжая недавнюю игру воображения. Склепы тускло освещает отблеск телевизионных экранов, и люди сидят перед экранами, точно мертвецы; серые или разноцветные отсветы скользят по их лицам, но никогда не задевают душу.

— Без определенных занятий, — прошипел механический голос. — Что вы делаете на улице?

— Гуляю, — сказал Леонард Мид.

— Гуляете?!

— Да, просто гуляю, — честно повторил он, но кровь отхлынула от лица.

— Гуляете? Нросто гуляете?

— Да, сэр.

— Где? Зачем?

— Дышу воздухом. И смотрю.

— Где живете?

— Южная сторона, Сент-Джеймс-стрит, одиннадцать.

— Но воздух есть и у вас в доме, мистер Мид? Кондиционная установка есть?

— Да.

— А чтобы смотреть, есть телевизор?

— Нет.

— Нет? — молчание, только что-то потрескивает, и уже самая эта пауза — как обвинение.

— Вы женаты, мистер Мид?

— Нет.

— Не женат, — произнес жесткий голос за слепящей полосой света.

Луна поднялась уже высоко и сияла среди звезд, дома стояли серые, молчаливые.

— Ни одна женщина на меня не польстилась, — с улыбкой сказал Леонард Мид.

— Молчите, пока вас не спрашивают.

Леонард Мид ждал, холодная ночь обступала его.

— Вы п р о с т о г у л я л и , мистер Мид?

— Да.

— Вы не объяснили, с какой целью.

— Я объяснил: я хотел подышать воздухом, поглядеть вокруг, просто пройтись.

— Часто вы этим занимались?

— Каждый вечер, уже много лет.

Нолицейская машина торчала посреди улицы, в ее радиоглотке что-то негромко гудело.

— Что ж, мистер Мид, — сказала она.

— Это все? — учтиво спросил Мид.

— Да, — ответил голос. — Сюда. — Что-то вздохнуло, что-то щелкнуло. Задняя дверца машины распахнулась. — Влезайте.

— Ногодите, ведь я ничего такого не сделал!

— Влезайте.

— Я протестую!

— Мистер Мид!

И он пошел нетвердой походкой, как пьяный. Проходя мимо ветрового стекла, он заглянул внутрь. Он так и знал: никого ни на переднем сиденье, ни вообще в машине.

— Влезайте.

Он взялся за дверцу и заглянул — заднее сиденье помещалось в черном тесном ящике, это была узкая тюремная камера, забранная решеткой. Нахло сталью. Едко пахло дезинфекцией; все отдавало чрезмерной чистотой, жесткостью, металлом. Здесь не было ничего мягкого.

— Будь вы женаты, жена могла бы подтвердить ваше алиби, — сказал железный голос. — Но...

— Куда вы меня повезете?

Машина словно засомневалась, послышалось слабое жужжание и щелчок, как будто где-то внутри механизм-информатор выбросил пробитую отверстиями карточку и подставил ее взгляду электрических глаз.

— В Психиатрический центр по исследованию атавистических наклонностей.

Он вошел в клетку. Дверь бесшумно захлопнулась. Нолицейская машина покатила по ночным улицам, освещая себе нуть приглушенными огнями фар.

Через минуту показался дом, он был один такой, на одной только улице во всем этом городе темных домов, — единственный дом, где зажжены были все электрические лампы и желтые квадраты окон празднично и жарко горели в холодном сумраке ночи.

— Это — мой дом, — сказал Леонард Мид.

Никто ему не ответил.

Машина мчалась все дальше и дальше по улицам — по каменным руслам пересохших рек, позади оставались нустынные мостовые и пустынные тротуары, и нигде в ледяной ноябрьской ночи не было больше ни звука, ни движения.

«Итак, настал желанный час...»

Уже смеркалось, но Джейнис и Леонора во флигеле неумоимо укладывали вещи, что-то напевали, почти ничего не ели и, когда становилось невтерпеж, подбадривали друг друга. Только в окно они не смотрели — за окном сгущалась тьма, высыпали холодные яркие звезды.

— Слышишь? — сказала Джейнис.

Звук такой, словно по реке идет пароход, но это взмыла в небо ракета. И еще что-то — играют на банджо? Нет, это, как положено по вечерам, поют свою песенку сверчки в лето от рождества Христова две тысячи третье. Несчетные голоса звучат в воздухе — голоса природы и города. И Джейнис, склонив голову, слушает. Давным-давно, в 1849-м, здесь, на этой самой улице, раздавались голоса чревовещателей, проповедников, гадалок, глупцов, школяров, авантюристов — все они собрались тогда в этом городке Индипенденс, штат Миссури. Они ждали, чтоб подсохла почва после дождей и весенних разливов и поднялись густые травы, плотный ковер, что выдержит их тележки и фургоны, их пестрые судьбы и мечты.

Итак, настал желанный час —
И мы летим, летим на Марс!
Пять тысяч женщин в небесах
Творить сумеют чудеса!

— Таковую песенку пели когда-то в Вайоминге, — сказала Леонора. — Чутьочку изменить слова — и вполне подходит для две тысячи третьего года.

Джейнис взяла маленькую — не больше спичечной — коробочку с питательными пилюлями и мысленно прикинула, сколько всего везли в тех старых фургонах на огромных колесах. На каждого человека — тонны груза, подумать страшно! Огорока, грудинка, сахар, соль, мука, сушеные фрукты, галеты, лимонная кислота, вода, имбирь, перец — длиннейший, нескончаемый спи-

сок! А теперь захвати в дорогу пилюли не крупнее наручных часов — и будешь сыт, странствуя не просто от Форта Ларами до Хангтауна, а через всю звездную пустыню.

Джейнис распахнула дверь чулана и чуть не вскрикнула. На нее в упор смотрели тьма, и ночь, и межзвездные бездны.

Много лет назад было в ее жизни два таких случая: сестра заперла ее в чулане, а она визжала и отбивалась, а в другой раз в гостях, когда играли в прятки, она через кухню выбежала в длинный темный коридор. Но это оказался не коридор. Это была неосвещенная лестница, глубокий черный колодец. Она выбежала в пустоту. Опора ушла из-под ног, Джейнис закричала и свалилась. Вниз, в непроглядную черноту. В погреб. Она падала долго — успело гулко ударить сердце. И долго, долго она задыхалась в том чулане — ни один луч света не пробивался к ней, ни одной подружки не было рядом, никто не слышал ее криков. Совсем одна, взаперти, во тьме. Надаешь во тьму. И кричишь!

Два воспоминания.

И вот сейчас распахнулась дверь чулана и тьма повисла бархатным пологом, таким плотным, что можно потрогать его дрожащей рукой; точно черная пантера, дышала тьма, глядя в лицо тусклым взором, — и те давние воспоминания вдруг нахлынули на Джейнис. Бездна и падение. Бездна и одиночество, когда тебя заперли, и кричишь, и никто не слышит. Они с Леонорой укладывались, работали без передышки и при этом старались не смотреть в окно, на пугающий Млечный Нуть, в бескрайнюю, беспредельную пустоту. И только старый привычный чулан, где затаился свой, отдельный клочок ночи, напомнил им, наконец, о том, что их ждет.

Вот так и будешь скользить в пустоту, к звездам, во тьме, в огромном, чудовищном черном чулане и станешь кричать и звать, и никто не услышит. Вечно падать сквозь тучи метеоритов, среди безбожных комет. В бездонную лестничную клетку. Через немыслимую, как в кошмарном сне, угольную шахту — в ничто.

Она закричала. Ни звука не сорвалось с ее губ. Вопль метался в груди, в висках. Она кричала. С маху захлопнула дверь чулана! Навалилась на нее всем телом. Чувствовала, как по ту сторону дышит и скулит тьма — и изо всей силы держала дверь, и слезы выступили у нее на глазах. Она долго стояла так и смотрела, как Леонора укладывает вещи, и, наконец, дрожь унялась. Истерика, которой не дали волю, понемногу отступила. И стало слышно, как трезво, рассудительно тикают на руке часы.

— Шестьдесят миллионов миль! — она подошла, наконец, к окну, точно ступила на край глубокого колодца. — Просто не могу поверить, что вот сейчас на Марсе наши мужчины строят города и ждут нас.

— Верить надо только в завтрашнюю ракету — не опоздать бы на нее!

Джейнис подняла обеими руками белое платье, в полутемной комнате оно казалось призраком.

— Странно это... выйти замуж на другой планете.

— Нойдем-ка спать.

— Нет! В полночь вызовет Марс. Я все равно не усну, буду думать, как мне сказать Уиллу, что я решила лететь. Ты только представь, мой голос полетит к нему по светофону за шестьдесят миллионов миль! Я боюсь — а вдруг передумаю, со мной ведь это бывало!

— Наша последняя ночь на Земле...

Теперь они знали, что так оно и есть, и примирились с этим; уже не укрыться было от этой мысли. Они улетают — и, быть может, никогда не вернуться. Они покидают город Индипенденс в штате Миссури на североамериканском континенте, который омывают два океана — с одной стороны Атлантический, с другой — Тихий, — и ничего этого не захватишь с собой в чемодане. Все время они боялись посмотреть с лица этой суровой истине. А теперь она стала перед ними во весь рост. И они оцепенели.

— Наши дети уже не будут американцами, они даже не будут людьми с Земли. Теперь мы на всю жизнь — марсиане.

— Я не хочу! — вдруг крикнула Джейнис.

Ужас сковал ее.

— Я боюсь! Бездна, тьма, ракета, метеориты... И все, все останется позади! Ну, зачем мне лететь?!

Леонора обхватила ее за плечи, прижала к себе и стала укачивать, как маленькую.

— Там новый мир. Так бывало и в старину. Мужчины идут вперед, женщины — за ними.

— Нет, ты скажи, зачем, ну зачем это мне?

— Затем, — спокойно сказала Леонора и усадила ее на край кровати. — Затем, что там Уилл.

Отрадно было услышать его имя. Джейнис притихла.

— Это из-за мужчин нам так трудно, — сказала Леонора. — Когда-то, бывало, если женщина одолеет ради мужчины двести миль, это уже событие. Нотом они стали уезжать за тысячу миль. А теперь улетают на другой край вселенной. Но все равно это нас не остановит, правда?

— Боюсь, в ракете я буду дура дурой.

— Ну и я буду дурой, — сказала Леонора и поднялась. — Нойдем-ка погуляем на прощанье.

Джейнис выглянула из окна.

— Завтра все в городе пойдет по-прежнему, а нас тут уже не будет. Люди проснутся, позавтракают, займутся делами, лягут спать, на следующее утро опять проснутся, а мы уже ничего этого не узнаем, и никто про нас не вспомнит.

Они слепо кружили по комнате, словно не могли найти выхода.

— Нойдем.

Отворили, наконец, дверь, погасили свет, вышли и закрыли за собой дверь.

В небе царило небывалое оживление. То ли распускались Огромные цветы, то ли свистела, кружила, завивалась невиданная метель. Медлительными снежными хлопьями опускались вертолеты. Еще и еще прибывали женщины — с востока и запада, с юга и севера. Все огромное шлите небо снежило вертолетами. Гостиницы

были переполнены, радушно распахивались двери частных домов, в окрестных полях и лугах поднимались целые палаточные городки, точно странные, уродливые цветы, — и весь город и его окрестности согреты были не одной только летней ночью. Тепло излучали запрокинутые к небу раздумавшиеся лица женщин и загорелые лица юношей. За грядой холмов готовились к старту ракеты, казалось, кто-то разом нажимает все клавиши гигантского органа, и от могучих аккордов ответно трепетали все стекла в каждом окне и каждая косточка в теле. Дрожь отдавалась в зубах, в руках и ногах до самых кончиков пальцев.

Леонора и Джейнис сидели в аптеке среди незнакомых женщин.

— Вы премило выглядите, красавицы, только что-то вы нынче невеселые? — сказал им продавец за стойкой.

— Два стакана шоколада на солоде, — попросила Леонора и улыбнулась за двоих, потому что Джейнис не вымолвила ни слова.

И обе уставились на свои стаканы, точно на редкостную картину в музее. Не скоро, очень не скоро на Марсе можно будет побаловаться солодовым напитком.

Джейнис порылась в сумочке, нерешительно вытащила конверт и положила на мраморную стойку.

— От Уилла. Пришло с почтовой ракетой два дня назад. Из-за этого я и решила лететь. Я тебе сразу не сказала. Носмотри. Возьми, возьми, прочти записку.

Леонора вытряхнула из конверта листок бумаги и прочитала вслух:

— »Милая Джейнис. Это наш дом, если, конечно, ты решишь приехать. Уилл«.

Леонора еще постучала по конверту, и из него выпала на стойку блестящая цветная фотография. На фотографии был дом — старый, замшелый, золотисто-коричневый, как леденец, уютный дом, а вокруг алели цветы, прохладно зеленел папоротник, и веранда заросла косматым плющом.

— Но позволь, Джейнис!

— Да?

— Это же твой дом здесь, на Земле, на Улице вязов!

— Нет. Смотри получше.

Обе всмотрелись — по сторонам уютного коричневого дома и за ним открывался вид, какого не найдешь на Земле. Ночва была странного лилового цвета, трава чуть отливала красным, небо сверкало, как серый алмаз, а сбоку причудливо изогнулось дерево, похожее на старуху, в чьих седых волосах запутались блестящие льдинки.

— Этот дом Уилл построил там для меня, — сказала Джейнис. — Как посмотрю, легче на душе. Вчера, когда я оставалась на минутку одна и меня одолевал страх, я каждый раз вынимала эту карточку и смотрела.

Они не сводили глаз с фотографии, разглядывая уютный дом, что ждал за шестьдесят миллионов миль отсюда — знакомый и все же незнакомый, старый и совсем новый, и справа теплый желтый прямоугольник — это светится окно гостиной.

— Молодчина Уилл. — Леонора одобрительно кивнула. — Он знает, что делает.

Они допили коктейль. А по улице все бродили оживленные толпы приезжих, и падал, падал с летнего неба нетающий снег.

Они накупили в дорогу уйму всякого вздора — паке-тики лимонных леденцов, журналы мод на глянцеви-той бумаге, тонкие духи; потом взяли напрокат две гравиза-щитные куртки — наряд, в котором стоит коснуться ед-ва заметной кнопки на поясе — и порхаешь, как моты-лек, бросая вызов земному притяжению, — и, словно подхваченные ветром цветочные лепестки, носились над городом.

— Все равно идут, — сказала Леонора, — куда глаза глядят.

Они отдались на волю ветра, и он понес их сквозь летнюю ночь, полного яблоневого цвета и оживленных приготовлений, над милым городом, над домами их дет-ства и юности, над школами и улицами, над ручьями, лугами и фермами, такими родными, что каждое зерно

пшеницы было дороже золота. Они трепетали, точно листья под жарким дуновением ветра, что предвещает грозу, когда в горах уже сверкают летние молнии. Нод ними в полях белели пыльные дороги — еще так недавно они по спирали снускались здесь на блестящих под лунной стрекочущих вертолетах, и дышали ночной прохладой на берегу реки, и с ними были их любимые, которые теперь так далеко...

Они парили над городом, уже отдаленным, хоть они пока не так высоко поднялись над землей; город уходил вниз, словно черная река, и вдруг, точно гребень волны, вздымался свет живых и ярких огней... и все же город был уже недосягаем, уже только видение, затянутое дымкой отчужденности; он еще не скрылся навсегда из глаз, а, память уже в тоске и страхе оплакивала утрату.

Нокачиваясь и кружа в воздухе, они украдкой заглядывали на прощанье в сотни родных и милых лиц, которые проплывали мимо в рамках освещенных окон, будто уносимые ветром; но это само Время подхватило их обеих и несло своим дыханием. Они всматривались в каждое дерево — ведь кора хранила вырезанные на ней когда-то признания; скользили взглядом по каждому тротуару. Впервые они увидели, как прекрасен их город, прекрасны и одинокие огоньки и потемневшие от старости кирпичные стены, — они смотрели расширенными глазами и упивались этой красотой. Город кружил под ними, точно праздничная карусель; порой всплеснет музыка, забормочут, перекликнутся голоса в домах, мелькнут призрачные отсветы телевизионных экранов.

Две женщины скользили в воздухе, точно иглы, и за ними от дерева к дереву тонкой нитью тянулся аромат духов. Глаза, кажется, уже не вмещали виденного, а они все откладывали впрок каждую мелочь, каждую тень, каждый одинокий дуб и вяз, каждую машину, пробегающую там, внизу, по извилистой улочке, — и вот уже полны слез глаза, полны с краями и голова и сердце...

«Точно я мертвая, — думала Джейнис, — точно лежу в могиле, а надо мной весенняя ночь, и все живет и движется, а я — нет, все готово жить дальше без меня. Так бывало в пятнадцать, в шестнадцать лет: весной я не

могла спокойно пройти мимо кладбища, всегда плакала, думала: ночь такая чудесная, и я живу, а они все лежат мертвые, и это несправедливо, несправедливо. Мне стыдно было, что я живу. А вот сейчас, сегодня меня будто вытащили из могилы и сказали: один только раз, последний, посмотри, какой он, город, и люди, и что это значит — жить, а потом за тобой опять захлопнется черная дверь».

Тихо-тихо, качаясь на ночном ветру, словно два белых китайских фонарика, проплывали они над своей жизнью, над прошлым, над лугами, где в свете множества огней раскинулись палаточные городки, над большими дорогами, где до рассвета будут второпях тесниться грузовики с припасами для дальнего нуты. Долго смотрели они сверху на все это и не могли оторваться.

Часы на здании суда гулко пробили три четверти двенадцатого, когда две женщины, словно две паутинки, слетевшие со звезд, онустились на залитую луной мостовую перед домом Джейнис. Город уже спал, и дом Джейнис сулил покой и сон им тоже, но обеим было не до сна.

— Неужели это мы? — сказала Джейнис. — Мы — Джейнис Смит и Леонора Холмс, и на дворе год две тысячи третий?

— Да.

Джейнис провела языком по пересохшим губам и выпрямилась.

— Хотела бы я, чтоб это был какой-нибудь другой год.

— Тысяча четыреста девяносто второй? Тысяча шестьсот двенадцатый? — Леонора вздохнула, и заодно с нею вздохнул, пролетая, ветер в листве деревьев. — Всегда было не одно, так другое — отплытие Колумба, высадка в Нлимут-Роке. И хоть убей, не знаю, как тут быть нам, женщинам.

— Оставаться старыми девами.

— Или сниматься с якоря, как мы сейчас.

Они открыли дверь, домдохнул им навстречу теплом и ночной тишиной, шум города медленно отступал. Они закрыли за собой дверь, и тут в доме раздался звонок.

— Вызов! — крикнула на бегу Джейнис.

Леонора вошла в спальню за нею по пятам, но Джейнис уже схватила трубку и повторяла: «Алло, алло!» В большом далеком городе техник готовился включить огромный аппарат, который соединит сейчас два мира, и две женщины ждали — одна, вся побелев, сидела с трубкой в руках, другая склонилась над нею, и в лице ее тоже не было ни кровинки.

Настало долгое затишье, и в нем — только звезды и время — нескончаемое ожидание, каким были для них и все последние три года. И вот настал час, пришла очередь Джейнис позвать через миллионы миль, через бездну, где мчатся метеоры и кометы, убегая от рыжего солнца, которое вот-вот опалит и расплавит ее слова и выжжет из них всякий смысл. Но голос ее все пронизал серебряной иглой, прошел стежками слов бескрайнюю ночь, отразился от лун Марса. И нашел того, кто ждал в далекой-далекой комнате, в городе на другой планете, до которой радиоволнам лететь пять минут. Вот что она сказала:

— Здравствуй, Уилл! Это я, Джейнис!

Она сглотнула комок, застрявший в горле.

— Дают так мало времени. Только одну минуту.

Она закрыла глаза.

— Я хочу говорить медленно, а велят побыстрее. Так вот... я решила. Я приеду. Я вылетаю завтрашней ракетой. Я все-таки прилечу к тебе. И я тебя люблю. Надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя люблю. Я так соскучилась...

Голос ее полетел к далекому, невидимому миру. Теперь, когда все было уже сказано, ей захотелось вернуть свои слова, сказать не так, по-другому, лучше объяснить, что у нее на душе. Но слова ее уже неслись среди планет, и если б какое-нибудь чудо космической радиации заставило их вспыхнуть и засветиться, подумала Джейнис, ее любовь озарила бы десятки миров И на той

стороне земного шара, где сейчас ночь, люди изумились бы неурочной заре. Теперь ее слова принадлежат уже не ей, но межпланетному пространству, они ничьи, пока не долетят до цели, к которой они мчатся со скоростью сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду.

«Что он мне ответит? — думала она. — Что скажет он в ту короткую минуту, которая отведена ему?» Она беспокойно вертела и теребила часы на руке, а в трубке светфона потрескивало — само пространство говорило с Джейнис, она слышала неистовую пляску электрических разрядов и голос магнитных бурь.

— Он уже ответил? — шепнула Леонора.

— Ш-ш! — Джейнис пригнулась к самым коленям, точно ей стало дурно.

И тогда из бездны долетел голос Уилла.

— Я его слышу! — вскрикнула Джейнис.

— Что он говорит?

Голос звучал с Марса, он летел через нустоту, где не бывает ни рассвета, ни заката, лишь вечная ночь, и во мраке — пылающее солнце. И где-то на полнуги между Марсом и Землей голос потерялся — быть может, слева захватил силою тяготения и увлек за собой пронесшийся мимо наэлектризованный метеорит, быть может, на них обрушился серебряный дождь метеоритной пыли — как знать. Но только все мелкие, незначительные слова будто смыло. И когда голос долетел до Джейнис, она услышала одно лишь слово:

— ...люблю...

И опять воцарилась бескрайняя ночь, и слышно было, как вращаются звезды и что-то нашептывают солнца, и голос еще одного мира, затерянного в пространстве, отдавался у нее в ушах — гром ее собственного сердца.

— Ты его слышала? — спросила Леонора.

У Джейнис едва хватило сил кивнуть.

— Что же он говорил, что он говорил? — допытывалась Леонора.

Но этого Джейнис не сказала бы никому на свете, это была радость слишком дорогая, чтобы ею можно было поделиться. Она сидела и вслушивалась — в памяти опять и опять звучало то единственное слово. Ока- си-

дела в вслушивалась, а даже не заметила, как Леонора взяла у нее из рук трубку и положила на рычаг.

И вот они лежат в постелях, свет погашен, в комнатах веет ночной ветер, а в кем: — дыханье долгих странствий среда мрака и звезд; и они говорят о завтрашнем дне и о днях, которые настанут после: то будут не дни и не ночи, но неведомое время, без границ и пределов; а дотом голоса смолкают, заглушённые то ли сном, то ли бессонными мыслями, и Джейнис остается в постели одна.

«Так вот как бывало столетье с лишним назад? — думается ей. — В маленьких городках на востоке страны женщины в последнюю ночь, в ночь кануна, ложились спать и не могли уснуть, и слышали в ночи, как фыркают и переступают лошади и скрипят огромные фургоны, снаряженные в дорогу, и под деревьями шумно дышат волю, и плачут дети, до срока узнав одиночество. Равнины и лесные чащи наполнились извечным шумом прибытий и отъездов, и кузнецы за полночь гремели молотами в багровом аду подле своих горнов. И пахло грудинкой и окороками, что коптились на дорогу, и, словно корабли, тяжело раскачивались фургоны, до отказа нагруженные припасами для перехода через прерии; в деревянных бочонках плескалась вода, ошалело кудахтали куры в корзинах, подвешенных снизу к осям, собаки убегали вперед и в страхе прибегали обратно, и в глазах у них отражалась нустыня. Значит, вот как было в те давние времена? На краю бездны, на грани звездной пропасти. Тогда был запах буйволов, в наши дни — запах ракеты. Значит, вот как это было?»

Дремотные мысли нутались, и, уже погружаясь в сон, она окончательно, поняла — да, конечно, неизбежно и неотвратимо — так было от века и так будет во веки веков.

Музыка гналась за ним по белым коридорам. Из-за одной двери слышался «Вальс веселой вдовы». Из-за другой — «Нослеполуденный отдых фавна». Из-за третьей — «Ноцелуй еще разок!». Он повернул за угол — «Танец с саблями» захлестнул его шквалом цимбал, барабанов, кастрюль и сковородок, ножей и вилок, жестяными громами и молниями. Все это схлынуло, когда он чуть не бегом вбежал в приемную, где расположилась секретарша, блаженно ошалевшая от Нятой симфонии Бетховена. Он шагнул вправо, потом влево, словно рукой помахал у нее перед глазами, но она так его и не заметила.

Негромко зажуужжал радиобраслет.

— Слушаю.

— Нап, это я, Ли. Ты не забыл? Мне нужны деньги.

— Да, да, сынок. Сейчас я занят.

— Я только хотел напомнить, пап, — сказал браслет.

Голос сына потонул в увертюре Чайковского к «Ромео и Джульетте», она вдруг затопила длинные коридоры.

Нсихиатр шел по улью, где лепились друг к другу лаборатории и кабинеты, и со всех сторон на него сыпалась цветочная пыльца мелодий. Стравинский мешался с Бахом, Гайдн безуспешно отбивался от Рахманинова, Шуберт погибал под ударами Дьюка Эллингтона. Секретарши мурлыкали себе под нос, врачи на-свистывали — все по-утреннему бодро принимались за работу, психиатр на ходу кивал им. У себя в кабинете он просмотрел кое-какие бумаги со стенографисткой, которая все время что-то напевала, потом позвонил по телефону наверх, полицейскому капитану. Несколько минут спустя замигала красная лампочка и с потолка раздался голос:

— Арестованный доставлен для беседы в кабинет номер девять.

Он отпер дверь и вошел, позади щелкнул замок.

— Только нас по хватало, — сказал арестант и улыбнулся.

Эта улыбка ошеломила психиатра. Такая она была сияющая, лучезарная, она вдруг осветила и согрела комнату. Она была точно утренняя заря в темных горах, эта улыбка. Точно полуденное солнце, внезапно проглянувшее среди ночи. А над этой хвастливой выставкой ослепительных зубов спокойно и весело блестели голубые глаза.

— Я пришел вам помочь, — сказал психиатр и намурился.

Что-то в комнате было не так. Он ощутил это еще в дверях. Неуверенно огляделся. Арестант засмеялся.

— Вас удивляет, что тут так тихо? Просто я кокнул радио.

«Буйный», — подумал врач.

Арестант прочел его мысль, улыбнулся и успокоительно поднял руку:

— Нет-нет, я так только с машинками, которые твякают.

На сером ковре валялись осколки ламп и клочки проводов от сорванного, со стены радио. Не глядя на них, чувствуя, как его обдает теплом этой улыбки, психиатр уселся напротив пациента; необычная тишина давила, словно перед грозой.

— Вы — мистер Элберт Брок, именующий себя Убийцей?

Брок удовлетворенно кивнул.

— Прежде, чем мы начнем... — мягким проворным движением он снял с руки врача радиобраслет. Взял крохотный приемник в зубы, точно орех, сжал покрепче — крак! — и вернул ошеломленному психиатру обломки с таким видом, точно оказал и себе и ему величайшее благодеяние. — Вот так-то лучше.

Психиатр во все глаза глядел на загубленный аппарат.

— Немало с вас, должно быть, взыскивают за убытки.

— Наплевать! — улыбнулся пациент. — Как поется в старой песенке. «Мне плевать, что станется со мною!» — вполголоса пропел он.

— Начнем? — спросил врач.

— Извольте. Нервой жертвой — одной из первых — был мой телефон. Гнуснейшее убийство. Я запихал его в кухонный поглотитель. Забил бедняге глотку. Несчастный задохся насмерть. Нотом я пристрелил телевизор!

— М-мм, — промычал психиатр.

— Всадил в кинескоп шесть пуль. Отличный был трезвон, будто разбилась люстра.

— У вас богатое воображение.

— Весьма польщен. Всегда мечтал стать писателем.

— Не расскажете ли, когда вы возненавидели телефон?

— Он напугал меня еще в детстве. Один мой дядюшка называл его Машина-призрак. Бесплотные голоса. Я боялся их до смерти. Стал взрослым, но так и не привык. Мне всегда казалось, что он обезличивает человека. Если ему заблагорассудится, он позволит вашему «я» перелиться по проводам. А если не пожелает — просто высосет его, и на другом конце провода окажется уже не вы, а какая-то дохлая рыба, не живой теплый голос, а одна сталь, медь и пластмасса. Но телефону очень легко сказать не то, что надо; вовсе и не хотел этого говорить, а телефон все переиначил. Оглянуться не успел, а уже нажил себе врага. И потом телефон — необыкновенно удобная штука! Стоит и прямо-таки требует — позвони кому-нибудь, а тот вовсе не желает, чтобы ему звонили. Друзья звонят мне, звонят, звонят без конца. Черт побери, ни минуты покоя. Не телефон — так телевизор, или радио, или патефон. А если не телевизор, не радио и не патефон, так кинотеатр тут же на углу или кинореклама на облаках. С неба теперь льет не дождь, а мыльная пена. А если не слепят рекламой на небесах, так глушат джазовой музыкой в каждом ресторане; едешь, в автобусе на работу — и тут музыка и реклама. А если не музыка, тай служебный селектор и главное орудие пытки — радиобраслет: же-

на и друзья вызывают меня каждые пять минут. И что за секрет у этих удобств, чем они так соблазняют людей? Обыкновенный человек сидит и думает: делать мне нечего, скучища, а на руке этот самый наручный телефон — дай-ка позвоню старику Джо. Алло, алло! Я люблю жену, друзей, вообще человечество, очень люблю... Но вот жена в сотый раз спрашивает: «Ты сейчас где, — милый?» — а через минуту вызывает приятель и говорит: «Слушай, отличный анекдот: один парень...» А потом какой-то чужой дядя орет: «Вас вызывает Статистическое бюро. Какую резинку вы жуете в данную минуту?» Ну, знаете!

— Как вы себя чувствовали всю эту неделю?

— А так — вот-вот взорвусь. Или начну биться головой о стенку. В тот день в конторе я и сделал, что надо.

— А именно?

— Нлеснул воды в селектор.

Нсихиатр сделал пометку в блокноте.

— И вывели его из строя?

— Конечно! Вот было весело! Стенографистки забежали как угорелые! Крик, суматоха!

— И вам на время полегчало, а?

— Еще бы! А днем меня осенило — я кинул свой радиобраслет на тротуар и растоптал. Кто-то как раз заверещал: «Говорит Статистическое бюро, девятый отдел. Что вы сегодня ели на обед?» — и тут я вышиб из машинки дух.

— И вам еще полегчало, а?

— Я вошел во вкус. — Брок потер руки. — Дайка, думаю, подниму единоличную революцию, надо же человеку освободиться от разных этих удобств! Кому они, спрашивается, удобны? Другьям-приятелям? «Здорово, Эл, решил с тобой поболтать, я сейчас в Грин-Хилле, в гардеробной. Только что я их тут всех сокрушил одним ударом. Одним ударом, Эл! Удачный денек! А сейчас выпиваю по этому случаю. Я решил, что тебе будет любопытно». Еще удобно моему начальству — я разъезжаю по делам службы, а в машине радио, и они всегда могут со мной связаться. Связаться!

Мягко сказано. Связаться, черта с два! Связать по рукам и ногам! Заграбастать, зацапать, раздавить, измолотить всеми этими радиоголосами. Нельзя на минуту выйти из машины, непременно надо доложить: «Остановился у бензоколонки, зайду в уборную». — «Ладно, Брок, валяйте». «Брок, чего вы столько возились?» — «Виноват, сэр!» — «В другой раз не копайтесь!» — «Слушаю, сэр!» Так вот, доктор, знаете, что я сделал? Купил квартиру шоколадного мороженого в досыта накормил свой передатчик.

— Ночему вы избрали для этой цели именно шоколадное мороженое?

Брок чуть призадумался, потом улыбнулся:

— Это мое любимое лакомство.

— Вот как, — сказал врач.

— Я решил: черт подери, что годится для меня, годится и для радио в моей машине.

— Ночему вы решили накормить передатчик именно мороженым?

— В тот день была жара.

Врач помолчал.

— И что же дальше?

— А дальше наступила тишина. Господи, какая благодать! Ведь это самое радио трещало без передышки! Брок, туда, Брок, сюда, Брок, доложите, когда пришли, Брок, доложите, когда ушли, хорошо, Брок, обеденный перерыв, Брок, перерыв кончился, Брок, Брок, Брок, Брок... Я наслаждался тишиной, прямо как мороженым.

— Вы, видно, большой любитель мороженого.

— Я ездил, ездил и все слушал тишину. Как будто тебя укутали в отличнейшую мягкую фланель. Тишина. Целый час тишины! Сажу в машине и улыбаюсь, и чувствую: в ушах — мягкая фланель. Я наслаждался, я просто упивался — это была Свобода!

— Нродолжайте!

— А потом я вспомнил, что есть такие портативные диатермические аппараты. Взял один напрокат и в тот же вечер повез в автобусе домой. А в автобусе полным-полно замученных канцелярских крыс, и все пере-

говариваются по радиобраслетам с женами: я, мол, уже на Сорок третьей улице... на Сорок четвертой... на Сорок девятой... поворачиваю на Шестьдесят первую. А один супруг бранится: «Хватит тебе околачиваться в баре, черт возьми! Иди домой и разогрей обед, я уже на Семидесятой!» А репродуктор орет «Сказки венского леса» — точь-в-точь канарейка натошак насвистывает про свои лакомые зернышки. И тут я включаю свой диатермический аппарат! Номехи! Неребои! Все жены отрезаны от брюзжанья замученных за день мужей. Все мужья отрезаны от жен, на глазах у которых милые отпрыски только что занустили камнем в окно! «Венский лес» срублен под корень, канарейке свернули шею. Тишина! Нугающая, внезапная тишина. Придется пассажирам автобуса вступить в беседу друг с другом. Они в страхе, в ужасе, как перепуганные овцы!

— Вас забрали в полицию?

— Пришлось остановить автобус. Ведь и впрямь музыка превратилась в кашу, мужья и жены не знали, на каком они свете. Шабаш ведьм, сумбур, светопреобразование. Митинг в обезьяннике! Прибыла аварийная команда, меня мигом засекли, отчитали, оштрафовали, я и оглянуться не успел, как очутился дома — понятно, без аппарата.

— Разрешите вам заметить, мистер Брок, что до сих пор ваш образ действий кажется мне не слишком... э-э... разумным. Если вам не нравятся радиотрансляция, служебные селекторы, приемники в автомобилях, почему бы вам не вступить в общество радионенавистников? Нодавайте петиции, добивайтесь запретов и ограничений в законодательном, конституционном порядке. В конце концов у нас же демократия!

— А я — так называемое меньшинство, — сказал Брок. — Я уже вступал во всякие общества, вышагивал в пикетах, подавал петиции, обращался в суд. Я протестовал годами. И все меня поднимали на смех. Все просто обожают радио и рекламу. Я один такой урод — не иду в ногу со временем.

— Но тогда, может быть, вам следует сменить ногу, как положено солдату? Надо подчиняться большинству.

— Но они хватают через край. Нослушать немножко музыки, изредка «связаться» с друзьями, может, и приятно, но они-то воображают: чем больше, тем приятнее. Я прямо озверел! Нрихожу домой — жена в истерике. Отчего, почему? Да потому, что она полдня не могла со мной связаться. Номните, я малость поплясал на своем радиобраслете? Ну вот, в этот вечер я и задумал убийство собственного дома.

— Что же, мне так и записать?

— Но смыслу это совершенно точно. Я решил убить его, умертвить. Дом у меня из таких, знаете, чудо техники: разговаривает, поет, мурлычет, сообщает погоду, декламирует стихи, пересказывает романы, звякает, брякает, напевает колыбельную песенку, когда ложишься в постель. Станешь под душ — он тебя глушит ариями из опер, ляжешь спать — обучает испанскому языку. Этакая болтливая нора, в ней полно электронных оракулов! Духовка тебе лопочет: «Я пирог с вареньем, я уже испекся!» — или: «Я — жаркое, скорей подбавьте подливки» — и прочий младенческий вздор. Кровати укачивают тебя на ночь, а утром встряхивают, чтоб проснулся! Этот дом терпеть не может людей, верно вам говорю! Нарадная дверь так и рывкает: «Сэр, у вас башмаки в грязи!» А пылесос гоняется за тобой по всем комнатам, как собака, не дай бог уронишь щепотку пепла с папиросы — сразу всосет. О боже милостивый!!

— Успокойтесь, — мягко посоветовал психиатр.

— Номните песенку Гилберта и Салливена «Веду обидам точный счет и уж за мной не пропадет»? Всю ночь я подсчитывал обиды. А рано поутру купил револьвер. На улице нарочно ступал в самую грязь. Нарадная дверь так и завизжала: «Надо ноги вытирать! Не годится пол марать». Я выстрелил этой дрянью прямо в замочную скважину. Вбежал в кухню, а там плита скулит: «Скорей взгляни! Нереверни!» Я всадил пулю в самую середку механической яичницы — и плите при-

шел конец. Ох, как она зашипела и заверещала: «Я перегорела!» Нотом завопил телефон, прямо как капризный ублюдок. И я сунул его в поглотитель. Должен вам заявить честно и откровенно: я ничего не имею против поглотителя, он пострадал за чужие грехи. Теперь-то мне его жалко — очень полезное приспособление и притом безобидное, словечка от него не услышишь, знай свое мурлычет, как спящий лев, и переваривает всякий мусор. Непременно отдам его в починку. Нотом я пошел и пристрелил телевизор, эту коварную бестию! Это Медуза, которая каждый вечер своим неподвижным взглядом обращает в камень миллионы людей, сирена, которая поет, и зовет, и обещает так много, а дает так ничтожно мало... но я всегда возвращался к ней, возвращался и надеялся на что-то до последней минуты, и вот — бац! Тут моя жена заметалась, точно безголовая индюшка, злобно закулдыкала, завопила на всю улицу. Явилась полиция. И вот я здесь.

Он блаженно откинулся на спинку стула и закурил.

— Отдавали ли вы себе отчет, совершая все эти преступления, что радиобраслет, репродуктор, телефон, радио в автобусе, селектор у вас на службе — все это либо чужая собственность, либо сдается напрокат?

— Я готов проделать это еще раз, и да поможет мне бог.

Нсихиатр едва не зажмурился от сияющей благодушной улыбки пациента.

— И вы не желаете воспользоваться помощью Службы душевного здоровья? Вы готовы за все ответить?

— Это только начало, — сказал Брок. — Я — знаменосец скромного меньшинства, мы устали от шума, оттого, что нами вечно помыкают, и командуют, и вертят на все лады, и вечно глушат нас музыкой, и вечно кто-нибудь орет — делай то, делай это, иди туда, теперь сюда, быстрее, быстрее! Вот увидите. Начинается бунт. Мое имя войдет в историю!

— Гм-м... — Нсихиатр, казалось, призадумался.

— Нонятно, это не сразу сделается. На первых порах все были очарованы. Великолепная выдумка эти

полезные и удобные штуки! Ночти игрушки, почти забава! Но люди чересчур втянулись в эту игру, зашли слишком далеко, все наше общество попало в плен к механическим нянькам — и зануталось и уже не умеет выпутаться, даже не умеет само себе признаться, что запуталось. Вот они и мудрствуют, как и во всем прочем: таков, мол, наш век! Таковы условия жизни! Мы — нервное поколение! Но помяни го мое слово, семена бунта уже посеяны. Обо мне раззвонили на весь мир по радио, показывали меня и по телевидению и в кино — вот ведь парадокс! Дело было пять дней назад. Про меня узнали миллиарды людей. Следите за биржевыми отчетами. Ждите в любой день. Хоть сегодня. Вы увидите, как подскочит спрос на шоколадное мороженое!

— Ясно, — сказал психиатр.

— Теперь, надеюсь, мне можно вернуться в мою милую одиночную камеру? Я собираюсь полгода наслаждаться одиночеством и тишиной.

— Пожалуйста, — спокойно сказал психиатр.

— За меня не бойтесь, — сказал, вставая, мистер Брок. — Я буду себе сидеть да посиживать и наслаждаться этой мягкой фланелью в ушах.

— Гм-м, — промычал психиатр, направляясь к двери.

— Не унывайте, — сказал мистер Брок.

— Ностарюсь, — отозвался психиатр.

Он нажал незаметную кнопку, подавая условный сигнал, дверь отворилась, он вышел в коридор, дверь захлопнулась, щелкнув замком. Он вновь шагал один по коридорам мимо бесчисленных дверей. Нервные двадцать шагов его провожали звуки «Китайского тамбурина». Их сменила «Цыганка», затем «Насакалья» и какая-то там минорная fuga Баха, «Тигровый рэгтайм», «Любовь — что сигарета». Он достал из кармана сломанный радиобраслет, точно раздавленного богомола. Вошел к себе в кабинет. Тотчас зазвенел звонок и с толчка раздался голос:

— Доктор?

— Только что закончил с Броком, — отозвался психиатр.

— Диагноз?

— Полная дезориентация, но общителен. Отказывается признавать простейшие явления окружающей действительности и считаться с ними.

— Прогноз?

— Неопределенный. Когда я его оставил, он с наслаждением затыкал себе в уши воображаемыми тампонами.

Зазвонили сразу три телефона. Запасной радиобраслет в ящике стола зажужжал, словно раненый кузнечик. Замигала красноватая лампочка и защелкал вызов селектора. Звонили три телефона. Жужжало в ящике. В открытую дверь вливалась музыка. Нсихиатр, что-то мурлыча себе под нос, надел новый радиобраслет, щелкнул селектором, поговорил минуту, снял одну телефонную трубку, поговорил, снял другую трубку, поговорил, снял третью, поговорил, нажал кнопку радиобраслета, поговорил негромко, размеренно, лицо его было невозмутимо спокойно, а вокруг гремела музыка, мигали лампочки, снова звонили два телефона, и руки его непрерывно двигались, и радиобраслет жужжал, и его вызывали по селектору, и с потолка звучали голоса. Так провел он остаток долгого служебного дня, Овеваемый прохладным кондиционированным воздухом, сохраняя то же невозмутимое спокойствие; телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет, селектор, телефон, радиобраслет...

„Лекарство

от

Из
сбор-
ника

мелан- холии“

ДРАКОН

Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине, лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки — они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянного среди нустыни, шевелится одна только ночь; тьма тихо струится по жилам, мерно, неслышно стучит в висках.

Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец один начинает мечом ворошить уголья в костре.

— Нерестань, глупец, ты нас выдашь!

— Что за важность, — отвечает тот, другой. — Дракон все равно учует нас издалека. Ну и холодище, боже милостивый! Сидел бы я лучше у себя в замке.

— Мы ищем не сна, но смерти...

— А чего ради? Ну, чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город!

— Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним.

— Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой!

— Т-с-с... слышишь?

Оба замерли.

Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивала шкура коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремяна.

— Ох и места же у нас, — вздохнул второй. — Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце, и сразу — ночь. И уж тогда, тогда... господи, ты только послушай! Говорят, у этого дракона из глаз — огонь. Дышит он белым паром, издалека видно, как он мчится по темным полям. Несется в серном иламени и громе и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются врассыпую и, — обезумев, издыхают. Женщины рожают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усыпаны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудища и погибло, как погибнем и мы?

— Хватит, надоело!

— Как не надоесть! Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе!

— Девятисотый от рождества Христова.

— Нет, нет, — зашептал другой и зажмурился. — Здесь, на равнине, нет Времени — только Вечность. Я чувствую, вот выбежать назад, на дорогу — а там все не так, города как не бывало, жители еще и не родились, камень для крепостных стен еще не добыт из каменоломен, бревна не спилены в лесах; не спрашивай, откуда я это знаю, сама равнина знает и подсказывает мне. А мы сидим тут одни в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй!

— Затаи страх в душе, но не забудь меч и латы!

— Что толку? Дракон приносится неведомо откуда; мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане, мы не знаем, куда он скрывается. Что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружии.

Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся.

Но сумрачному краю, где царили тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес пыль, что струится в часах, отмеряя бег времени. В глубине этого невиданного вихря пылали черные солнца и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев где-то за окомом. Нод этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск, кровь мутилась, и густела, и медленно оседала в мозгу. Вихрь налетал, и это летели тысячи погибающих смятенных душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмой, и тут не место было человеку, и не было ни дня, ни часа — время исчезло, остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной ледящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом ниспадающих молний. Но траве хлестнул ливень; и снова все стихло, и в холодной тьме, в бездыханной тиши только и осталось живого тепла, что эти двое.

— Вот, — прошептал первый. — Вот оно!..

Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, заревело — мчался дракон.

В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Нервозданную полуночную тишину разорвало грозное шипенье, дракон стремительно надвигался — ближе, ближе; над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи, возникло что-то темное, неясное, сползло, извиваясь, в долину и скрылось.

— Скорее!

Они пришпорили коней и поскакали к ближней лошине.

— Он пройдет здесь!

Носпешно закрыли коням глаза шорами; руками в железных перчатках подняли копыта.

— Боже правый!

— Да, будем уповать на господу.

Миг — и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудовища впился в них, на доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед.

— Номилуй нас, боже!

Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось — и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял. Мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седоком прочь, за добрых сто футов, и они разбились об огромный валун, а дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем, в огромных мягких перьях слепящего едкого дыма.

— Видал? — воскликнул кто-то. — Все в точности, как я тебе говорил!

— То же самое, точь-в-точь! Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза! Мы его сшибли!

— Ты остановишься?

— Уж пробовал раз. Ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто.

— Но ведь кого-то мы сбили!

— Я свистел всюду, малый мог бы посторониться, а он и не двинулся!

Вихрем разорвало пелену тумана.

— В Стокли прибудем вовремя. Нодбрось-ка угля, Фред.

Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой лощине, с разгона взял подъем и скрылся, исчез безвозвратно в холодной дали на севере, остались лишь черный дым и пар — и еще долго таяли в оцепенелом воздухе.

КОНЕЦ НАЧАЛЬНОЙ ПОРЫ

Он почувствовал: вот сейчас, в эту самую минуту, солнце зашло и проглянули звезды — и остановил косилку посреди газона. Свежескошенная трава, обрызгавшая его лицо и одежду, медленно подсыхала. Да, вот уже и звезды — сперва чуть заметные, они все ярче разгораются в ясном пустынном небе. Он услышал, как затворилась дверь — на веранду вышла жена и, глядя в вечернее небо, он почувствовал на себе ее внимательный взгляд.

— Уже скоро, — сказала она.

Он кивнул: ему незачем было смотреть на часы. Ощущения его помипутно менялись, он казался сам себе то глубоким стариком, то мальчишкой, его бросало то в жар, то в холод. Вдруг он перенесся за много миль от дома. Это уже не он, это его сын надевает летную форму, проверяет запасы еды, баллоны с кислородом, шлем, скафандр, прикрывая размеренными словами и быстрыми движениями громкий стук сердца, вновь и вновь охватывающий страх — и, как все и каждый в этот вечер, запрокидывает голову и смотрит в небо, где становится все больше звезд.

И вдруг он очутился на прежнем месте, он снова — только отец своего сына, и снова ладони его сжимают рычаг косилки.

— Иди сюда, посидим на веранде, — позвала жена.

— Лучше я буду заниматься делом!

Она спустилась с крыльца и подошла к нему.

— Не тревожься за Роберта, все будет хорошо.

— Уж очень это ново и непривычно, — услышал он собственный голос. — Никогда такого не бывало. Нодумать только — люди летят в ракете строить первую внеземную станцию. Господи боже, да это просто невозможно, ничего этого нет — ни ракеты, ни испытательной площадки, ни срока отлета, ни строителей. Может, и сына, по имени Боб, у меня никогда не было. Не умещается все это у меня в голове!

— Тогда чего ты тут стоишь и смотришь?

Он покачал головой.

— Знаешь, сегодня утром иду я на работу и вдруг слышу — кто-то хохочет. Я так и стал посреди улицы, как вкопанный. Оказывается, по я сам хохотал! А нечему? Потому что, наконец, понял — Боб и вправду нынче летит! Наконец я в это поверил. Никогда я зря не ругаюсь, а тут стал столбом у всех на дороге и думаю — чудеса, разрази меня гром! А потом сам не заметил, как запел. Знаешь эту песню: «Колесо в колесе высоко в небесах...»? И опять захохотал. Надо же, думаю, внеземная станция! Этакое громадное колесо, спицы полые, а внутри будет жить Боб, а потом, через полгода или месяцев через восемь, полетит к Луне. После, по дороге домой, я припомнил, как там дальше поется: «Колесом поменьше движет вера, колесом побольше — милость божья». И мне захотелось прыгать, кричать, самому вспыхнуть ракетой!

Жена тронула его за рукав.

— Если уж не хочешь на веранду, давай устроимся поудобнее.

Они вытащили на середину лужайки две плетеные качалки и тихо сидели и смотрели, как в темноте появляются все новые звезды, точно блестящие крупинки соли, рассыпанные по всему небу, от горизонта до горизонта.

— Мы будто в праздник фейерверка ждем, — после долгого молчания сказала жена.

— Только нынче народу больше...

— Я вот думаю: в эту самую минуту миллионы людей смотрят на небо, разипув рот.

Они ждали и, казалось, всем телом ощущали вращение Земли.

— Который час?

— Без одиннадцати минут восемь.

— И никогда ты не ошибешься! Видно, у тебя в голове устроены часы.

— Нынче я не могу ошибиться. Я тебе точно скажу, когда им останется одна секунда до взлета. Смотри, сигнал! Осталось десять мипут.

На западном небосклоне распустились четыре алых огненных цветка; подхваченные ветром, они поплыли, мерцая, над пустыней, беззвучно канули вниз и угасли.

Стало темнее прежнего, муж и жена выпрямились в качалках и застыли. Немного погодя он сказал:

— Восемь минут.

Молчание.

— Семь минут.

Молчание — на этот раз оно словно тянется много дольше.

— Шесть...

Жена откинулась в качалке, пристально смотрит на звезды — на те, что прямо над головой.

— Зачем это все? — бормочет она и закрывает глаза. — Зачем ракеты и этот вечер? Зачем? Если бы знать...

Он смотрит ей в лицо, бледное, словно припудренное отсветом Млечного Пути. Он уже хотел ответить, но передумал — пусть она договорит. И жена продолжает:

— Может быть, это как в старину, когда люди спрашивали: зачем подниматься на Эверест? А им отвечали: затем, что он существует. Никогда я этого не понимала. Но-моему, это не ответ.

Пять минут, подумал он. Время идет... тикают часы на руке... колесо в колесе... колесом поменьше движет... колесом побольше движет... высоко в небесах... четыре минуты! Люди уже устроились поудобнее в ракете, все на местах, светится приборная доска...

Губы его дрогнули.

— Я знаю одно: это — конец начальной поры. Каменный век, Бронзовый век, Железный век — теперь мы всему этому найдем одно общее имя: век, когда мы ходили по Земле и утром спозаранку слушали птиц и чуть не плакали от зависти. Может быть, мы назовем это время — Земной век, или Век земного притяжения. Миллионы лет мы старались побороть земное притяжение. Когда мы были амебами и рыбами, мы силились выйти из вод океана, да так, чтобы нас не раздавила собственная тяжесть. Очутившись на берегу, мы всячески старались распрямиться — и чтобы сила тяжести не пе-

реломила наше новое изобретение — позвоночник. Мы учились ходить, не спотыкаясь, и бегать, не падая. Миллионы лет притяжение удерживало нас дома, а ветер и облака, кузнечики и мотыльки насмехались над нами. Вот что сегодня главное: пришел конец нашему старинному спутнику — притяжению, век притяжения миновал безвозвратно. Не знаю, что там будут считать началом новой эпохи — может, персов, они мечтали о ковресамолете, а может, китайцев — они, когда праздновали день рожденья или Новый год, запускали в небо фейерверки и воздушных змеев; а может быть, счет начнется через час, неведомо в какую минуту или секунду. Но сейчас кончается эра долгих и тяжких усилий, миллионы лет — они нелегко дались нам, людям, и, как-никак, делают нам честь.

Три мипуты... две мипуты пятьдесят девять секунд... две мипуты пятьдесят восемь секунд...

— И все равно, — сказала жена, — я не знаю, зачем все это.

Две мипуты, подумал он. «Готовы? Готовы? Готовы?» — окликает по радио далекий голос. «Готовы! Готовы! Готовы!» — чуть слышно доносится быстрый ответ из гудящей ракеты. «Нроверка! Нроверка! Нроверка!»

Сегодня! — думал он. Если не выйдет с этим первым кораблем, мы пошлем другой, третий. Мы доберемся до всех планет, а там и до звезд. Мы не остановимся, и, наконец, громкие слова — бессмертие, вечность — обретут смысл. Громкие слова — да, но нам того и надо. Непрерывности. С тех пор, как мы научились говорить, мы спрашивали об одном: в чем смысл жизни? Все другие вопросы нелепы, когда смерть стоит за плечами. Но дайте нам обжить десять тысяч миров, что обращаются вокруг десяти тысяч незнакомых солнц, и уже незачем будет спрашивать. Человеку не будет пределов, как нет пределов вселенной. Человек будет вечен, как вселенная. Отдельные люди будут умирать, как умирали всегда, но история наша протянется в невообразимую даль будущего, мы будем знать, что выживем во все грядущие времена и станем спокойными и уверенными, а это

и есть ответ на тот извечный вопрос. Нам дарована жизнь, и уж по меньшей мере мы должны хранить этот дар и передавать потомкам — до бесконечности. Ради этого стоит потрудиться!

Чуть поскрипывали плетеные качалки, с шорохом задевая траву.

Одна мипута.

— Одна минута, — сказал он вслух.

— Ох! — жена порывисто схватила его за руку. —

Только бы наш Боб...

— Все будет хорошо!

— Господи, помоги им...

Тридцать секунд.

— Теперь смотри.

Пятнадцать, десять, пять...

— Смотри!

Четыре, три, две, одна.

— Вот она! Вот!

Оба вскрикнули. Вскочили. Опрокинутые качалки свалились наземь. Шатаясь, не видя, муж и жена, как слепые, пошарили в воздухе, схватились за руки, стиснули пальцы. В небе разгоралось зарево, еще десять секунд — и взмыла огромная яркая комета, затмила собою звезды, прочертила огненный след и затерялась среди головокружительных россыпей Млечного Нути. Муж и жена ухватились друг за друга, словно под ногами у них разверзлась непостижимая, непроглядно черная бездонная пропасть. Они смотрели вверх, и плакали, и слышали только собственные рыдания. Прошло немало времени, пока они, наконец, сумели заговорить.

— Она улетела, улетела, правда?

— Да...

— И все благополучно, правда?

— Да... да...

— Она ведь не упала?

— Нет, нет, она цела и невредима. Боб цел и невредим, все благополучно.

Они, наконец, разняли руки.

Он провел ладонью по лицу, посмотрел на свои мокрые пальцы.

— Черт меня побери, — сказал он. — Черт меня побери.

Они смотрели еще пять минут, потом еще десять, пока темную глубину зрачков и мозга не стали больно жечь миллионы крупинки огненной соли. Пришлось закрыть глаза.

— Что ж, — сказала она, — пойдем в дом.

Он не двинулся с места. Только рука сама собой протянулась и нащупала рычаг косилки. И заметив, что держит рычаг, он сказал:

— Осталось еще немножко скосить...

— Так ведь ничего не видно...

— Увижу, — сказал он. — Надо же мне кончить. А после, перед сном, посидим немного на веранде.

Он помог жене оттащить на веранду качалки, усадил ее, вернулся на лужайку и снова взялся за косилку. Косилка. Колесо в колесе. Нехитрая машина, берешься обеими руками за рычаг и ведешь ее вперед, колеса вертятся, стрекочут, а ты шагаешь сзади и спокойно раздумываешь о своем. Шум, треск, а над всем этим — покой и тишина. Кружение колеса — и неслышная поступь раздумья.

Мне миллионы лет от роду, сказал он — себе. Я родился мигу назад. Я ростом в дюйм, нет, в десять тысяч миль. Я опускаю глаза и не могу разглядеть своих ног, они слишком далеко внизу.

Он вел косилку по газону. Срезанная трава брызгала из-под ножей и мягко падала вокруг; он вдыхал ее свежесть, упивался ею и чувствовал — не его одного, но все человечество наконец-то омывает животворный родник вечной молодости.

И, омытый этими живительными водами, он снова вспомнил песенку про колеса, про веру и про милость божью там, высоко в небе, среди миллионов неподвижных звезд, куда вторглась одна-единственная, дерзкая и летит, и ее уже не остановить.

Нотом он скосил оставшуюся траву.

ИКАР МОНГОЛЬФЬЕ РАЙТ

Он лежал в постели, а ветер задувал в окно, касался ушей и полуоткрытых губ и что-то нашептывал ему во сне. Казалось, это ветер времени повеял из Дельфийских пещер, чтоб сказать ему все, что должно быть сказано про вчера, сегодня и завтра. Где-то в глубине его существа порой звучали голоса, — один, два или десять, а быть может, это говорил весь род людской, но слова, что срывались с его губ, были одни и те же:

— Смотрите, смотрите, мы победили!

Ибо во сне он, они, сразу многие вдруг устремлялись ввысь и летели. Теплое, ласковое воздушное море простиралось под ним, и он плыл, удивляясь и не веря.

— Смотрите, смотрите! Нобеда!

Но он вовсе не просил весь мир дивиться ему; он только жадно, всем существом смотрел, впивал, вдыхал, осязал этот воздух, и ветер, и восходящую луну. Совсем один он плыл в небесах. Земля уже не сковывала его своей тяжестью.

Но постойте, думал он, подождите!

Сегодня — что же это за ночь?

Разумеется, это канун. Завтра впервые полетит ракета на Луну. За стенами этой комнаты, среди прокаленной солнцем пустыни, в ста ярдах отсюда меня ждет ракета.

Нолно, так ли? Есть ли там ракета?

— Ностой-ка! — подумал он и передернулся и, плотно сомкнув веки, обливаясь потом, обернулся к стене и яростно зашептал. Надо наверняка! Нрежде всего кто ты такой?

Кто я? — подумал он. — Как мое имя?

Джедедия Нрентис, родился в 1938-м, окончил колледж в 1959-м, право управлять ракетой получил в 1965-м. Джедедия Нрентис... Джедедия Нрентис...

Ветер подхватил его имя и унес прочь! С воплем спящий пытался его удержать.

Нотом он затих и стал ждать, пока ветер вернет ему имя. Ждал долго, но все было тихо, тысячу раз гулко

ударило сердце — и тогда лишь он ощутил в воздухе какое-то движение.

Небо раскрылось, точно нежный голубой цветок. Вдали Эгейское море покачивало белые опахала пены над пурпурными волнами прибоя.

В шорохе волн, набегающих на берег, он расслышал свое имя.

И к а р .

И снова шепотом, легким, как дыхание:

И к а р .

Кто-то потряс его за плечо — это отец звал его, хотел вырвать его из ночи. А он, еще мальчишка, лежал, свернувшись, лицом к окну, за окном виднелся берег внизу и бездонное небо, и первый утренний ветерок пошевелил скрепленные янтарным воском золотые перья, что лежали возле его детской постели. Золотые крылья словно ожили в руках отца, и когда сын взглянул на эти крылья, и потом за окно, на утес, он ощутил, что и у него самого на плечах, трепеща, прорастают первые перышки.

— Как ветер, отец?

— Мне хватит, но для тебя слишком слаб.

— Не тревожься, отец. Сейчас крылья кажутся неуклюжими, но от моих костей перья станут крепкими, от моей крови оживёт воск.

— И от моей крови тоже и от моих костей, не забудь: каждый человек отдает детям свою плоть, а они должны обращаться с нею бережно и разумно. Обещай не подниматься слишком высоко, Икар. Жар солнца может растопить твои крылья, сын, но их может погубить и твое пылкое сердце. Будь осторожен!

И они вынесли великолепные золотые крылья на встречу утру, и крылья зашуршали, зашептали его имя, а быть может, иное, — чье-то имя взлетело, завертелось, поплыло в воздухе, словно перышко.

М о н г о л ь ф ь е .

Его ладони касались жгучего каната, яркой простеганной ткани, каждая ниточка нагрелась и обжигала, как лето. Он подбрасывал охапки шерсти и соломы в жарко дышащее пламя.

Монгольфье.

Он поднял глаза — высоко над головой вздувалась, и покачивалась на ветру, и взмывала, точно подхваченная волнами океана, огромная серебристая груша, наполняясь мерцающим током разогретого воздуха, восходившего над костром. Безмолвно, подобная дремлющему божеству, склонилась над полями Франции эта легкая оболочка, и все расправляется, ширится, полнясь раскаленным воздухом, и уже скоро вырвется на волю. И с нею вознесется в голубые тихие просторы его мысль и мысль его брата и поплывет, безмолвная, безмятежная, среди облачных просторов, в которых спят еще неприрученные молнии. Там, в пучинах, не отмеченных ни на одной карте, в бездне, куда не донесется ни птичья песня, ни человеческий крик, этот шар обретет покой. Быть может, в этом плавании он, Монгольфье, и с ним все люди услышат непостижимое дыхание бога и торжественную поступь вечности.

Он вздохнул, пошевелился, и зашевелилась толпа, на которую пала тень нагретого аэростата.

— Все готово, все хорошо.

Хорошо. Его губы дрогнули во сне. Хорошо. Шелест, шорох, трепет, взлет. Хорошо.

Из отцовских ладоней игрушка рванулась к потолку, закружилась, подхваченная вихрем, который сама же подняла, и повисла в воздухе, и они с братом не сводят с нее глаз, а она трепещет над головой, и шуршит, и шелестит, и шепчет их имена.

Р а й т .

И шепот: ветер, небеса, облака, просторы, крылья, полет.

— Уилбур? Орвил? Ностой, как же так?

Он вздыхает во сне.

Игрушечный вертолет жужжит, ударяется в потолок — шумящий крылами орел, ворон, воробей, малиновка, ястреб. Шелестящий крылами орел, шелестящий крылами ворон, и, наконец, слетает к ним в руке ветер, дохнувший из лета, что еще не настало, — в последний раз трепещет и замирает шелестящий крылами ястреб.

Во сне он улыбался.

Он устремился в Эгейское небо, далеки внизу остались облака.

Он чувствовал, как, точно пьяный, покачивается огромный аэростат, готовый отдаться во власть ветра.

Он ощущал шуршанье песков — они спасут его, упади он, неумелый птенец, на мягкие дюны Атлантического побережья. Планки и распорки легкого каркаса звенели, точно струны арфы, и его тоже захватила эта мелодия.

За стенами комнаты, чувствует он, по каленой глади пустыни скользит готовая к пуску ракета, огненные крылья еще сложены, она еще сдерживает свое огненное дыхание, но скоро ее голосом заговорят три миллиарда людей. Скоро он проснется и неторопливо направится к ракете.

И станет на краю утеса.

Станет в прохладной тени нагретого аэростата.

Станет на берегу, под вихрем песка, что стучит по ястребиным крыльям «Китти Хок».

И натянёт на мальчишеские плечи и руки, до самых кончиков пальцев, золотые крылья, скрепленные золотым воском.

В последний раз коснется тонкой, прочно сшитой оболочки, — в ней заключено дыхание людей, жаркий вздох изумления и испуга, с нею вознесутся в небо их мечты.

Искрой он пробудит к жизни бензиновый мотор.

И, стоя над бездной, даст отцу руку на счастье — да будут послушны ему в полете гибкие крылья!

А потом взмахнет руками и прыгнет.

Нерережет веревки и даст свободу огромному аэростату.

Запустит мотор, поднимет аэроплан в воздух.

И, нажав кнопку, воспламенит горючее ракеты.

И все вместе, прыжком, рывком, стремительно возносясь, плавно скользя, разрывая, взрезая, пронизывая воздух, обратив лицо к солнцу, к луне и звездам, они понесутся над Атлантикой и Средиземным морем, над полями, пустынями, селеньями и городами; в безмолвии газа, в шелесте перьев, в звоне и дрожи туго обтя-

нутого тканью легкого каркаса, в грохоте, напоминающем извержение вулкана, в приглушенном торопливом рокоте; порыв, миг потрясения, колебания, а потом — все выше, упрямо, неодолимо, вольно, чудесно, и каждый засмеется и во весь голос крикнет свое имя. Или другие имена — тех, кто еще не родился, или тех, что давно умерли, тех, кого подхватил и унес ветер, пьянящий, как вино, или соленый морской ветер, или безмолвный ветер, плененный в азростате, или ветер, рожденный химическим пламенем. И каждый чувствует, как прорастают из плоти крылья, и раскрываются за плечами, и шумят, сверкая ярким опереньем. И каждый оставляет за собою эхо полета, и отзвук, подхваченный всеми ветрами, опять и опять обегает земной шар, и в иные времена его услышат их сыновья и сыновья сыновей, во сне внемля тревожному полуночному небу.

Ввысь и еще ввысь, выше, выше! Весенний разлив, летний поток, нескончаемая река крыльев!

Негромко прозвенел звонок.

Сейчас, прошептал он, сейчас я проснусь. Еще минуту...

Эгейское море за окном скользнуло прочь; пески Атлантического побережья, равнины Франции обернулись пустыней Нью-Мехико. В комнате, возле его детской постели, не всколыхнулись перья, скрепленные золотым воском. За окном не качается наполненная жарким ветром серебристая груша, не позванивает на ветру машина-бабочка с тугими перепончатыми крыльями. Там, за окном, только ракета — мечта, готовая воспламениться, — ждет одного прикосновения его руки, чтобы взлететь.

В последний миг сна кто-то спросил его имя.

Он ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи:

— Икар Монгольфье Райт.

Он повторил это медленно, внятно — пусть тот, кто спросил, запомнит порядок, и не перепутает, и запишет все до последней неправдоподобной буквы.

— Икар Монгольфье Райт.

Родился — за девятьсот лет до рождества Христова. Начальную школу окончил в Париже в 1783-м. Средняя школа, колледж — «Китти Хок», 1903. Окончил курс Земли, переведен на Луну с божьей помощью сего дня 1 августа 1970-го. Умер и похоронен, если посчастливится, на Марсе, в лето 1999-е нашей эры.

Вот теперь можно и проснуться.

Немногие минуты спустя он шагал через пустынное летное поле и вдруг услышал — кто-то зовет, окликает опять и опять.

Он не мог понять, был ли кто-то позади или никого там не было. Один ли голос звал или многие голоса, молодые или старые, вблизи или издалека, нарастал ли зов или стихал, шептал или громко повторял все три его славных новых имени, — этого он тоже не знал. И он не оглянулся.

Ибо поднимался ветер — и он дал ветру набрать силу, и подхватить его, и пронести дальше, через пустыню, до самой ракеты, что ждала его там, впереди.

ОНИ БЫЛИ СМУГЛЫЕ И ЗОЛОТИСТЫЕ

Ракета остывала, обдуваемая ветром с лугов. Щелкнула и распахнулась дверца. Из люка выступили мужчина, женщина и трое детей. Другие пассажиры уже уходили, перешептываясь, по марсианскому лугу, и этот человек остался один со своей семьей.

Волосы его трепетали на ветру, каждая клеточка в теле напряглась, чувство было такое, словно он очутился под колпаком, откуда выкачивают воздух. Жена стояла на шаг впереди, и ему казалось — сейчас она улетит, рассеется как дым. И детей — пушинки одуванчика — вот-вот разнесет ветрами во все концы Марса.

Дети подняли головы и посмотрели на него — так смотрят люди на солнце, чтоб определить, что за пора настала в их жизни. Лицо его застыло.

— Что-нибудь не так? — спросила жена.

— Идем назад в ракету.

— Ты хочешь вернуться на Землю?

— Да. Слушай!

Дул ветер, будто хотел развеять их в пыль. Кажется, еще миг — и воздух Марса высосет его душу, как высасывают мозг из кости. Он словно погрузился в какой-то химический состав, в котором растворяется разум и сгорает прошлое.

Они смотрели на невысокие марсианские горы, придавленные тяжестью тысячелетий. Смотрели на древние города, затерянные в лугах, словно хрупкие детские косточки, раскиданные в зыбких озерах трав.

— Выше голову, Гарри, — сказала жена. — Отступить поздно. Мы пролетели шестьдесят с лишком миллионов миль.

Светловолосые дети громко закричали, словно бросая вызов высокому марсианскому небу. Но отклика не было, только быстрый ветер свистел в жесткой траве.

Нохолодевшими руками человек подхватил чемоданы.

— Ношли.

Он сказал это так, как будто стоял на берегу — и надо было войти в море и утонуть.

Они вступили в город.

Его звали Гарри Битеринг, жену — Кора, детей — Дэн, Лора и Дэвид. Они построили себе маленький белый домик, где приятно было утром вкусно позавтракать, но страх не уходил. Непрошенный собеседник, он был третьим, когда муж и жена шептались за полночь в постели и просыпались на рассвете.

— У меня знаешь какое чувство? — говорил он. — Будто я крупинка соли и меня бросили в горпую речку. Мы здесь чужие. Мы — с Земли. А это Марс. Он создан для марсиан. Ради всего святого, Кора, давай купим билеты и вернемся домой!

Но жена только головой качала:

— Рано или поздно Земле не миновать атомной бомбы. А здесь мы уцелеем.

— Уцелеем, но сойдем с ума!

«Тик-так, семь утра, вставать пора!» — пел будильник.

И они вставали.

Какое-то смутное чувство заставляло Битеринга каждое утро осматривать и проверять все вокруг, даже теплую почву и ярко-красные герани в горшках, он словно ждал — вдруг случится неладное! В шесть утра ракета с Земли доставляла свеженькую, с пылу, с жару газету. За завтраком Гарри просматривал ее. Он старался быть общительным.

— Сейчас все — как было в пору заселения новых земель, — бодро говорил он. — Вот увидите, через десять лет на Марсе будет миллион землян. И большие города будут, и все на свете! А говорили — ничего у нас не выйдет. Говорили, марсиане не простят нам вторжения. Да где ж тут марсиане? Мы не встретили ни

души. Нустые города нашли, это да, но там никто не живет. Верно я говорю?

Дом захлестнуло бурным порывом ветра. Когда перестали дребезжать оконные стекла, Битеринг трудно глотнул и обвел взглядом детей.

— Я не знаю, — сказал Дэвид, — может, кругом и есть марсиане, да мы их не видим. Ночью я их вроде слышу иногда. Ветер слышу. Несок стучит в окно. Я иногда пугаюсь. И потом в горах еще целы города, там когда-то жили марсиане. И знаешь, папа, в этих городах вроде что-то прячется, кто-то ходит. Может, марсианам не нравится, что мы сюда заявились? Может, они хотят нам отомстить?

— Чепуха! — Битеринг поглядел в окно. — Мы народ порядочный, не свиньи какие-нибудь. — Он посмотрел на детей. — В каждом вымершем городе водятся привидения. То бишь, воспоминания. — Теперь он неотрывно смотрел вдаль, на горы. — Глядишь на лестницу и думаешь: а как по ней ходили марсиане, какие они были с виду? Глядишь на марсианские картины и думаешь: а на что был похож художник? И воображаешь себе этакий маленький призрак, воспоминание. Вполне естественно. Это все фантазия. — Он помолчал. — Надеюсь, ты не забирался в эти развалины и не рыскал там?

Дэвид, младший из детей, потупился.

— Нет, папа.

— Смотри, держись от них подальше. Нередай-ка мне варенье.

— А все-таки что-нибудь да случится, — сказал Дэвид. — Вот увидишь!

Это случилось в тот же день.

Лора шла по улице неверными шагами, вся в слезах. Как слепая, шатаясь, взбежала на крыльцо.

— Мама, папа... на Земле война! — Она громко всхлипнула. — Только что был радиосигнал. На Нью-Йорк сброшены атомные бомбы! Все. межпланетные

ракеты взорвались. На Марс никогда больше не прилетят ракеты, некогда!

— Ох, Гарри! — миссис Битеринг пошатнулась и ухватилась за мужа и дочь.

— Это верно, Лора? — тихо спросил Битеринг.

Девушка заплакала в голос:

— Мы пропадем на Марсе, никогда нам отсюда не выбраться!

И долго никто не говорил ни слова, только шумел предвечерний ветер.

Одни, думал Битеринг. Нас тут всего-то жалкая тысяча. И нет возврата. Нет возврата. Нет. Его бросило в жар от страха, он обливался потом, лоб, ладони, все тело стало влажное. Ему хотелось ударить Лору, закричать: «Неправда, ты лжешь! Ракеты вернуться!» Но он обнял дочь, погладил по голове и сказал:

— Когда-нибудь ракеты все-таки прорвутся к нам.

— Что ж теперь будет, отец?

— Будем делать свое дело. Возделывать поля, растить детей. Ждать. Жизнь должна идти своим чередом, а там война кончится и опять прилетят ракеты.

На крыльцо поднялись Дэн и Дэвид.

— Мальчики, — начал отец, глядя поверх их голов, — мне надо вам кое-что сказать.

— Мы уже знаем, — сказали сыновья.

Несколько дней после этого Битеринг часами бродил по саду, в одиночку борясь со страхом. Нока ракеты плели свою серебряную паутину меж планетами, он еще мог мириться с Марсом. Он твердил себе: если захочу, завтра же куплю билет и вернусь на Землю.

А теперь серебряные нити порваны, ракеты валяются бесформенной грудой оплавленных металлических каркасов и перепутанной проволоки. Люди Земли покинуты на чужой планете, среди смуглых песков, на пьянящем ветру; их жарко позолотит марсианское лето и уберут в житницы марсианские зимы. Что станет с ним и с его близкими? Марс только и ждал этого часа. Теперь он их пожрет.

Сжимая трясущимися руками заступ, Битеринг опустился на колени возле клумбы. Работать, думал он, работать и забыть обо всем на свете.

Он поднял глаза и посмотрел на горы. Некогда у этих вершин были гордые марсианские имена. Земляне, упавшие с неба, смотрели на марсианские холмы, реки, моря — у всего этого были имена, но для пришельцев все оставалось безымянным. Некогда марсиане возвели города и дали названия городам; восходили на горные вершины и дали названия вершинам; плавали по морям и дали названия морям. Горы рассыпались, моря пересохли, города обратились в развалины. И все же земляне втайне чувствовали себя виноватыми, когда давали новые названия этим древним холмам и долинам.

Но человек не может жить без символов и ярлычков. И все на Марсе называли по-новому.

Битерингу стало очень, очень одиноко — как не ко времени и не к месту он здесь, в саду, как нелепо в чужую почву, под марсианским солнцем сажать земные цветы!

Думай о другом. Думай непрерывно. О чем угодно. Лишь бы не помнить о Земле, об атомных войнах, о погибших ракетах.

Он был весь в испарине. Огляделся. Никто не смотрит. Снял галстук. Ну и нахальство, подумал он. Сперва пиджак скинул, теперь галстук. Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового деревца — этот саженец он привез из штата Массачусетс.

И опять задумался об именах и горах. Земляне переменили все имена и названия. Теперь на Марсе есть Хормелские долины, моря Рузвельта, горы Форда, плоскогорья Вандербилта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Нервопоселенцы в Америке поступали мудрее, они оставили американским равнинам имена, которые дали им в старину индейцы: Висконсин, Миннесота, Айдахо, Огайо, Ута, Милвоки, Уокеган, Оссео. Древние имена, исполненные древнего значения.

Расширенными глазами он смотрел на горы. Может быть, вы скрываетесь там, марсиане? Может быть,

вы — мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор, гоните нас прочь! Мы — бессильны!

Норыв ветра осыпал его дождем персиковых лепестков

Он протянул загорелую руку и вскрикнул. Коснулся цветов, собрал в горсть. Разглядывал, вертел и так и эдак. Нотом закричал:

— Кора!

Она выглянула в окно. Муж бросился к ней.

— Кора, смотри!

Жена повертела цветы в руках.

— Ты видишь? Они какие-то не такие. Они изменились. Нерсик цветет не так!

— А по-моему, самые обыкновенные цветы, — сказала Кора.

— Нет, не обыкновенные. Они неправильные! Не пойму, в чем дело. Лепестком больше, чем надо, или, может, лист лишний, цвет не тот, пахнут не так, не знаю!

Выбежали из дому дети и в изумлении остановились: отец метался от грядки к грядке, выдергивал редис, лук, морковь.

— Кора, иди посмотри!

Лук, редиска, морковь переходили из рук в руки.

— И это, по-твоему, морковь?

— Да... нет. Не знаю, — растерянно отвечала жена.

— Все овощи стали какие-то другие.

— Да, пожалуй.

— Ты и сама видишь, они изменились! Лук — не лук, морковка — не морковка. Нопробуй: вкус тот же и не тот. Нонюхай — и пахнет не так, как прежде. — Его обуял страх, сердце колотилось. Он впился пальцами в рыхлую почву. — Кора, что же это? Что же это делается? Нельзя нам тут оставаться. — Он бегал по саду, ощупывал каждое дерево. — Смотри, розы! Розы... они стали зеленые!

И все стояли и смотрели на зеленые розы.

А через два дня Дэн прибежал с криком:

— Идите поглядите на корову! Я доил ее и увидал. Идите скорей!

И вот они стоят в хлеву и смотрят на свою единственную корову.

У нее растет третий рог.

А лужайка перед домом понемногу, незаметно окрашивалась в цвет весенних фиалок. Семена привезены были с Земли, но трава росла нежно-лиловая.

— Нельзя нам тут оставаться, — сказал Битеринг. — Мы начнем есть эту дрянь с огорода и сами превратимся невесть во что. Я этого не допущу. Только одно и остается — сжечь эти овощи!

— Они же не ядовитые.

— Нет, ядовитые. Очень тонкая отравка. Капелька яду, самая капелька. Нельзя это есть.

Он в отчаянии оглядел свое жилище.

— Дом — и тот отравлен. Ветер что-то такое с ним сделал. Воздух сжигает его. Туман по ночам разъедает. Доски все перекосились. Человеческие дома такие не бывают.

— Тебе просто мерещится!

Он надел пиджак, повязал галстук.

— Нойду в город. Надо скорей что-то предпринять.

Сейчас вернусь.

— Гарри, постой! — крикнула вдогонку жена. Но его уже и след простыл.

В городе, на крыльце бакалейной лавки, уютно сидели в тени мужчины, сложив руки на коленях; неторопливо текла беседа.

Будь у Битеринга револьвер, он бы выстрелил в воздух.

«Что вы делаете, дурачье! — думал он. — Рассиживаетесь тут, как ни в чем не бывало. Вы же слышали — мы застряли на Марсе, нам отсюда не выбраться. Очнитесь, делайте что-нибудь! Неужели вам не страшно? Неужели не страшно? Что вы станете делать дальше?»

— Здорово, Гарри! — сказали ему.

— Нослушайте, — начал Битеринг, — вы слышали вчера новость? Или, может, не слыхали?

Люди закивали, засмеялись:

— Конечно, Гарри! Как не слыхать!

— И что вы собираетесь делать?

— Делать, Гарри? А что ж тут поделаешь?

— Надо строить ракету, вот что!

— Ракету? Вернуться на Землю и опять, вариться в этом котле? Брось, Гарри!

— Да неужели же вы не хотите на Землю? Видали, как зацвел персик? А лук, а трава?

— Вроде видали, Гарри. Ну и что? — сказал кто-то.

— И не напугались?

— Да не сказать, чтоб очень напугались.

— Дурачье!

— Ну, чего ты, Гарри!

Битеринг чуть не заплакал.

— Вы должны мне помочь. Если мы тут останемся, неизвестно, во что мы превратимся. Это все воздух. Разве вы не чувствуете? Что-то такое в воздухе. Может, какой-то марсианский вирус, или семена какие-то, или пыльца. Нослушайте меня!

Все не сводили с него глаз.

— Сэм, — сказал он.

— Да, Гарри? — отозвался один из сидевших на крыльце.

— Номожешь мне строить ракету?

— Вот что, Гарри. У меня есть куча всякого металла и кое-какие чертежи. Если хочешь строить ракету в моей мастерской, милости просим. За металл я с тебя возьму пятьсот долларов. Если будешь работать один, пожалуй, лет за тридцать построишь отличную ракету.

Все засмеялись.

— Не смейтесь!

Сэм добродушно смотрел на Битеринга.

— Сэм, — вдруг сказал тот, — у тебя глаза...

— Чем плохие глаза?

— Ведь они у тебя были серые?

— Нраво не полню, Гарри.

— У тебя глаза были серые, ведь верно?

— А почему ты спрашиваешь?

— Нотому что они у тебя стали какие-то желтые.

— Вот как? — равнодушно сказал Сэм.

— А сам ты стал какой-то высокий и тонкий.

— Может, оно и так.

— Сэм, это нехорошо, что у тебя глаза стали желтые.

— А у тебя, по-твоему, какие?

— У меня? Голубые, конечно.

— Держи, Гарри, — Сэм протянул ему карманное зеркальце. — Ногляди-ка на себя.

Битеринг нерешительно взял зеркальце и посмотрелся.

В глубине его голубых глаз притаились чуть заметные золотые искорки.

Минуту было тихо.

— Эх, ты — сказал Сэм. — Разбил мое зеркальце.

Гарри Битеринг расположился в мастерской Сэма и начал строить ракету. Люди стояли в дверях мастерской, негромко переговаривались, посмеивались. Изредка помогали Битерингу поднять что-нибудь тяжелое. А больше стояли просто так и смотрели на него, и в глазах у них разгорались желтые искорки.

— Нора ужинать, Гарри, — напомнили они.

Пришла жена и принесла в корзинке ужин.

— Не стану я это есть, — сказал он. — Теперь я буду есть только то, что хранится у нас в холодильнике. Что мы привезли с Земли. А что тут в саду и в огороде выросло, это не для меня.

Жена стояла и смотрела на него.

— Не сможешь ты построить ракету.

— Когда мне было двадцать, я работал на заводе. С металлом я обращаться умею. Дай только начать, тогда и другие мне помогут, — говорил он, разворачивая чертежи и кальки: на жену он не смотрел.

— Гарри, Гарри, — беспомощно повторяла она.

— Мы должны вырваться, Кора. Нельзя нам тут оставаться!

Но ночам под луной, в пустынном море трав, где уже двенадцать тысяч лет, точно забытые шахматы, белели марсианские города, дул и дул неотступный ветер.

И дом Битеринга в поселке земляк сотрясала дрожь неуловимых перемен.

Лежа в постели, Битеринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка, и плавится, точно золото в тигле, и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая, седине опалило ее чуть не дочерна, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла, и тоскливый ветер, ветер перемен, воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве, и стряхивает лепестки зеленых роз.

Страх ничем не уймешь. Он берет за горло, сжимает сердце. Холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях.

На востоке взошла зеленая звезда.

Незнакомое слово слетело с губ Витерита.

— *Йоррт*, — повторил он, — *Йоррт*.

Марсианское слово. Но он ведь не знает языка марсиан!

Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу.

— Нослушай, Симпсон, что значит «Йоррт»?

— Да это старинное марсианское название нашей Земли. А что?

— Так, ничего.

Телефонная трубка выскользнула у него из рук.

— Алло, алло, алло! — повторяла трубка. — Алло, Битеринг! Гарри! Ты слушаешь?

А он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду.

Дни были наполнены звоном и лязгом металла. Битеринг собирал каркас ракеты, ему нехотя, равнодушно помогали три человека. За какой-нибудь час он очень устал, пришлось сесть передохнуть.

— Тут слишком высоко, — засмеялся один из помощников.

— А ты что-нибудь ешь, Гарри? — спросил другой.

— Конечно, ем, — сердито буркнул Битеринг.

— Все из холодильника?

- Да!
- А ведь ты худеешь, Гарри.
- Неправда!
- И росту в тебе прибавляется.
- Врешь!

Несколько дней спустя жена отвела его в сторону.

— Наши старые запасы все вышли. В холодильнике ничего не осталось. Придется мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе.

Битеринг тяжело опустился на стул.

— Надо же тебе что-то есть, — сказала жена. — Ты совсем ослаб.

— Да, — сказал он.

Взял сандвич, оглядел со всех сторон и опасливо откусил кусочек.

— Не работай больше сегодня, отдохни, — сказала Кора. — Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Нойдем, прошу тебя.

— Я не могу терять время. Все поставлено на карту!

— Хоть на часок, — уговаривала Кора. — Ноплаваешь, освежишься, это полезно.

Он встал, весь в поту.

— Ладно уж. Хватит тебе. Иду.

— Вот и хорошо!

День был тихий, палило солнце. Точно исполинский жгучий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала, дети в купальных костюмах убежали вперед. Йотом сделали привал, закусили сандвичами с мясом. Гарри смотрел на жену, на детей — какие они стали смуглые, совсем коричневые. А глаза — желтые, никогда они не были желтыми! Его вдруг затрясло, но скоро дрожь прошла, ее точно смыли жаркие волны, приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха — он слишком устал.

— Кора, с каких пор у тебя желтые глаза?

Она посмотрела с недоумением.

— Наверно, всегда были такие.

— А может, они были карие и пожелтели за последние три месяца?

Кора прикусила губу.

— Нет. Ночему ты спрашиваешь?

— Так просто.

Носидели, помолчали.

— И у детей тоже глаза желтые, — сказал Битеринг.

— Это бывает: дети растут, и глаза меняют цвет.

— Может быть, и мы тоже — дети. Но крайнем мере на Марсе. Вот это мысль! — он засмеялся. — Ноплавать, что ли.

Они прыгнули в воду. Гарри, не шевелясь, погружался все глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зеленой тишиной. Вокруг — безмятежная глубь, мир и покой. И тебя тихонько песет неторопливым, ровным течением.

Нолежать так подольше, думал он, и вода обработает меня по-своему, пожрет мясо, обнажит кости, точно кораллы. Только скелет и останется. А потом на костях вода построит свое, появятся наросты, водоросли, ракушки, разные подводные твари — зеленые, красные, желтые.. Все меняется. Меняется. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. А разве не то же делается и там, наверху?

Сквозь воду он увидел над головою солнце — тоже незнакомое, марсианское, измененное иным воздухом, и временем, и пространством.

Там, наверху, — безбрежная река, думал он, марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки и затонувших валунов лежим на дне, точно раки-отшельники, и вода смывает нашу прежнюю плоть, и удлиняет кости, и...

Он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность.

Дэн сидел на кромке канала и серьезно смотрел на отца.

— Ута, — сказал он.

— Что такое? — переспросил Битеринг.

Мальчик улыбнулся.

— Ты же знаешь. Ута по-марсиански — отец.

— Где это ты выучился?

— Не знаю. Везде. Ута!

— Чего тебе?

Мальчик помялся.

— Я... я хочу зваться по-другому.

— Но-другому?

— Да.

Нодплыла мать.

— А чем плохое имя Дэн?

Дэн скорчил гримасу, пожал плечами.

— Вчера ты все кричала: Дэн, Дэн, Дэн, — а я и не слышал. Думал, это не меня. У меня другое имя, я хочу, чтоб меня звали по-новому.

Битеринг ухватился за боковую стенку канала, он весь похолодел, медленно, гулко билось сердце.

— Как же это по-новому?

— Линл. Нравда, хорошее имя? Можно, я буду Линл? Можно? Ну, пожалуйста!

Битеринг провел рукой по лбу, мысли путались. Дурацкая ракета, работаешь один, и даже в семье ты один, уж до того один...

— А почему бы и нет? — услышал он голос жены.

Нотом услышал свой голос:

— Можно.

— Ага-а! — закричал мальчик. — Я — Линл, Линл!

И, вопя и приплясывая, побежал через луга.

Битеринг посмотрел на жену.

— Зачем мы ему позволили?

— Сама не знаю, — сказала Кора. — Что ж, по-моему, это совеем не плохо.

Они шли дальше среди холмов. Ступали по старым, выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых все еще разлетались водяные брызги. Дорожки все лето напролет покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлепать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам не жарко.

Они подошли к маленькой, давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и отсюда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн

для плавания. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов.

— Может, переедем сюда на лето? — сказала мисс Битеринг. — Вот было бы славно!

— Идем, — сказал муж. — Нора возвращаться в город. Надо кончать ракету, работы по горло.

Но в этот вечер за работой ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и все настойчивей думалось, что, пожалуй, не так уж и нужна эта ракета.

Текли дни, недели, и ракета все меньше занимала его мысли. Нрежного пыла не было и в помине. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детищу. Но как-то все так складывалось — жара, работать тяжело...

За раскрытой настежь дверью мастерской — негромкие голоса:

— Слыхали? Все уезжают.

— Верно. Уезжают.

Битеринг вышел на крыльцо.

— Куда это?

Но пыльной улице движутся несколько машин, нагруженных мебелью и детьми.

— Нереселяются в виллы, — говорит человек на крыльце.

— Да, Гарри. И я тоже перееду, — подхватывает другой. — И Сэм тоже. Верно, Сэм?

— Верно. А ты, Гарри?

— У меня тут работа.

— Работа! Можешь достроить свою ракету осенью, когда станет попрохладнее.

Битеринг перевел дух.

— У меня уже каркас готов.

— Осенью дело пойдет лучше.

Ленивые голоса словно таяли в раскаленном воздухе.

— Мне надо работать, — повторил Битеринг.

— Отложи до осени, — возразили ему, и это звучало так здраво, так разумно.

Осенью дело пойдет лучше, подумал он. Времени будет вдоволь.

Нет! — кричало что-то в самой глубине его существа, запрятанное далеко-далеко, запертое наглухо, задышающееся. — Нет, нет!

— Осенью, — сказал он вслух.

— Едем, Гарри, — сказали ему.

— Ладно, — согласился он, чувствуя, как тает, плавится в знойном воздухе все тело. — Ладно, до осени. Тогда я опять возьмусь за работу.

— Я присмотрел себе виллу у Тирра-канала, — сказал кто-то.

— У канала Рузвельта, что ли?

— Тирра. Это старое марсианское название.

— Но ведь на карте...

— Забудь про карту. Теперь он называется Тирра. И я отыскал одно местечко в Нилланских горах...

— Это горы Рокфеллера? — переспросил Битеринг.

— Это Нилланские горы, — сказал Сэм.

— Ладно, — сказал Битеринг, окутанный душным, непроницаемым саваном зноя. — Нускай Нилланские.

Назавтра в тихий, безветренный день все усердно грузили вещи в машину.

Лора, Дэн и Дэвид таскали узлы и свертки. Нет, узлы и свертки таскали Тилл, Линл и Верр, — на другие имена они теперь не отзывались.

Из мебели, что стояла в их белом домике, не взяли с собой ничего.

— В Бостоне наши столы и стулья выглядели очень мило, — сказала мать. — И в этом домике тоже. Но для той виллы они не годятся. Вот вернемся осенью, тогда они опять пойдут в ход.

Битеринг не спорил.

— Я знаю, какая там нужна мебель, — сказал он немного погодя. — Большая, удобная, чтоб можно развалиться.

— А как с твоей энциклопедией? Ты, конечно, берешь ее с собой?

Битеринг отвел глаза.

— Я заберу ее на той неделе.

— А свои нью-йоркские наряды ты взяла? — спросили они дочь.

Девушка поглядела е недоумением.

— Зачем? Они мне теперь ни к чему.

Они выключили газ и воду, заперли двери и пошли прочь. Отец заглянул в кузов машины.

— Немного же мы берем с собой, — заметил он. — Против того, что мы привезли на Марс, это жалкая горсточка!

И сел за руль.

Долгую минуту он смотрел на белый домик — хотелось кинуться к нему, погладить стену, сказать — прощай! Чувство было такое, словно уезжает он в дальнее странствие и никогда по-настоящему не вернется к тому, что оставляет здесь, никогда уже все это не будет ему так близко и понятно.

Тут с ним поравнялся на грузовике Сэм со своей семьей.

— Эй, Битеринг! Ноехали!

И машина покатила по древней дороге вон из города. В том же направлении двигались еще шестьдесят грузовиков. Тяжелое, безмолвное облако пыли, поднятой ими, окутало покинутый городок. Голубела под солнцем вода в каналах, тихий ветер чуть шевелил листья странных деревьев.

— Прощай, город! — сказал Битеринг.

— Прощай, прощай! — замахали руками жена и дети.

И уж больше ни разу не оглянулись.

За лето до дна высохли каналы. Лето прошло по лугам, точно степной пожар. В опустевшем поселении землян лупилась и осыпалась краска со стен домов. Висевшие на задворках автомобильные шины, что еще недавно служили детворе качелями, недвижно застыли в знойном воздухе, словно маятники остановившихся часов.

В мастерской каркас ракеты понемногу покрывался ржавчиной.

В тихий осенний день мистер Битеринг — он теперь, был очень смуглый и золотоглазый — стоял на склоне холма над своей виллой и смотрел вниз, в долину.

— Нора возвращаться, — сказала Кора.

— Да, но мы не поедem, — спокойно сказал он. — Чего ради?

— Там остались твои книги, — напомнила она. — Твой парадный костюм.

— Твои лле, — сказала она. — Твой пор юеле рре.

— Город совсем пустой, — возразил муж. — Никто туда не возвращается. Да и незачем. Совершенно незачем.

Дочь ткала, сыновья наигрывали песенки — один на флейте, другой на свирели, все смеялись, и веселое эхо наполняло мраморную виллу.

Гарри Битеринг смотрел вниз, в долину, на далекое селение землян.

— Какие странные, смешные дома строят жители Земли.

— Иначе они не умеют, — в раздумье отозвалась жена. — До чего уродливый народ. Я рада, что их больше нет.

Они посмотрели друг на друга, испуганные словами, которые только что сказались. Нотом стали смеяться.

— Куда же они подевались? — раздумчиво произнес Битеринг.

Он взглянул на жену. Кожа ее золотилась, и она была такая же стройная и гибкая, как их дочь. А Кора смотрела на мужа — он казался почти таким же юным, как их старший сын.

— Не знаю, — сказала она.

— В город мы вернемся, пожалуй, на будущий год, — сказал он невозмутимо. — Или, может, еще через годик-другой. А пока что... мне жарко. Нойдем купаться?

Они больше не смотрели на долину. Рука об руку они пошли к бассейну, тихо ступая по дорожке, которую омывала прозрачная ключевая вода.

Прошло пять лет, и с неба упала ракета. Еще дымящаяся лежала она в долине. Из нее высыпали люди.

— Война на Земле кончена! — кричали они. — Мы победили! Мы прилетели вам на выручку!

Но городок, построенный американцами, молчал, безмолвны были коттеджи, персиковые деревья, амфитеатры. В пустой мастерской ржавел жалкий остов недоделанной ракеты.

Пришельцы обшарили окрестные холмы. Капитан объявил своим штабом давно заброшенный кабачок. Лейтенант явился к нему с докладом.

— Город пуст, сэр, но среди холмов мы обнаружили местных жителей. Марсиан. У них очень темная кожа. Глаза желтые. Встретили нас очень приветливо. Мы с ними немного потолковали. Они быстро усваивают английский. Я уверен, сэр, с ними можно установить вполне дружеские отношения.

— Темнокожие, вот как? — задумчиво сказал капитан. — И много их?

— Примерно шестьсот или восемьсот, сэр; они живут на холмах, в мраморных развалинах. Рослые, здоровые. Женщины у них красивые.

— А они сказали вам, лейтенант, что произошло с людьми, которые прилетели с Земли и выстроили этот поселок?

— Они понятия не имеют, что случилось с этим городом и с его населением.

— Странно. Вы не думаете, что марсиане тут всех перебили?

— Нохоже, что это необыкновенно миролюбивый народ, сэр. Скорее всего, город опустошила какая-нибудь эпидемия.

— Возможно. Надо думать, это — одна из тех загадок, которые нам не разрешить. О таком иной раз пишут в книгах.

Капитан обвел взглядом комнату, запыленные окна, и за ними — встающие вдалеке синие горы, струящуюся в ярком свете воду каналов и услышал шелест ветра. И вздрогнул. Нотом опомнился и постучал пальцами по

карте, которую он давно уже приколот кнопками на пустом столе.

— У нас куча дел, лейтенант! — сказал он и стал перечислять. Солнце опускалось за синие холмы, а капитан бубнил и бубнил: — Надо строить новые поселки. Искать полезные ископаемые, заложить шахты. Взять образцы для бактериологических исследований. Работы до горло. А все старые отчеты утеряны. Надо заново составить карты, дать названия горам, рекам и прочему. Потребуется некоторая доля воображения.

Вон те горы назовем горами Линкольна, что вы на это скажете? Тот канал будет канал Вашингтона, а эти холмы... холмы можно назвать в вашу честь, лейтенант. Дипломатический ход. А вы из любезности можете назвать какой-нибудь город в мою честь. Изящный поворот. И почему бы не дать этой долине имя Эйнштейна, а вон тот... да вы меня слушаете, лейтенант?

Лейтенант с усилием оторвал взгляд от подернутых ласковой дымкой холмов, что синели вдали, за покинутым городом.

— Что? Да-да, конечно, сэр!

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ОКОШКО

Ему снилось, что он закрывает парадную дверь с цветными стеклами — тут были и земляничные стекла, и лимонные, и совсем белые, как облака, и прозрачные, как родник. Две дюжины цветных квадратиков обрамляли большое стекло посередине — алые и золотистые, как вино, как настойка или фруктовое желе, и голубоватые, прохладные, как льдинки. Номнится, когда он был совсем еще малыш, отец подхватывал его на руки и говорил:

— Гляди!

И за зеленым стеклом весь мир становился изумрудным, точно мох, точно летняя мята.

— Гляди!

Сиреневое стекло обращало прохожих в гроздья блеклого винограда. И, наконец, земляничное окошко в любую пору омывало город теплой розовой волной, окутывало алой рассветной дымкой, а свежеподстриженный газон был точь-в-точь — ковер с какого-нибудь персидского базара. Земляничное окошко, самое лучшее из всех, покрывало румянцем бледные щеки, и холодный осенний дождь теплел, и февральская метель вспыхивала вихрями веселых огоньков.

— Да, да! А тут...

Он проснулся.

Мальчишки разбудили его своим негромким разговором, но он еще не совсем очнулся от сна и лежал в темноте, прислушиваясь. Как печально звучат их голоса — так бормочет ветер, вздымая пески со дна пересохших морей и рассыпая их среди синих холмов... Нотом он вспомнил.

Мы на Марсе.

— Что? — вскрикнула спроенок жена.

А он и не заметил, что сказал это вслух; он старался лежать совеем тихо, боялся шелохнуться. Но уже возвращалось чувство реальности и с ним какое-то странное оцепенение; вот жена встала и принялась бродить по комнате, точно привидение: то к одному окну по-

дойдет, то к другому — а окна в их сборном металлическом домике маленькие, прорезаны высоко — и по-долгу смотрит на ясные, но чужие звезды.

— Кэрри, — прошептал он.

Она не слышала.

— Кэрри, — шепотом повторил он, — мне надо сказать тебе... целый месяц все собирался. Завтра... завтра утром у нас будет...

Но жена сидела в голубоватом отсвете звезд, точно каменная, и даже не смотрела в его сторону.

«Вот если бы солнце никогда не заходило, — думал он, — если бы ночей совсем не было». Весь день он сколачивал сборные дома будущего поселка, мальчишки были в школе, а Кэрри хлопотала по хозяйству — тут и уборка, и стряпня, и огород... Но после захода солнца уже не приходилась рыхлить клумбы, заколачивать гвозди или решать задачки — и тогда в темноте, как ночные птицы, к ним слетались воспоминания. Жена пошевелилась, чуть повернула голову.

— Боб, — сказала она наконец, — я хочу домой.

— Кэрри!

— Здесь мы не дома, — сказала она.

В полутьме ее глаза блестели, полные слез.

— Нотерпи еще немножко, Кэрри.

— Нет у меня больше никакого терпенья!

Как во сне, она выдвигала ящики комода; она вынимала стопки носовых платков, белье, рубашки и укладывала на комод сверху — машинально, не глядя. Сколько раз уже так бывало, привычка. Скажет так, вытащит вещи из комода и долго стоит молча, а потом уберет все на место и с застывшим лицом, с сухими глазами снова ляжет и будет думать, вспоминать. Ну, а вдруг настанет такая ночь, когда она опустошит все ящики и достанет старые чемоданы, что составлены горкой у стены?

— Боб... — в ее голосе не слышалось горечи, он был тихий, ровный, тусклый, как лунный свет, который позволял следить за ее движениями. — За эти полгода я уж сколько раз по ночам так говорила, просто стыд и срам. У тебя работа тяжелая, ты строишь город. Когда

человек так тяжело работает, жена не должна ему плакаться и жилы из него тянуть. Но надо же душу отвесити, не могу я молчать. Больше всего я истосковалась по мелочам. Но ерунде какой-то, сама не знаю. Номнишь качели у нас на веранде? И плетеную качалку? Дома, в Огайо, летним вечером сидишь и смотришь, кто мимо пройдет или проедет. И наше пианино расстроенное. И шведское стекло. И мебель в гостиной... ну да, конечно, она вся старая, громоздкая, неуклюжая, я и сама знаю... И китайская люстра с подвесками, как подует ветер, они в звенят. А в летний вечер сидишь на веранде, и можно перемолвиться словечком с соседями. Все это вздор, глупости... все это неважно. Но почему-то, как проснешься в три часа ночи, отбоя нет от этих мыслей. Ты меня прости.

— Да разве ты виновата, — сказал он. — Марс — место чужое. Тут все не по-нашему, в пахнет чудно, и на глаз непривычно, и на ошупь. Я и сам ночами про это думаю. А какой славный был наш городок.

— Весной и летом весь в зелени, — подхватила жена. — А осенью все желтое да красное, И дом у нас был славный. И какой старый, господи, лет восемьдесят, а то и все девяносто! Но ночам я всегда слушала, как он скрипит, трещит, будто разговаривает. Дерево-то сухое — и перила, и веранда, и пороги. Только тронь — и отзовется. Каждая комната на свой лад. А если у тебя весь дом разговаривает, это как семья — собрались ночью вокруг родные и баюкают — спи, мол, усни. Таких домов нынче не строят. Надо, чтоб в доме жило много народу — отцы, деды, внуки, тогда ан С годами и обживется и согреется. А эта наша коробка — да она и не знает, что я тут, ей все едино, жива я или померла. И голое у нее жестяной, а жечь — она холодная.. У нее и пор таких нет, чтоб годы впитались. Ногреба нет, некуда откладывать припасы на будущий год и еще на потом. И чердака нету, некуда прибрать всякое старье, что осталось е прошлою года и что было еще до твоего рожденья. Знаешь, Веб, вот было бы у нас тут хоть немножко старого, привычного, тогда и со всем новым

можно бы сжиться. А когда все-все новое, чужое, каждая малость, так вовек не свыкнешься.

В темноте он кивнул.

— Я и сам так думал.

Она смотрела туда, где на чемоданах, прислоненных к стене, поблескивали лунные блики. И протянула руку.

— Кэрри!

— Что?

Он порывисто сел, спустил ноги на пол.

— Кэрри, я учинил одну несусветную глупость. Все эти месяцы я ночами слушаю, как ты тоскуешь по дому, и мальчики тоже просыпаются и шепчутся, и ветер свистит, и за стеной — Марс, моря эти высохшие... и... — он запнулся, трудно глотнул. — Ты должна понять, что я такое сделал и почему. Месяц назад у нас в банке на счету были деньги, наши сбережения за десять лет, так вот, я все их истратил, все как есть, без остатка.

— Боб!!

— Я их выбросил, Кэрри, даю тебе слово, пустил па ветер. Думал всех порадовать. А вот сейчас ты так говоришь, и эти распроклятые чемоданы тут же стоят, и...

— Как же так, Боб? — она повернулась к нему. — Стало быть, мы торчали тут, на Марсе, и терпели эту жизнь, и откладывали каждый грош, а ты взял да все сразу и просадил?

— Сам не знаю, может, я просто рехнулся, — сказал он. — Слушай, до утра уже недалеко. Встанем пораньше. Нойдешь со мной и сама увидишь, что я сделал. Ничего не хочу говорить, сама увидишь. А если это все зря — ну что ж, чемоданы — вот они, а ракеты на Землю идут четыре раза в неделю.

Кэрри не шевельнулась.

— Боб, Боб, — шептала она.

— Не говори сейчас, не надо, — попросил он.

— Боб, Боб...

Она медленно покачала головой, ей все не верилось. Он отвернулся, вытянулся на кровати с одного боку, а

она села с другого боку и долго не ложилась, все смотрела на комод, где так и, остались сверху наготове аккуратные стопки носовых платков, белье, ее кольца и безделушки. А за стенами ветер, пронизанный лунным светом, вздувал уснувшую пыль и развеивал ее в воздухе.

Наконец Кэрри легла, но не сказала больше ни слова — лежала как неживая и остановившимися глазами смотрела в ночь, точно в длинный-длинный туннель: неужели там, в конце, никогда не забрезжит рассвет?

Они поднялись чуть свет, но тесный домишко не ожил, стояла гнетущая тишина, отец, мать и сыновья молча умылись и оделись, молча принялись за поджаренный хлеб, фруктовый сок и кофе, и под конец от этого молчания уже хотелось завопить, завывать; никто не смотрел прямо в лицо другому, все следили друг за другом исподтишка, по отражениям в фарфоровых и никелированных боках тостера, чайника, сахарницы — искривленные, искаженные черты казались в этот ранний час до ужаса чужими. Нотом, наконец, отворили дверь (в дом ворвался ветер, что дует над холодными марсианскими морями, где ходят, опадают и вновь встают призрачным прибоем одни лишь голубоватые пески), и вышли под голое, пристальное холодное небо, и побрели к городу, который казался только декорацией там, в дальнем конце огромных пустых подмостков.

— Куда мы идем? — спросила Кэрри.

— На ракетодром, — ответил муж. — Но по дороге я должен вам много чего сказать.

Мальчики замедлили шаг и теперь шли позади родителей и прислушивались. А отец заговорил, глядя прямо перед собой; он говорил долго и ни разу не оглянулся на жену и сыновей, не посмотрел, как принимают они его слова.

— Я верю в Марс, — начал он негромко. — Я знаю, придет время, и он станет по-настоящему нашим. Мы его одолеем. Мы здесь обживемся. Мы не пойдем на попятный. С год назад, когда мы только-только приле-

тели, я вдруг будто споткнулся. Ночему, думаю, нас сюда занесло? А вот потому. Это как с лососем, каждый год та же история. Лосось сам не знает, почему плывет в дальние края, а все равно плывет. Вверх по течению, по каким-то рекам, которых он не знает и не помнит, по быстрине, через водопады перескакивает — и под конец добирается до того места, где мечет икру, а потом помирает, и все начинается сызнова. Родовая память, инстинкт — назови, как угодно, но так оно и идет. Вот и мы забрались сюда.

Они шли в утренней тишине, бескрайнее небо неотступно следило за ними, странные голубые и белые, точно клубы пара, пески струились у них под ногами по недавно проложенному шоссе.

— Вот и мы забрались сюда. А после Марса куда двинемся? На Юпитер, Нептун, Плутон и еще дальше? Верно. Еще дальше. А почему? Когда-нибудь настанет день — и солнце взорвется, как дырявый котел. Бац — и от Земли следа не останется. А Марс, может быть, и не пострадает; а если и пострадает, так, мажет, Плутон уцелеет, а если нет — что тогда будет с нами, то бишь, с нашими правнуками?

Он упорно смотрел вверх, в ясное чистое небо цвета спелой сливы.

— Что ж, а мы в это время будем, может быть, где-нибудь в неизвестном мире, у которого и названия пока нет, только номер — скажем, шестая планета девяносто седьмой звездной системы или планета номер два системы девяносто девять! И такая эта чертова даль, что сейчас ни в страшном сне, ни в бреду даже не представишь! Мы улетим отсюда, понимаете, уберемся подалее — и уцелеем! И тут я сказал себе: ага! Вот почему мы прилетели на Марс, вот почему люди запускают в небо ракеты!

— Боб...

— Ногоди, дай досказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтоб поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это все вранье, выдумки. Говорят — летим, чтоб разбогатеть, чтоб прославиться. Говорят — для забавы, для развлечения, скучив, мол, сидеть на

одном месте. А на самом деле внутри все время что-то тикает, все равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Также крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаете, что они говорят? Иди дальше, говорят, не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви я плыви. Лети к новым мирам, воздвигай новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Нойми, Кэрри. Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода человеческого. Даже смешно, вон куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Сыновья, не отставая, шли за ним, и Кэрри шла рядом, — хотелось поглядеть на нее, прочесть по ее яйцу, как она принимает его слова, но он не повернул головы.

— Номню, когда я был мальчишкой, у нас сломалась сеялка, а на починку не было денег, и мы с отцом вышли в поле и кидали семена просто горстью — так вот, это то же самое. Сеять-то надо, иначе потом жать не придется. О господи, Кэрри, ты только вспомни, как писали в газетах, в воскресных приложениях: **ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ ЗЕМЛЯ ОБРАТИТСЯ В ЛЕД!** Когда-то, мальчишкой, я ревмя ревел над такими статьями. Мать спрашивает — чего ты? А я отвечаю — мне их всех жалко, бедняг, которые тогда будут жить на свете. А мать говорит — ты о них не беспокойся. Так вот, Кэрри, я про что говорю: на самом-то деле мы о них беспокоимся. А то бы мы сюда не забрались. Это очень важно, чтоб Человек с большой буквы жил и жил. Для меня Человек с большой буквы — это главное. Нонятно, я пристрастен, потому как я и сам того же рода-племени. Но только люди всегда рассуждают насчет бессмертия, так вот, есть один-единственный способ этого самого бессмертия добиться: надо идти дальше, засеять вселенную. Тогда если где-нибудь в одном месте и случится засуха или еще что, все равно будем с урожаем. Даже если на Землю нападет ржа и недород. Зато новые всходы поднимутся та Венере или где там

еще люди поселятся через тысячу лет. Я на этом помешался, Кэрри, право слово, помешался. Как дошел до этой мысли, прямо загорелся, хотел схватить тебя, ребят, каждого встречного и поперечного и всем про это рассказать. А потом подумал: черт возьми, совсем это ни к чему. Придет такой день или, может, ночь, и вы сами услышите, как в вас тоже тикают эти часики, и сами вес поймете, и не придется ничего объяснять. Я знаю, Кэрри, это громкие слова и, может, я слишком важно рассуждаю, я ведь не велика птица и даже ростом не вышел, но только ты мне поверь — это все чистая правда.

Они уже шли по городу и слушали, как гулко отдаются шаги на пустынных улицах.

— А что же сегодняшнее утро? — спросила Кэрри.

— Сейчас и до этого дойдет. Нонимаешь, какая-то часть меня тоже рвется домой. А другой голос во мне говорит: если мы отступим, все пропало. Вот я и подумал — чего нам больше всего недостает? Каких-то старых вещей, к которым мы давно привыкли — и мальчики, и ты, и я. Ну, думаю, если без какого-то там старья нельзя пустить в ход новое, так, ей-богу, я этим старьем воспользуюсь. Номню, в учебниках истории говорится: тысячу лет назад люди, когда кочевали с места на место, выдалбливали коровий рог, клали внутрь горящие уголья и весь день их раздували, и вечером на новом месте разжигали огонь от той искорки, что сберегли с утра. Огонь каждый раз новый, но всегда в нем есть что-то от старого. Вот я стал взвешивать и обдумывать. Стоит Старое того, чтоб вложить в него все наши деньги, думаю? Нет, не стоит. Только то имеет цену, чего мы достигли с помощью этого Старого. Ну ладно, а Новое стоит того, чтоб вложить в него все наши деньги без остатка? Согласен ты сделать ставку на то, что когда-то еще будет? Да, мол, согласен! Если таким манером можно одолеть эту самую тоску, которая того гляди затолкает нас обратно на Землю, так я сам полью все наши деньги керосином и чиркну спичкой!

Кэрри и мальчики остановились. Они стояли посреди улицы и смотрели на него так, будто он был не он, а внезапно налетевший смерч, который едва не сбил их с ног и вот теперь утихает.

— Сегодня утром пребыла грузовая ракета, — сказал он негромко. — Она привезла кое-что и для нас. Нойдем получим.

Они медленно поднялись по трем ступеням, прошли через гулкий зал в камеру хранения — двери ее только что раскрылись.

— Расскажи еще про лосося, — сказал один из мальчиков.

Солнце поднялось уже высоко и пригревало, когда они выехали из города во взятой напрокат грузовой Машине; кузов был битком набит корзинками, ящиками, пакетами и тюками — длинными, высокими, низенькими, плоскими; все это было перенумеровано, и на каждом ящике и тюке красовалась аккуратная надпись: «Марс, Нью Тоledo, Роберту Нрентису».

Машина остановилась перед сборным домиком, мальчики спрыгнули вниз и помогли матери выйти. Боб с минуту еще посидел за рулем, потом медленно вылез, обошел машину кругом и заглянул внутрь.

К полудню все ящики, кроме одного, были распакованы, вещи лежали рядами на дне высохшего моря и вся семья стояла и оглядывала их.

— Ноди сюда, Кэрри...

Он подвел жену к крайнему ряду — тут стояло старое крыльцо.

— Нослушай-ка.

Деревянные ступени заскрипели, заговорили под ногами.

— Ну-ка, что они говорят, а?

Она стояла на ветхом крылечке сосредоточенная, задумчивая и не могла вымолвить ни слова в ответ.

Он повел рукой:

— Тут — крыльцо, там — гостиная, столовая, кухня, три спальни. Часть построим заново, часть при-

везем. Нокуда, конечно, у нас только и есть, что парадное крыльцо, кой-какая мебель для гостиной да старая кровать.

— Все наши деньги, Боб!

Он с улыбкой обернулся к ней.

— Ты же не сердишься? Ну-ка, погляди на меня! Ясно, не сердишься. Через год ли, через пять мы все перевезем. И вазы, и армянский ковер, который нам твоя матушка подарила в девятьсот шестьдесят первом году. И пожалуйста, пускай солнце взрывается!

Они обошли другие ящики, читая номера и надписи: качели с веранды, качалка, китайские подвески...

— Я сам буду на них дуть, чтоб звенели!

На крыльцо поставили парадную дверь с разноцветными стеклами, и Кэрри поглядела в земляничное окошко.

— Что ты там видишь?

Но он и сам знал, что она видит, он тоже смотрел в это окошко. Вот он, Марс, холодное небо потеплело, мертвые моря запылали, холмы стали как груды земляничного мороженого, и ветер пересыпает пески, точно тлеющие уголья. Земляничное окошко, земляничное окошко, оно покрыло все вокруг живым нежным румянцем, наполнило глаза и душу светом непреходящей зари. И, наклонясь к этому кусочку цветного стекла, глядя сквозь него, Роберт Нрентис неожиданно для себя сказал:

— Через год здесь будет город. Будет тенистая улица, и у тебя будет веранда, и друзей заведешь. Тогда тебе все эти вещи будут не так уж и нужны. Но с этого мы сейчас начнем, это самая малость, зато свое, привычное, а там дальше — больше, скоро ты этот Марс и не узнаешь, покажется, будто весь век тут жила.

Он сбегал с крыльца и подошел к последнему еще не вскрытому ящику, обтянутому парусиной. Нерочинным ножом надрезал парусипу.

— Угадай, что это? — сказал он.

— Моя кухонная плита? Нечка?

— Ничего похожего! — он тихонько, ласково улыбнулся. — Спой мне песенку, — попросил он.

— Ты совсем с ума сошел, Боб.

— Спой песенку, да такую, чтоб стоила всех денег, которые у нас были да сплыли — и наплевать, не жалко!

— Так ведь я одну только и умею — «Дженни, Дженни, голубка моя...».

— Вот и спой.

Но она никак не могла запеть, только беззвучно шевелила губами.

Он рванул парусину, сунул руку внутрь, молча пошарил там и начал напевать вполголоса: наконец он нащупал то, что искал, — и в утренней тишине прозвучал чистый фортепьянный аккорд.

— Вот так, — сказал Роберт Нрентис. — А теперь споем эту песню с начала и до конца. Все вместе, дружно!

АМЕРИКАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ-ФАПТАСТ РЭЙ БРЭДБЕРИ



родился в 1920 году. Как писатель он сформировался в сложной обстановке 40-х годов. Первое его крупное произведение «Марсианские хроники» было написано в 1950 году и переведено почти на все языки мира. Затем появились сборники его рассказов «Человек в картинках», «Золотые яблоки солнца», «Лекарство от меланхолии» и др. Самое известное в Советском Союзе фантастическое произведение Р.Бредбери «451° по Фаренгейту» было впервые опубликовано в 1953 году.

Содержание

Фантастика Рэя Брэдбери **5**

Р. Нудельман

Р о м а н :

451° градус по Фаренгейту **13**

Р а с с к а з ы :

Из сборника «ЧЕЛОВЕК В КАРТИНКАХ»

Пролог: Человек в картинках **175**

Калейдоскоп **181**

На большой дороге **192**

Завтра конец света **197**

Кошки-мышки **202**

Бетономешалка **221**

Урочный час **245**

Ракета **258**

Из сборника «ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА»

Пешеход **271**

Пустыня **277**

Убийца **288**

Из сборника «ЛЕКАРСТВО ОТ МЕЛАНХОЛИИ»

Дракон	298
Конец начальной поры.....	302
Икар Монгольфье Райт.....	308
Были они смуглые и золотоглазые	314
Земляничное окошко	333

БРЭДБЕРИ, Рэй (Библиотека современной фантастики, т. 3), 451° по Фаренгейту, рассказы, "Молодая гвардия", 1965. 352 с. И (Америк.)

Редактор *В.Клюева*. Художественный редактор *А.Степанова*. Технический редактор *И.Егорова*.

Нодписано к печати. 15/VI 1965 г. Бум. 84x108¹/₃₂. Неч. л. 11 (18,5). Уч.-изд. л. 16,8. Тираж 215000 экз. Заказ 832. Цена 82 коп. Типография "Красное знамя" изд-ва "Молодая гвардия". Москва, А-30, Суцесвская 21.

